НЁМАН

3/2014
МАРТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

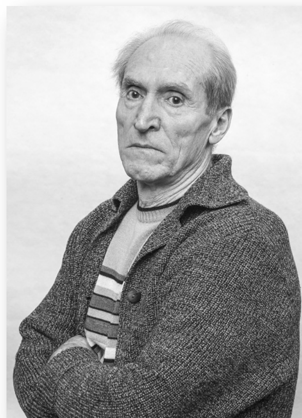
Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 11.03.2014 г. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,69. Тираж 3026. Заказ 582.
Цена номера в розницу 21 400 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-84-61; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»



ОЛЕГ ЖДАН

Не погибнет со мной

Роман

От автора

О существовании записок Павла Дмитриевича Сильчевского я знал давно. Не знал одного: как заполучить их. Хранились они у его правнучки, Натальи Филипповны, и я дважды обращался к ней, и оба раза получил отказ. Почему, спрашивал. Там есть что-то компрометирующее семью или друзей? Нет, отнюдь. Павел Дмитриевич был порядочный человек. Так в чем же дело? Ни в чем. Нет и все. Красивая эта старуха с низким, почти мужским голосом была жестка и принципиальна. Вот умру — тогда пожалуйста. Что же мне, хотелось спросить, наблюдать за вами? Скорее всего, погибнут записки после вашей смерти. Нет, нет и нет. И только прощаясь поинтересовалась: а зачем они вам? Опубликовать? Явная ирония прозвучала в обертонах басовитого голоса. Нет, я же сказала, нет.

А некоторое время назад я решил сделать третью попытку. И вовремя: старуха была совсем уж нехороша. Первое, что сделал — вызвал врача (была Наталья Филлиповна из тех, что умрут, но ни к кому не станут обращаться), сбегал в аптеку, вскипятил чай. Она не была одинока, но дочь ее вышла замуж в Штаты, прилетала раз в год, а то и реже, писала подробные нежные письма, однако... Что письма, если до очередного инфаркта один толчок крови?

Когда ей стало лучше, а я собрался уходить, она остановила меня. Вы еще придете? — спросила. Не знаю, — ответил. Приходите завтра. Я приготовлю рукопись. И назавтра я вздрагивающими руками принял тщательно обернутую, упакованную в полиэтилен папку. Только... — невнятно и зависимо бормотала Наталья Филипповна, — вы уж, это... когда станете комментировать... вы, пожалуйста... так обидно... Теперь все комментируют... это ужасно...

Я, наконец, понял, почему она не хотела передать мне рукопись: опасалась досужего комментария. Так легко иронизировать над человеком через сто лет после его смерти. Тем более над людьми и событиями, о которых он пишет. Впрочем, я вовсе не был уверен, что удастся издать эти воспоминания: так много произошло в последние годы, ушло и пришло. Но ведь каждому знакомо такое состояние: не хочешь, а делаешь, не особенно задумываясь о результатах и последствиях. Что-то влечет тебя, беспокоит, и хочется думать — справедливость и истина. Хотя для многих в этой истории все не так, все наоборот, а главное — это не враги мои, а друзья... Враги — напротив: давай-давай, вперед, не оглядываясь, отступать некуда. Как найти компромисс? Порой кажется, что он невозможен. Да и вообще компромисс — дело временное. Так же как победы и поражения. Ни то, ни другое нам не нужно. На будущее мы тоже особенно не надеемся, нам бы только закончить сей труд.

Глава первая

Минувшая неделя выдалась несуразной и хлопотной, и я не смог посетить Петра Александровича.

В понедельник явился внучатый племянник из Чернигова, никогда мною прежде в глаза не виданный, и я принужден был три дня водить его по Петербургу; в среду Щеголев, наш уважаемый издатель и редактор, сообщил, что рецензия на книгу Н. Р. пойдет в ближайший номер, следовательно, надо садиться перечитывать и писать; а в четверг в нашу редакционную комнатку повалили, как сговорились, обычные наши посетители: адвокаты, врачи, учителя, земцы, путейцы — кто за ответом, кто с рукописью.

Публика эта мне довольно знакома, мы сами породили ее. Никогда еще на Руси не было такого числа вспоминателей, как ныне, когда появился и вот уже почти год издается наш журнал. Казалось бы, ну что вам, люди, десять, двадцать, даже пятьдесят страничек в журнале? Платим неважно, круг читателей невелик... Нет. Не в деньгах или известности дело. Прошлое жаждет вырваться из тьмы забвения! Опубликуют — жизнь получит иное, не личное, но историческое измерение. Не опубликуют — канет в Лету, как миллионы иных. Впрочем, слава нашего журнала началась раньше, первые номера вышли в 900-м, в Париже, а как только Щеголев и Богучарский получили разрешение на издание в Петербурге, мемуары хлынули, словно горное озеро прорвало запруду.

Кто только не бывает у нас! Бывшие советники — от титулярных до надворных и тайных, — бывшие генералы, полковники, бывшие судьи и бывшие преступники, бывшие прокуроры и присяжные — бывшие, бывшие, бывшие. Не особенно удивлюсь, если однажды войдет, ломая шапку и искательно улыбаясь, кто-либо из бывших палачей, например, славный в свое время Фролов или его преемник Филипьев...

О нет, не только в прошлом причина. В настоящем! И, не исключено, в будущем. Не меньше современников мы страшимся потомков, хотя, казалось бы, что нам те люди, которые родятся на земле через сто-двести лет?

Потому и идут к нам. Особенно теперь, когда все опять сдвинулось, затрещало, и непонятно, что будет завтра?

Вспоминают минувшие годы, а между тем обвиняют и оправдываются, прячутся и выставляются наперед... Есть авторы, которые, вывалив на стол амбарную книгу с собственным именем, исполненным скромным полууставом, желают непременно присутствовать при чтении, чтобы контролировать впечатление, предвосхищать вопросы, а еще лучше — с выражением прочитать вслух. Дескать — важно, дескать — проездом, обоз овчины привез в Гостиный, а потому посижу на краешке стула, за краешком стола. Встречаются и такие, что вручив небрежно рукопись, тотчас уходят, не оставив адреса, — хотите публикуйте, хотите нет, а он перед историей выполнил свой долг.

Прошу простить за нечаянный скепсис, но после пятидесяти это житейское благо накапливается в мозгу так же, как соли в позвоночнике и суставах. Не исключено, что и роль их в организме одинакова: и то и другое призывает к осмотрительности...

Случаются и сомневающиеся. Эти входят и вручают воспоминания неуверенно, будто заранее колеблясь: надо ли, достойно ли публиковать?

Из таковых, видно, и был поживший, моего возраста мужчина, появившийся в редакции, когда мы с Матвеем Григорьевичем собрались по домам. Робко постучал, чутко замер у двери за порогом: не ослышался? можно входить?

Печать интеллигентного провинциала лежала на его облике — та особая опрятность в одежде, с которой они являются в присутственные места, покорность и вежливость в каждом взгляде и жесте, а вместе с тем гонор: почудится ему неприветливость и суровость — повернется, уйдет.

Обычно такие авторы занимают много времени, и я огорчился: собирался сегодня же и пораньше навестить Петра Александровича. Во-первых, неважно выглядел старик в последнее воскресенье, во-вторых, хотел посоветоваться с ним по одному непростому вопросу, занимавшему меня долгие годы, в-третьих, на неделе обещали ему занести книжечку Степняка, которая уже была в продаже, а я ее прозевал.

— Прошу вас, — повторил я.

Только теперь, убедившись во взаимной учтивости, заулыбался, шагнул. И снова замер, с ожиданием вперив взгляд в мою не столь уж примечательную физиономию.

— Слушаю вас, господин... э-э...

Посетитель молчал, по-прежнему загадочно улыбаясь.

— Не узнаешь меня, Павел Дмитрич?

В то же мгновение мы стояли друг против друга, сцепившись руками.

— О Боже, — смущенно бормотал я. — Столько лет не виделись, мудрено ли?.. Прости великодушно, как я мог ожидать?

Впрочем, ему мои извинения не были нужны, он рад был создавшейся ситуации и впечатлению, и бормотал я скорее для себя, оправдываясь перед собой за беспамятство.

— Какими судьбами? Давно ли в Петербурге? На побывку или на жительство? Один или с семьей? Надолго ли? Где остановился?..

Мы никогда не были особенно близки, но не так уж часто навещают товарищи по отрочеству, по гимназии, да и вообще, из кого выбирать самых близких, где они?

Четверть часа спустя мы шли по Невскому к ресторанчику Степана Болдырева, чтобы как следует наговориться, обменяться прожитым за почти уже двадцать лет со дня нашей последней встречи. По дороге выяснилось, что в Петербурге Иван Панаженко третий день, приехал навестить дочку и заодно, а может и прежде всего, выяснить, что же происходит в столице и, значит, с каждым из нас? Двигаемся ли? И если двигаемся, то куда? Имеется ли в обществе ориентир, и если да, то каков?..

Славные вопросы, не без усмешки подумал я. А нам, петербуржцам, куда поехать, чтобы получить ответ? Ладно, поговорим. Жаль, конечно, что не приехал ты, Иван, год назад. Какие бы тогда вопросы возникли в твоей, помнится, неглупой, но осторожной голове?.. Вот и ресторан, вот и сам Степан Болдырев, как и мы, постаревший, потертый жизнью, но по-прежнему мощный, широкоплечий, памятливый.

— Мое почтение, Павел Дмитрич.

И отнюдь не рабский поклон.

Иван Панаженко никакой роли в моей жизни не сыграл, и если бы не этот случай, я, пожалуй, и не вспомнил бы о нем до конца моих дней. Или, по крайней мере, не стал бы вспоминать все, что с ним связано, так обстоятельно и подробно.

И в самом деле, кто и какой он был?

В гимназию пришел на год позже, был послушен, старателен, учился хорошо, однако ж вовсе не блистал талантами... Тоже и внешность имел самую обыкновенную для наших мест: крутолобый, темноволосый, кареглазый... Был, кажется, развит физически, однако ж, силою не похвалялся.

В обиду себя не давал, но и драчливости не проявлял. В тот год поднялась война между гимназистами и «сапожниками», никто не знал ни причины, ни повода — весь город встал на дыбы.

Гимназия наша существует с восемьдесят девятого года прошлого — виноват, теперь уж позапрошлого, — да, да, 18-го! — столетия, кулачные схватки такого рода происходили не редко, а раз в десять-пятнадцать лет — войны, и с каждым разом жесточе. Ежевечерне безумными толпами носились по задворкам и улицам, обыватели закрывали ставни, запирали калитки, и горе тому, кто окажется в меньшинстве. По воскресеньям собирались на берегу Десны, ниже города по течению — тут уж и вовсе смертные побоища. У меня так и остался шрам через всю голову с того времени — след гвоздыря.

Наш добрый директор, Павел Федорович Фрезе, приходил к реке, приводил с собой то законоучителя Хандожинского, соборного протоирея, магистра Киевской духовной академии, то учителя русской и всеобщей истории Безменова — все напрасно, расходились, чтобы в другом месте собраться опять.

Являлись порой и квартальные, всегда трое, четверо, плечом к плечу. Как я теперь понимаю, молоды были квартальные, крепки и смелы. Надо бы разбегаться, завидев их, но что-то удерживало. Гимназистов обычно не трогали, ну а сапожники, видно, стыдились бежать или надеялись, что пронесет... Квартальные не увещевали, похмыкивая и поплевывая, смело приближались к толпе, внимательно заглядывали в глаза. Трудно сказать, какой встречный взгляд, дерзкий или слишком покорный, наконец, выводил их из себя.

Противоречивые чувства испытывали мы, гимназисты: и злорадство, и страх, и сочувствие...

Вмешательство квартальных тоже не унимало волнений. Уже не только гимназисты бились с сапожниками, но и старшие дядьки махали клешнями у трактиров и лавок, уже и непонятно было кто с кем и против кого. Отправили в черниговскую тюрьму дюжину сапожников, исключили из гимназии десяток старших учеников. Дворянское собрание города дважды обсуждало события. И все это лишь поднимало бойцовский дух.

Не принимали участия в той войне только Иван Панаженко да еще Николай Кибальчич.

Кибальчич — понятно, новичок в гимназии, только что поступил, отучившись два года в Черниговской духовной семинарии, да и робок был, тщедушен для тогдашнего своего возраста, какой из него боец? Ну, а Панаженко... Тоже понятно. Крестьянский сын, слишком дорого досталась ему гимназия и казенный кошт на учение, мечтал получить право на чин после окончания и выйти из сословия, имел все основания опасаться все это потерять.

А затухла война благодаря ему, Панаженко. На Рождество Христово сапожники поймали Ивана у Петропавловской церкви, заволокли на задний двор и выместили накопившееся зло. Само собой образовалось перемирие на две недели, ждали: выживет или нет? Ну, а через две недели страсти улеглись.

Весной 1889 года, едва я вернулся из второй, Воронежской ссылки, как получил от него письмо. Было оно скорее официальное, нежели приятельское, но тем более польстило моему самолюбию: помнят на родине! Не забыли.

Панаженко сообщал, что в конце мая Новгород-Северская гимназия будет праздновать столетие основания и приглашает на торжество бывших выпускников.

Я и поехал. Имелась еще причина для путешествия: давно мечтал побывать не только в Новгород-Северске, но и на родине, в Коропе.

Странное это чувство — родины, пожалуй, мистическое. Вину испытываешь перед этим уголком земли, будто, уехав, бросил на произвол судьбы,

благодарность — будто таким уж бесплатным оказался ее подарок: жизнь, долг — будто посетив через тридцать лет, исполнишь нечто завещанное от веку. Наперед знаешь, что ничего, кроме разочарования и печали, путешествие не доставит, а все равно едешь. Все люди знакомы с такими чувствами, вот и тебе надо, иначе чаша жизни окажется не полна.

Выехал я из Петербурга в самом романтическом настроении. Но пока добрался до Нежина, а из Нежина до Кролевца, а из Кролевца до Коропа... В общем, приближаясь к родному городу, изнемогая от жары, тряски и едкой пыли, я мечтал о постоялом дворе с тараканами, как должно быть наследник, возвращаясь из Ливадии, мечтает об Аничковом Дворце. А когда кибитка загремела по единственной мощеной улице города, вовсе пришел в уныние: таким заброшенным, одиноким, случайным на земле показался родной городок, а тем паче случайным и одиноким я сам. Зачем я здесь? Что за пустые сентиментальные чувства привели сюда?.. В предполагаемом разочаровании есть своя прелесть, мнится оно поэзией увядания, в наступившем — ничего, кроме усталости и тоски. Вот и постоялый. Получил номер и рухнул в постель, едва успев ополоснуть лицо и снять обувь.

Под утро мне пригрезилась картинка из детства: майское утро, мама на крыльце в лиловом шелковом платье с галстуком из накрахмаленного батиста, с поясом над турнюром, завязанным широким бантом, отец в темном сюртуке и белой рубашке с золотой запонкой, и я сам — в матросском костюмчике, что как раз вошли в моду среди нашего губернского дворянства, и отец привез его мне ко дню рождения из Чернигова. Все мы с интересом следим за конюхом Панаськой в красной рубахе, что выводит и запрягает в новенькую плетеную бричку Веселого — последнего выездного и последнюю бричку нашего когда-то богатого рода.

До церкви Успения со знаменитыми на всю губернию дароносицей и напрестольным крестом рукой подать, но, кроме праздничной службы, будет большой торг на базарной площади, бродячий театр приехал то ли из Ростова, то ли из Курска, а главное — все, у кого есть выездные, поскачут после службы и торга в Закоропье или к Десне, там будет «братчина», то-есть, первый летний пикник. Звон летит сразу со всех десяти церквей, а за высоким забором скрип, стук, блеяние, поросячий визг...

Я открыл глаза — колокольный звон и живой ропот не исчезли. Кинулся к окну, увидел вереницу крестьянских телег, мужиков и баб в праздничных нарядах и тогда сообразил, что сегодня Вознесение Господне, самый любимый после Пасхи праздник детства, ну и, конечно, красный торг в городе — не только же на службу ехать крестьянину из Рыбатина, Билки, Нехаевки, Пустой Гребли, Бужанки, Разлетов, Чернявки — ближних и дальних деревень.

Ликуя от такой удачи, я выбежал на улицу и сразу — к базару, в его живой дух, в горячий настой людской и скотской плоти, к звону кузнецов и горшечников, к призывным крикам сапожников и шапочников, к воплям цыган в желтых канаусовых рубахах, в ту суету, мельтешение и волнение, что в массе своей гляделось празднеством, а для каждого в отдельности своей человека могло оказаться и удачей, и последней бедой.

Торг показался мне довольно богатым для весны и начала лета, точнее, достаточным, лица крестьян — умиротворенными. По обрывкам фраз, восклицаний, приветствий я понял, что, как в лучшие времена, собрались крестьяне даже из Оболонья, Туты, Стахорщины. Что ж, коропские торги и ярмарки издавна славились сборами даже в голодные годы, а кроме того, черным пивом, которое здесь варили испокон веку. Ну и службой отца Иоанна Кибальчича в церкви Успения, певчими, каких не было ни в одном приходе

благочиннического огруга, искусством звонаря Амвросия, огромного мужика на деревянной ноге, инвалида Крымской войны.

Торг шел дружный, трезвый. Трактир, стоявший в центре базарной площади под российским гербом со времени Екатерины, со времени ее знаменитого указа о «чарочных», был еще пуст. Не видно было и слез, что так смущали в детстве, когда веселый сговор вдруг заканчивался воплями и рыданиями. Уж не вправду ли, пусть нехотя, черепашьим шагом, но меняется что-то в подлунном мире? Дай Бог.

Ходил от ряда к ряду, приглядывался, прицениввался, и только изрядно намучав ноги, утомив глаза и уши, отправился по городку, прежде всего, понятно, на ту улочку, где стоял когда-то родительский дом. Не без робости издали отыскал его взглядом.

Однако, что это? Обшелеван, покрыт красной немецкой черепицей, украшен наличниками. Колодец во дворе под свежим срубом, сад обновился... «Кто здесь живет?» — обратился к прохожему. «А волостной писарь, — получил ответ. — Савелий Коноград. В том году на Духа купил».

Вот как, подумал я. Выучился крестьянский сын Савелий на писаря, исправно служит, живет не тужит, ребятишек накошелил полный двор и знать не хочет, что занимает бывший дом дворянина Сильчевского. Славно!.. И даже соседняя хата, что, будто стыдясь позора своей нищеты, вросла до окон в землю, не повлияла на мое возвышенное настроение. «А здесь кто?» — «А Яшка Бимбус! Сапожник».

Яшка?.. О Господи, Яшка, друг детства! Золотушный, сопливый, голодный. Приходил к обеду, знал точное время, когда садимся за стол, открывал дверь без стука. «Яшка, суп со свининой будешь?» — «Буду».

Все, кому не лень, подшучивали над Яшкой. «...а кроликовую курицу? А куриного кролика?» Яшка пищу ставил выше юмора: буду, неизменно отвечал шутникам. Рассказывали, что в голодный год кто-то из купцов накормил его отца-кошерника крольчатиной под видом курицы — чуть не помер сапожник от гадливости и рвот.

Я толкнулся в калитку, привычно откинув щеколду с обратной стороны, однако на двери дома висел замок.

Нет, не жалость вызвало в моей душе жилище Яшки, а нежность. Как все прочно в этом мире, как последовательно и надежно. Вырос Яшка, унаследовал и профессию своего отца и хатенку. Обязательно надо заглянуть к нему вечером, встретиться, обсудить прожитые годы. Подарки детишкам принести.

Я спустился к реке, к тому месту, где мы когда-то купались, чтоб посидеть на берегу в тиши и одиночестве, отдохнуть от впечатлений. Вспомнил, как мы опозорились здесь с Колей Кибальчичем, испугавшись плыть на другой берег, как униженно плелись домой, стыдясь себя, а на другой день поплыли, глядя один на другого выпученными от страха глазами. О счастье возвращения к жизни, когда касаешься дна на том берегу!

С того дня, войдя в воду, я не забывал похлопать ладошкой по ее крутой шее: спасибо, милая. Вынесла дурака, не дала пропасть. Однажды оглянулся и увидел, что Кибальчич с обычной своей странноватой улыбкой тоже похлопывает ладонью. Поймал мой взгляд — сконфузился, подпрыгнул, завопил дурным голосом, ринулся с головой. Не с тем ли самым и он обращался к ней?

Попав в Олонецкую, потом в Воронежскую губернию, я первее, чем в полицейский участок, шел поглядеть на реку. Казалось, здесь можно понять что-то и о людях на ее берегах, о том, каково мне будет среди них. В общем, привязался я и к Неве, и к Мегреги с Олонкой, и к Воронежу с Доном, но да простит мне сотворивший их, далеко им, изобильным, до маленькой нашей речки. Не омывали они души моей.

Вот основа, размышлял я. Не железные дороги, которыми так восхищался Кибальчич, строительству которых собирался посвятить жизнь, не великие города, а речки. И счастлив тот, кто после долгого путешествия по железной дороге из отдаленных или не столь отдаленных мест может коснуться родного берега и сказать: «Слава Богу. Доплыл». Конечно, большие города производят сильное впечатление. Кажется молодому человеку, что они средоточие и основа, а река у подножия — бедная родственница и служанка, но попадешь в такой уголок, как Короп или Новгород-Северск, и все ясно: вот он, прилепился ненароком, неуверенно и зависимо на сотню-другую лет...

Умиротворенный, даже торжественный, я поднялся и направился к церкви Успения, чтобы успеть на «Верую во единого», любимого хора моего отрочества.

И успел, когда вошел, как раз грянули: «Верую!»

Выясняя свои непростые отношения с Богом, я бывал и в случайных часовнях на перекрестках дорог и в кафедральных соборах. Давно отдаю предпочтение малым церквам перед столичными храмами. В них, соборных, отрепетированная, слаженная мольба, каждение Вседержителю, отдельный голос не различим там; в малых — надежда быть услышанным лично.

Почудилась мне особая страстность в голосах и лицах, так молятся в дни бедствий: войн, эпидемий, голода, когда единственное упование — Бог.

Но — слава Ему — ни о том, ни о другом не было слышно. Выходит, извечная народная вера и любовь.

Нет, не реки или железные дороги основа, думал я. Не деревни или великие города, а народная вера в грядущее, в добро и любовь. В конце концов, Бог у каждого свой, вера и безверие свои, а любовь к жизни единая. В этом и заслуга и необходимость религии, какой бы она ни была, она объединяет и направляет людей. «Верую! — хотелось воскликнуть мне, такая была минута. — Во все верую! И в Бога триединого, и в социализм, даже в коммунизм, в Россию, в русский народ и свое честное предназначение в этом народе!..»

Стоял у входа и не вытирал слез. Здесь священник Иоанн Кибальчич когда-то венчал моих родителей, здесь же крестил в православную веру меня.

Я хорошо помнил его. Старый, тощий, риза на нем висела как на огородном пугале, смуглый, будто предки его за два века не расплескали ни капли своей сербской крови, с выражением бесконечного терпения в угрюмом лице. В тот год он начал по Житиям учить грамоте Николая, и мой отец упросил его взять меня в соученики. Успехи мои в учебе были ничтожны — то выражение суровой терпеливости парализовало меня, лишило сообразительности и памяти. А когда — через год — мой отец захотел рассчитаться с ним за науку, вернулся с деньгами расстроенный, огорошенный. «Чертов турок...» — бормотал несколько дней. «Турком» называли Кибальчича многие коропчане, поскольку сербы нация малоизвестная, а легенда о том, как дед его или прадед бежал из турецкого плена, известна. Ну и упрям был, непредсказуем, как, на взгляд коропчан, турки: мог потребовать за крещение ребенка десять рублей серебром, а мог и отказаться от платы вовсе. Какая-то линия поведения имелась, а какая — неясно.

Всегда был замкнут и сосредоточен, но порой, когда собиралась вся семья — Степан, Федор, Тетяна, Ольга, Катя, Николка — приходил в счастливое расположение духа и вдруг предлагал: «Споем?»

Отец благочинный
Надел тулуп овчинный,

— тут же начинал низким утробным голосом, а все — ваш покорный слуга в том числе, если доводилось присутствовать, — со щенячьим восторгом подхватывали:

Удивительно, удивительно, удивительно!..

Какое славное было время. Как много обещало всем и каждому...

Я стоял среди прихожан, искал знакомые лица. Однако было мне десять, когда переселились в Новгород-Северск... Вот разве лицо церковного старосты показалось знакомым. Но хотя я и щедро сыпнул в копилку «на ремонт храма», он не поднял на меня глаза. Что ж, все правильно, перед Богом все равны: и рубль, и медный грош.

Дождавшись, когда священник вынес тот знаменитый серебряно-вызолоченый крест, я вышел в том же возвышенном состоянии. Последнее, что заметил: уродливая старуха целовала крест с той страстью, что неприятно озадачивает постороннего человека, с которой обращаются к Богу не о спасении вечной души, а об исцелении тела... Но душевный подъем не располагает к размышлениям и пониманию причин.

На паперти некий колченогий мужичок слезливо задрал ко мне сивую бороденку: «Барин, помилосердствуй копеечку...» Что привычнее на Руси подобного зрелища? Огромное количество калек и убогих бродило по дорогам империи в моем детстве, словно кончилось в деревнях милосердие и выпихнули их в люди, на Божий свет и самопропитание. Тех, что добывали средства у червей, называли богомолами, кто ходил с сумой по домам — горбачами. А еще были барабанщики, севастопольцы — калеки Крымской войны, иерусалимцы, родимчики, погорельцы. Отец мой был ласков с ними, порой зазывал в дом, угощал обедом, давал на дорогу пятак. Особенно интересны были иерусалимцы: предлагали купить то водицы иорданской, как лекарство против запоя, то щепочку от лестницы Иакова, а то и от самого гроба Господня.

Наверно, так и уехал бы я в высокой печали и радости, с верой в будущее, кабы шагнул мимо того несчастного. Но я приостановился и сыпнул в его скрюченную ладонь всю медь и серебро, что нашлись в кармане, так что монеты зазвенели по паперти.

И тотчас тихий церковный двор ожил, невесть откуда взявшиеся калеки, увечные, старики и старухи, подростки и дети зашевелились, как серые муравьи перед суровой зимой, запричитали, завыли и поползли, кинулись одни ко мне, другие к счастливцу, выворачивали ему руку, царапали по земле в поисках упавших монет, и вот уже вопль вырвался из клубка дикой драки, грязная брань и проклятия.

Такого апокалиптического месива — будто со всей волости, уезда, губернии приползли они сюда праздновать свою проказу, калечество, нищету, — я еще не видел. Вырвался из цепких рук, что уже трясли мои карманы, отшатнулся от смрадных дыханий, отбежал — вот уже и камень покатился вслед мне.

Копошащийся клуб свалился с паперти на двор, вой и стоны не утихали, но тут из церкви повалил народ...

И еще одно воспоминание связано с той давней уже поездкой.

Неподалеку от Успенской я увидел новую, незнакомую мне церковь. Небольшая, двухкупольная, с пустым двором. Почудилось: не для славы Господней построена она, глухая и отгороженная, а покаяния и уничижения ради.

Так и оказалось. Возведена она была недавно на средства самодостаточных жителей города, дабы вечно замаливать кровавый грех своего земляка, цареубийцы Кибальчича.

Утром следующего дня я уехал из Коропа.

Родные могилы, появившиеся на Новгород-Северском кладбище за время моих ссылок, Никольская церковь, где на левом клиросе пели на воскресных службах отец и мать, старый наш дом, в котором жил теперь гостеприимный уездный доктор, а, главное, знакомые лица, голоса, всеобщее возбуждение снова возвратили мне высокое настроение. А еще — площадь, с которой по преданию начался злосчастный поход князя Игоря, память о сражении Мазепы и Петра, старинные гостиные ряды, Губернская улица, Триумфальная арка, построенная к приезду Екатерины II, Спасо-Преображенский собор, на который удовлетворенная императрица пожертвовала сто тысяч рублей... И совсем уж дальнее, почти забытое: «...А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались с е в е р я н а м и...»

Гостей было много. Тут, понятно, и естественный патриотизм сказался, и желание увидеть-показать, кто чего добился, достиг. И ордена сияли, и аксельбанты. Город был украшен, гремела полковая музыка на балюстраде над Десной, а в трактирах, шинках и лавках самого затерханного выпускника называли не иначе, как «господин гимназист», даже если гимназист был с дырявой бородой до груди.

Из нашего выпуска были здесь Голубятников, Альбрехт, Говорун, Неймандт, Орленко, Томашевский, Хорошко... Все были веселы, счастливы встречей, каждый по-своему красив. Особенно импозантны стали Говорун Иван — с брюшком, огромным бантом на груди, и Сергей Томашевский — уже профессор, звезда в своей области медицины, хотя область, прямо сказать, оказалась неожиданной — весьма популярные болезни изучал он, болезни любви... Все это давало новые поводы шуткам, намекам, игре настроения и ума. Александр Альбрехт, как и собирался, стал видным адвокатом в Киеве, Говорун — местным богатым купцом, Орленко выгодно женился и держал ныне едва не целое пароходство на Волге, Хорошко строил железную дорогу в Сибири... Все определились, кроме меня, были женаты, растили сыновей, дочерей. Я да еще Костя Неймандт, который тоже дважды побывал в ссылке и жил теперь в Одессе, не зная, как быть дальше, оказались из самых скромных гостей.

На торжественном собрании в актовом зале гимназии много было сказано теплых и прочувствованных речей. Конечно, в первую очередь, о верности трону, православной церкви и государству, но и — России, народу. То были не пустые слова. Действительно, верны были и тому, и другому, и третьему. Служили верой и правдой, отволновавшись в далекие семидесятые, и нисколь не желали, чтобы новое поколение заволновалось опять.

Хорошую речь произнес нынешний директор Ронталер. Вспомнил первого директора коллежского советника Петра Ивановича Халанского, сына священника Глуховского уезда, сделавшего в свое время первое «Топографическое описание Новгород-Северска», — великая императрица наградила его за оное серебряной табакеркой. Благодаря Халанскому в гимназической библиотеке появилось собрание сочинений Державина с дарственной надписью, «Путешествие к татарам» и «Спутник в Царство Польское» Дмитрия Ивановича Языкова, сын фельдмаршала Румянцева граф Николай Петрович прислал «Российскую историю» Стриттера, собрание государственных грамот и договоров, Историю российской иерархии, Несторову и Никонову «Летописи»... Благодаря ему мы читали «Древнее русское право» Эверса,

«Славянские древности» Шафарика, Словарь витийственных речений, изданный в 1688 году, византийских писателей издания Нибура, «Опыт общих правил стихотворства» князя Цертелева, «Надгробные слова» Боссюэ... Многим обязана ему наша гимназия, отстоящая на триста верст от ближних университетских городов.

Недаром, однако, старался Петр Иванович. В конце жизни император Александр Павлович пожаловал ему три тысячи рублей единовременного пособия «к ободрению в старости и нищете его угнетающей...»

Вечная память ему, подвижнику и неустанному просителю.

Вспомнил Ронталер и наших благотворителей: помещика Перовского, пожертвовавшего на строительство каменного здания тысячу рублей и тысячу четвертей извести, Парпуру, подарившего 16 000 серебром, Марфу Полуботкову, Лашкевича, ну и, конечно, Его Величество Николая Александровича, оплатившего счет в 150 000 рублей...

Сказал и Панаженко несколько слов: об особом местном патриотизме, о чувстве родины каждым жителем города, свободолюбии... О том, что если счастлив человек, значит, счастлива родина, и наоборот: неблагополучна родина — несчастлив и человек.

После торжественного собрания публика разделилась: ордена с аксельбантами отправились к попечителю, а мы — к Ивану. Он-таки добился своего: работал учителем нашей гимназии, купил дом на Губернской, жена его оказалась маленькой славной женщиной, две приветливые девочки подрастали... Приятно было глядеть на достойного человека в кругу дружной семьи.

Сели за стол, выпили рюмку-другую. Дочки Ивана играли на фортепьяно, жена спела «Железную дорогу» нашей черниговской барышни Рашевской на стихи Некрасова, Томашевский под гитару «О, ваша речь есть истина святая!» Барзаковский прочитал стихотворение на 100-летие гимназии в подражание пушкинскому «19 октября», а Татаринов, сидя с краю стола, остро поглядывал и рисовал шаржи. Смешнее всех изобразил Говоруна, поменяв голову и живот местами, досталось и Томашевскому. Тут темой послужила особенность его клиентуры, и Орленко за женитьбу на миллионщице, и мне грешному — со словарем Толля вместо головы. Но я человек не обидчивый, а Говорун и Орленко насупились, и только когда Татаринов изобразил самого себя — хитрого, узкоглазого, жадного — снова развеселились, припомнили, как воровал бутерброды, простили его.

Когда и художественная, и мемуарная части исчерпались, Панаженко сказал: «А теперь я покажу, как своею рукой ввел вас в историю», — и снял с полки объемистое издание.

То оказался экземпляр «Исторической записки о Новгород-Северской гимназии», которую Панаженко составил по заданию попечительского совета на материалах гимназического архива. Ту часть, которая касалась нашего выпуска, прочитал Александр Альбрехт, обладатель трибунного голоса, и все мы с удовольствием услышали свои имена. Опять были шутки: «теперь потомки нас не забудут», «что слава — звук пустой...» — и вдруг я сообразил, что в списке выпускников нет Кибальчича.

Прозевал в ожидании своего имени?

Однако по лицам приятелей увидел, что и они припоминают — было, не было? — и не находят в памяти.

Панаженко ответил не сразу. И затруднительное его молчание явилось более красноречивым, чем слова. Имя Кибальчича было навеки вычеркнуто попечительским советом, поскольку не гордиться, а стыдиться должно этого имени, не слава оно гимназии, а позор.

Я думаю, каждый из нас в тот день и вечер вспоминал его, но — что скажешь? — печальная тема, непонятная, а если умолчать — просто и легко. Я тоже не упоминал о нем по близкой причине: приятель, друг детства и юности, а значит, помню, не забываю, выходит, и совесть моя чиста.

Теперь, однако, невозможно стало обойтись молчанием. Неприлично, совестно да и важно... Понять хотелось, освободиться, облегчить душу. Ничто так не помогает, как стройное рассуждение, а еще лучше — постулат.

— Ничего не понимаю! — произнес Орленко раздраженно, громко. — Кибальчич и террористы!.. Что за ирония судьбы? Революционер!..

Поглядывали на меня, поскольку и за одной партой сидели, и в Петербург вместе отправились, и в ссылках я побывал. Но что я мог сказать им? Самому далеко не все ясно. А если бы и мог, то — кому? Миллионщику Орленко? Купцу Говоруну? Ивану Панаженко, обеспокоенному возникшей темой, уже отсылает взглядом из комнаты дочерей?..

Догадывались, однако: сообщение «Правительственного Вестника» — одно, а жизнь человека — другое. Есть тайна меж ними, крупный зазор. Есть в смерти человека укор живым.

— Кто лично вычеркнул? — спросил Томашевский.

— Откуда мне знать? — ответил Иван.

Позже мы снова сели за стол, пили чай с ватрушками и кренделями, которые, оказалось, приготовил сам Панаженко — такой у него объявился талант. Татаринов опять набрасывал мгновенные шаржи, изобразил Ивана сладким кренделем и себя — злобным кукишем, но теперь это не показалось смешным.

Не знаю, как вам, а мне жизнь в самые счастливые минуты нет-нет да и напомнит, что развивается не по тем законам, которые предполагаем мы.

* * *

Молодцы у Болдырева — в красных рубахах, сафьяновых сапогах, подбитых войлоком — неслышно возникали на пороге, сдвинув тяжелую густо-синюю занавесь: довольны ли? Исчезали тотчас. Сам Степан заглянул к нам за вечер дважды. Первый раз, когда подали закуски, второй — через час: не возникли ли иные, сопутствующие желания? Нет, вовсе не платные девочки подразумевались, этого Степан не практиковал и не одобрял, если приводили с улицы, иное, вполне пристойное развлечение у него имелось про запас. У подъезда всегда дежурили два-три лихача из лучших в Петербурге, и состоятельным гостям из провинции Степан предлагал проветриться на часок-другой, промчаться по вечернему Петербургу, а там, освежившись, с богом засесть за столы опять. В особых случаях мог отправить с лакеем, вином и закусками и за город, на лоно природы, однако такую услугу полагалось заказывать заранее, не позже середины дня.

Стоял ресторанчик на бойком месте, но был тихий, спокойный. Всяких там купчишек, приказчиков Степан не привечал, куражиться не позволял, и потому они к нему не ходили. Зато хаживали советники вплоть до действительных тайных, священники, заводчики, члены Государственного совета и Думы. Решались здесь важные личные, а возможно, и российские дела. Ну, а для любителей покутить Степан держал харчевню на Лиговской под названием «Гуляй». Там распоряжалась его изобильная супруга, Степан и не появлялся там, чтобы не портить свое реноме.

Отцу Степана, Афанасию Болдыреву, хозяину рядового трактира, что размещался здесь когда-то, не снился такой уровень и стиль. Афанасий был

наш, черниговский, из вольноотпущенников, перебрался в Петербург после Крымской кампании, начал свой путь в столице ломовым извозчиком, закончил хозяином. Тридцать пять лет назад мы с Кибальчичем забежали к нему, узнали по говору земляка и с той поры в трудные времена заглядывали и вдвоем и поодиночке хватить у него борщок, пожарскую котлетку, а то и занять два-три рубля.

Между прочим, сын его закончил два курса Технологического и оставил учебу единственно из-за смерти отца. Получил наследство, женился на дочери мануфактур-советника, перестроился и скоро стал хозяином, каких в Петербурге раз-два.

Заведение у Болдырева кабинетного типа: тихо, со всех сторон ровный мужской говор, как нити золотой парчи вплетаются в него молодые женские голоса, но Иван не замечал процветающую рядом жизнь. Не так проста, выяснилось, причина, что привела его в Петербург: исчезла дочь, учившаяся в университете. Уже летом, на вакациях, было ясно: что-то с ней происходит. Думали — романтическая история, оказалось...

Оказалось, спасаясь от ареста, бежала за границу. Нежная девочка с цыплячьей шеей и социалисты-боевики. Можно это понять?

Кто виноват в том, что молодежь опять сбилась с дороги? — вопрошал Иван. Все виноваты. И беспомощное правительство, и партии, что рвутся к власти, и, конечно, печать. Да, есть в смуте положительное значение, она — проверка на прочность государственного устройства; согласен, перемены нужны. Но какие? Что они, ныне призванные, предлагают?.. Правительство — это ведь тоже проверка идеи. Но в том-то и дело, что смута есть, а новой идеи ни у кого нет. Идеи государственности вызревают веками, в них все: и национальный характер, и пространство, и климат, и количество населения... Был период — все оказалось под сомнением, но пришел государь с твердой волей — успокоились. Оказалось, рано думать о больших переменах, еще и прежняя идея жизнеспособна, может вести Россию вперед. Где ныне сильный и государственный человек?.. И как быть мне, учителю, в этой кутерьме? Хочется честно служить, гордиться Россиею, воспитывать патриотизм, а не нигилизм, но как? Если нет сильного человека, значит, и идеи нет...

Я вспомнил, что нечто подобное он уже развивал тогда, на нашей благостной встрече, посвященной юбилею гимназии, между заздравными тостами и нежными воспоминаниями.

«Чтобы верно служить, надо любить. А кого?.. Председателя комитета министров? Увольте, не смогу. Возможно, комитет хорош для Европы, а мы не Европа, мы сами по себе. Комитет — функция, функцию можно признавать, но любить невозможно. Такую огромную страну может объединить только любовь. Империя для нас — лучшая из идей. Она подходит и русским, и туркменам, и кавказцам, для нашей Европы и нашей Азии... Государь рождается на наших глазах, становится наследником, конфирмуется, женится, крестит своих детей, коронуется, правит, умирает... Жизнь его, как на ладони. А министры?.. Откуда они возникают? Чем живут? Они даже не умирают — уходят в отставку!.. Волевой государь — единственное, что нужно России. Не забудем Петра Великого. А еще нужна наша поддержка, наша старательность, честность, наше сознание, что все вместе мы — империя! Она еще послужит нам...»

Выходит, перемены налицо. Теперь Иван Панаженко согласен просто на сильную государственную личность, что принесет покой.

Помнится, шум поднялся, как на гимназическом перерыве. Махали руками, смеялись, стучали ногами. Какой ты, Иван, ретроград!.. Но, как ни стран-

но, пришли к выводу, что империя еще послужит. Нельзя рушить старый дом, не имея хотя бы временного жилища. Не сносят храмы, не узрев нового Бога. Или хотя бы пророка.

— Кому служить ныне? — недобро усмехнулся Иван. — Говорим — отечеству, служим правительству. Не о нас речь — о детях...

Вдруг я понял, чего он так страстно желал: успокоения. Одно нужно: сильный человек, и тогда не суть важно прав он или не прав. Тогда дети вернутся к родителям, все обретут единую цель.

— Ты, петербуржец, — устало улыбнулся Иван. — Скоро все это кончится?

Когда в девятьсот первом студент Карпович с двух шагов выстрелил в министра народного просвещения Боголепова, и даже когда Балмашев хладнокровно всадил в живот, в грудь, в шею Сипягина четыре пули, не верилось, что начинается новый круг. Однако после бомбы Сазонова все стало ясно: взошли семена, обильная ожидается жатва. Кстати сказать, кое-кто из сеятелей дождался нового урожая, стоит у края поля с серпом в руке: Брешковская послала на смерть Сазонова, неистовая шестидесятилетняя старуха, не сломленная ни каторгой, ни тюрьмой.

«Цели партии враждебны насилию. Идеал партии — мирный». И это после того, как обломки кареты статс-секретаря Плеве влетели в окна Варшавской гостиницы.

Теперь, после трех рюмок водки и плотного ужина, стало заметно, как отяжелел Иван, постарел. Значит, и я?

— Или хотя бы надолго ли? — вопрошал он.

— Не знаю, — вполне сочувственно отозвался я. Как-никак мне тоже за пятьдесят, и я тоже желаю ясности и покоя. Но иные идут поколения, они и будут решать остатки нашей судьбы. — Порой кажется, что все только начинается...

Как раз в те дни всколыхнулась стачка в Москве, — не то пятьдесят, не то сто тысяч рабочих... Страшное должно быть зрелище: сто тысяч голодных и злых.

Вспомнили кое-кого из наших. Оказалось, что от скоротечной чахотки умер Барзаковский, разорился Орленко, вышел в отставку Альбрехт, а вот Томашевский процветает, опять же, видно потому, что процветает в мире любовь. О Кибальчиче не говорили, хотя, конечно, каждый про себя не раз вспоминал о нем. И так же, как в прошлый раз, неожиданно вырвалось его имя.

— Думаю, скоро тебе придется искать другую работу, — сказал Иван. — Публикуете неизвестно что. Закроют вас и поделом. Все ваши номера читал, даже лондонские. Позор России, а вы его на весь мир... Хаос проповедуете, а не закон. Вы тоже виноваты в том, что происходит в России.

От истины Панаженко был недалеко: уже три предупреждения получил наш журнал от цензурного комитета. Ну а что касается «хаоса»... Возражать не хотелось: какой смысл?

— Мы политикой не занимаемся, — сказал я. — Мы — историей.

— Как же историей... — проворчал Иван. И вдруг совсем уж раздраженно спросил: — Послушай, что он там за проект написал?

А вот этого я и не знал. Это и было то, что занимало меня долгие годы, с чем я обращался уже и в градоначальство, и в департамент полиции, а вразумительного ответа добиться не мог. Об этом же я теперь намеревался говорить с Петром Александровичем, чтобы с его связями проникнуть в полицейские архивы.

— Так много мог бы достигнуть человек!

Понятное дело, мог.

— Вот тебе — революция.

Глядел так, будто это я устраивал события, случившиеся и тогда и теперь.

В тот же вечер я проводил Ивана на вокзал.

Глава вторая

В конце августа 1871 года мы с Кибальчичем приехали в Петербург. Судьбы наши, казалось, решены: Кибальчич поступает в Институт Инженеров путей сообщения, я — в университет. На таковых поприщах, верили мы, сможем многого достигнуть и много принести пользы отечеству. Одно связывалось с другим и, казалось, никак невозможно достигнуть, не принося или принести, не достигнув.

Поступая на филологический факультет, я следовал семейным интересам и пристрастиям: отец мой изо дня в день, сколько помню себя, по утрам, с девяти до десяти, *писал*. То разбирал воззрения Монтескье на демократию, монархию и деспотию, то возражал Вольтеру, или затевал собственное сочинение о вольности, славе и тщеславии, о женском целомудрии и мужской чести. Напротив его стола висело тщательно выписанное славянской вязью изречение из «Русской Правды» Пестеля: «Народ российский не есть принадлежность или собственность какого-либо лица или семейства. Напротив, правительство есть принадлежность народа», — разумеется, без имени автора... Почему без имени? А потому, что юность моего отца пришлась на конец сороковых — особенные для России времена. Революция в не близкой Франции разом отозвалась на судьбах русских людей. Подозрительность опустилась на глаза и души тех, кто стоял у власти, и каждый интеллигент почувствовал, что его подозревают, что благонамеренность можно понимать и так и этак. Тогда-то мой отец решил оставить службу в Петербурге, уехать на родину и — писать... Так что мой выбор был естественным. А Кибальчич? Почему путей сообщения? Инженеров в его роду не было, один брат нотариус, другой — военный врач. Отец, как уже сказано, священник, этот сан наследовался в их семье второй век.

Пожалуй, общественное мнение. Тогда в обществе писали и говорили о паровозах и железных дорогах с тем одушевлением, с каким нынче — о демократии.

Но пустое дело убеждать Кибальчича после того, как принял решение. Даже отцовская власть прекращалась, если решился.

Известно, авторитет и власть одного из родителей во много раз возрастает в глазах ребенка, если случится беда и второй родитель до времени покинет сей светлый мир. После смерти матери Кибальчич сильно привязался к отцу. Ловил каждый взгляд, предчувствовал и предвосхищал слово. Безропотно поехал жить к деду Максиму в Мезень, покорно поступил в духовное училище, затем в Черниговскую духовную семинарию. И вдруг забунтовал. Вернулся в Новгород-Северск, выдержал экзамен в шестой класс гимназии. Это при том, что отец порвал с ним, лишил помощи.

Позже их отношения поправились, Николай снова стал бывать в Коропе на вакациях, но перед отъездом в Петербург опять произошла размолвка. Отец требовал, чтобы сын, раз уж не захотел стать священником, шел по стопам старшего брата Степана — выучился на врача. Напрасный труд. Кибальчич мог переменить убеждение, однако не вдруг и не под давлением чужого мнения. Если овладевала им какая-либо идея, зряшными оказывались

любые слова: упирался, отмалчивался, бубнил свое, даже если был неуверен или неправ.

Известно, Творец задумывал человека существом, в котором способности уравновешены и гармоничны. Но поскольку от идеи до воплощения дистанция не малая, или потому, что глина — замечательный, однако не идеальный материал, или потому, что производить идеи и воплощать — две разные профессии, и даже Он не мог быть совершенен в каждой, а квалифицированного помощника не нашлось, — существо получилось не идеальное. К примеру, должны быть равно развиты в человеке способность к независимости и к подчинению. А на деле — либо одно сильнее, либо другое. У Кибальчича плохо было именно со вторым.

У отца его тоже был крепкий характер, и на дорогу Николай получил ровно тридцать рублей. Не так уж мало, на первый взгляд, месячная зарплата мелкого служащего в российской империи, но билет в третьем классе до Петербурга стоил около двадцати, кроме того, надо еще добраться от Коропа до станции — восемьдесят верст, по три копейки за версту на перекладных. В общем, к моменту нашего прибытия в Петербург у него оставалось чуть больше пяти рублей, у меня — сто: я ехал поступать в полном согласии с желаниями и матери, и отца.

Впрочем, положение Кибальчича облегчалось тем, что в Петербурге жила сестра Татьяна — Тетяна по-коропски, по-домашнему, не так давно вышедшая замуж за столичного адвоката Петрова.

То был незабываемый день. Вообразите двух юнцов из далекой провинции, которых никто не звал в столицу империи, а они явились, смело шагают с котомками за плечами, с фанерными сундучками, будто именно их-то здесь не хватало, только люди этого еще не знают, но скоро узнают! Вон уже с любопытством глядят. Однако не насмешливо ли глядят? В котомках у нас напихано белье, одеяло, в сундучках — тетради и книжки, кроме того, мама затолкала в котомку подушку... В Новгород-Северске все это придавало мне духу: в столицу еду! А здесь? Если откровенно, не котомка, а мех за спиной. Не мне ли свистит и скалит зубы молодой извозчик? «Надорвешься, барин! Садись, подвезу!»

Замирает сердце, узнавая очертания великого города — великой ошибки великого человека, как выразился писатель. Трудная и праздничная жизнь впереди. Наверно, чувства, которые я испытывал, сродни чувствам варвара, стоящего на краю чужой, богатой земли. Коренные петербуржцы никогда этого не поймут.

Все же удивительно целесообразно снаряжает природа человека в жизненный путь. Физическую силу он наберет позже, ум позже, а вот вера дается ему от рождения сразу вся. А что еще, кроме веры, может осветить ту бездну, которую мы называем *будущим*? Ничто.

Мы прошли по городу без цели и направления верст десять и, наконец, почувствовали усталость и голод. Зашли перекусить в попавшуюся на пути кондитерскую. И тут Кибальчич неуверенно предложил: «пойдем со мной?»

Петров был наш, Новгород-Северский, я видел и даже наблюдал его год назад, когда он с Тетяной заходил в гимназию перед отъездом в Петербург. Был он из мелкопоместных, самостоятельно, без связей и протекции выучился и пробился, но ничего не сохранилось в нем от нашего города — чужак, коренной петербуржец от сюртука до французской бородки и равнодушных, на выкате, крупных глаз. Скоро довелось заметить новую особенность его натуры или, может быть, внешности: таким же чужаком, приезжим, казался он и в Петербурге то ли из Парижа, то ли Лондона.

Известно, красивая жена для мужчины отрада, для адвоката — клад. С выражением беспредельного терпения прогуливался он по дорожкам гимназического сада в ожидании, когда Тетяна наговорится с братом. Был он много старше ее, успел прославиться в своей среде шумными уголовными процессами, я с восхищением глядел на него, поскольку еще сомневался: а не пойти ли на юридический?

Двадцать раз продефилировал мимо, но Петров, то бросая, как слепой, трость далеко вперед, то волоча ее за собой, не удостоил взглядом. От такого пренебрежения восхищение мое не остыло, напротив, усилилось, и теперь я обрадованно ответил: «Пошли!»

Как противоположно оценивает разный возраст одни и те же явления. Сейчас понятно, что преуспевающий адвокат, владелец пятикомнатной квартиры с итальянскими окнами — целого этажа в небольшом особняке, — онемел от возмущения, увидев гостей с мешками и сундуками — не исключено, вшивых, — но тогда его немота и кислая, как трехдневные щи, улыбка показались мне растерянностью перед напором наших молодых жизненных сил.

Отрезвление пришло спустя неделю. Она протекла для меня в неком чувственном тумане. Днем мы с Кибальчичем ходили в университет и институт путей сообщения, гуляли по городу, обедали где-либо в трактире, харчевне, а чаще — у знаменитой кухмистерской Великой Княгини Елены Павловны, что на Выборгской стороне, где обед с мясом стоил двадцать копеек, а как только день поворачивал на вторую половину, я начинал рваться домой.

Причины были две: во-первых, мечтал обсудить с адвокатом кодексы Юстиниана, Наполеона, или, к примеру, теории Ломброзо, выяснить перспективы развития российской легальности, во-вторых, я влюбился в Тетяну. Позже я много размышлял о том, что же такое человеческая любовь. В разном возрасте являлись разные объяснения, в том числе и физиологические, но стоит вспомнить те дни — и все ясно: красота в основе ее, она обещание счастья, она зов. Ну, а что касается физиологии... Приходится удовлетворяться ею, если недостижим идеал.

Петров уходил в присутствие раньше, чем мы с Кибальчичем поднимались, а вечером, едва поздоровавшись, скрывался в кабинете. Так что моя эрудиция по части юриспруденции пока оставалась втуне. Лишь два-три раза он садился с нами за стол.

— Итак-с, молодой человек, — насмешливо поглядывал на Кибальчича, — каковы ваши притязания?

Кибальчич тоже улыбался, но не насмешливо, а обычной своей улыбкой, стесненно и грустно.

— П-поступить в институт.

— Только и всего? Поступите. Нынче это не сложно. Сколько вакансий на первый курс?

— Сто восемьдесят.

— А желающих?

— Триста четыре.

— Нет, это не много, если вы чего-либо стоите... Ну, выучитесь, а потом?

— Буду строить д-дороги.

— Гм... Только и всего? А как быть с человечеством? Кто станет совершенствовать его после нас? Как быть с... справедливостью? Ведь ее мало у нас?

Кибальчич улыбался, видно, принимая условия словесной игры, а мне хотелось крикнуть с восторгом: «Я! Я буду бороться за совершенствование и справедливость!» Сдерживало лишь то, что адвокат по-прежнему решительно не замечал меня да еще стерегущая улыбка на прекрасном лице Тетяны.

Но однажды, когда разговор коснулся роли молодежи в прогрессе общества, я не выдержал.

— Только молодежь рождает героев, — заявил я. — А герои ценой своей жизни показывают возможные направления. И еще прогрессивна старость, — продолжал я, бросаясь в рассуждения, как в омут. — Ей нечем дорожить и есть с чем сравнивать. Но у старости нет сил. Что касается среднего поколения, оно слишком озабочено физиологией своего существования. Это возраст скептицизма. Оно не верит молодости и презирает старость, оно...

— Что вы подразумеваете под «средним поколением»? — перебил Петров.

— Между тридцатью и пятьюдесятью, — смело ответил я, прекрасно сознавая, что адвокат как раз и находится в этом бесславном промежутке.

В те времена таинственна была моя психика. Казалось мне, что принципиальный спор сближает людей, что влюбленность в женщину магическим образом вызывает ответное чувство, что истина живет независимо от характера человека... Ну и кроме того — время, эпоха. Спор никогда не казался пустым словопрением, всегда был актом гражданственным, поскольку подвигал к истине, а она, опять же, к прогрессу.

— Следовательно, герои — до тридцати? — привычно усмехнулся он. — Может быть, может быть... — Он смотрел не на меня, а на свою прекрасную, отчего-то порозовевшую жену. — Но в том-то и дело, молодой человек, что совершенствование человечества происходит само собой и не зависит от героев. Каждое новое поколение знает больше, понимает глубже — вот и прогресс. В этом смысле молодежь безусловно всегда права. Ну, а герои... Они ведут человечество в тупики. Избави нас господь от героев. Он поднялся, шумно отодвинув стул.

— Таня, — приказал ласково, — подай мне чай, пожалуйста, в кабинет. Буду работать.

Когда мы остались одни, и уши мои еще не остыли от смелости и стыда, Кибальчич вдруг печально сказал;

— К-какие, однако, г-глупости ты изрекаешь...

Меня снова бросило в жар. В те времена мысль, рождаясь в бедной моей голове, всегда казалась безукоризненной, ясной, но стоило возразить близкому человеку, усомниться — тут же недостойной, жалкой.

— Глупости?.. Разве я не имею права на мнение?..

Кибальчич молчал.

Молчание его было знаком несогласия, а если учесть тогдашний да и теперешний мой характер, жаждущий немедленной ясности, простоты, дружбы, можно представить, как оно было мучительно.

Весь вечер я вел себя, как мышь под метлой, чувствуя то унижение и обиду, то правоту и протест. Но уже утром, когда Тетяна, подавая чай, улыбнулась: «Доброе утро, герои!» — воспрял. Тем более, что, принимая стакан, я коснулся ее руки.

До сих пор помню это прикосновение.

А легкую улыбку я понял, как тайное союзничество, знак одобрения, как призыв к действию и тут же решил дать бой старому ретрограду и скептику. Неотмщенное самолюбие придавало решимость...

— Ваш спор н-незначителен, — заметил Кибальчич, будто угадав мои намерения. — Нет нужды п-продолжать его.

Я пропустил замечание мимо ушей.

Теперь-то мне все про себя ясно. Я был влюблен и мне казалось, что не только она, Тетяна, повинуясь тому закону всеобщего магнетизма, должна

любить меня, но и он, Петров, должен. Когда же он опозорил меня в глазах любимой женщины, мы оба должны возненавидеть его и отомстить. А Кибальчич должен стать нашим союзником. Глупо?.. Куда уж глупее. Но — восемнадцать лет плюс романтический мой характер...

Отныне я уже караулил его. Случай представился скоро. В тот день он защищал в окружном суде некоего молодого приказчика, покусившегося с тонкой пеньковой веревкой в руках на жизнь и деньги хозяина, не без помощи его молодой жены.

Известно, у каждого адвоката, судьи, прокурора есть свои «излюбленные» преступления, мотивы которых ему понятны лучше других, есть преступники, личности которых помогают бросить яркий луч на общество, выйти на неожиданные обобщения, проследить нечто касающееся иных людей и таким образом, в зависимости от роли в суде, либо требовать жестокого приговора, либо смягчения участи. Мужчина — женщина — деньги — это и была тема, триада Петрова, в которой ему, возможно, не было равных, которой он и прославился в Петербурге.

Он пришел домой в седьмом часу вечера необычайно взволнованный, удовлетворенный: одержал крупную победу, хотел отпраздновать ее, пусть и с не весьма желанными гостями.

Нелепо, но я, ненавидя его, чувствовал, что готов в любую минуту и полюбить.

Надо сказать, при всей холодности, недоступности он проникался личностью преступника, защищать которого брался. Позже я бывал на его защитах, он и там оставался холоден; тем большее, хирургическое впечатление производил его анализ, выводы относительно всеобщей нашей вины.

Говорил он об этом и в тот день, неторопливо прохаживаясь по гостиной, обращаясь к жене и по-прежнему мало замечая нас, и мне, только что прочитавшему с Кибальчичем «Исторические письма», было отрадно слушать его. Но — восемнадцать! — одновременно досадно, поскольку эти замечательные и справедливые мысли он, а не я произносил перед Тетяной, ему адресовалась ее понимающая, согласная улыбка, не мне. И я ждал мгновения, чтобы возразить.

Вот он подошел к ней, завершив победную фразу, — ее богоданный супруг, владетель — и она коснулась тонкими пальцами мудрейшего лба.

— Я тоже собирался стать адвокатом, — заявил я. — Но защищать уголовных преступников — значит принимать статус-кво российской империи. — Мысль опять родилась вдруг и, как всегда, показалась прекрасной. — Нынешний уголовный суд — охранительный институт. Потомки оценят его как один из приводов бюрократии, не больше. Только политических можно защищать с чистой совестью.

К тому времени я уже был зачислен на первый курс, этим отчасти объяснялся триумф, с которым произнес новую глупость. Впервые Петров так долго слушал и глядел на меня. И еще минуту обдумывал. И за эту минуту мое чувство снова прошло путь от самовосхищения к отчаянию.

— А я, молодой человек, — начал он, и я почувствовал, что буду уничтожен, — больше расположен к уголовным преступникам... Они часто малообразованны или вовсе неграмотны, не разумеют связи своих преступлений с жизнью общества. Но они откровенны перед собой в стремлениях; кто-то добивается женской любви, кто-то денег, кто-то имущества... Политические добиваются власти, но, боюсь, чтобы иметь то же самое, а еще — славу. Где-то такая борьба получает знамя свободы и братства, а у нас, на Руси, справедливости. Ведь вы справедливости жаждете, молодой человек?

— Разумеется, — отозвался я и посмотрел на Кибальчича. Мы столько говорили обо всем этом, почему он не поддерживает меня? Боится обидеть сестру? Петрова? Согласен с ним?

— Не упоминайте всуе понятия, приятель, — усмехнулся Петров. Он уже овладел собой и снова ходил по комнате, глядя на жену, как будто в ней, в ее ясных глазах черпал и терпение, и мысли. — Вон ваш Нечаев Сергей Геннадьевич — политический. Прикажете и таких защищать с чистой совестью?

— Ненавижу Нечаева! — воскликнул я. В самом деле, кто не был потрясен и унижен, узнав об удушении студента Иванова?

— Охотно верю, — кивнул. — Но логика политических такова, что непременно будет толкать их в Петровский грот с той же пеньковой веревкой. Независимо от личных качеств и понятий о справедливости.

Странное дело, я вовсе не собирался заниматься политикой, а только литературой, искусствами, я вполне был согласен с ним, но признать согласие, казалось, нельзя: Тетяна стояла в двух шагах.

— Что же, пусть все останется, как есть?

— Уж лучше так, — продолжал он спокойно, даже сочувственно: противник оказался слабым. — И еще... Приближается смутное время. Есть такие периоды в истории, когда молодежь начинает преувеличивать свою роль в обществе и свои возможности. Хочу вас предостеречь...

— Незачем, — возразил я. — С таким же правом я могу предостеречь ваше поколение. Что скажете, когда придется держать ответ?

— Перед кем?

— Перед Россиею.

И тут рассмеялась Тетяна.

— О боже, — воскликнула она. — Какие масштабы!

Адвокат тоже смеялся. Переглядывались, как любовники и друзья.

В тот вечер они собирались в ресторан праздновать с коллегами судейскую победу, и мы с Кибальчичем остались одни.

— Н-нехорошо, — сказал он. — Как только человек начинает рассуждать в ущерб д-другому, сразу оказывается неправ.

Я ожидал поддержки, и потому обидными показались его слова.

— Так что же мне делать? Послушно внимать?

— Делать свое дело, т-тогда будешь прав.

Какое дело и правоту он имел ввиду? Я чувствовал себя несчастным, при чем тут правота или вина?

— Как ты не понимаешь? — крикнул я. — Я... я люблю ее!

— К-кого? — удивился Кибальчич.

— Твою сестру!..

Он глядел на меня, будто вместо человеческой речи услышал петушиный крик.

— Т-ты с ума сошел, — сказал он.

Потом начал смеяться. Отворачивался, понимая мое обидное положение, сдерживался изо всех сил и, наконец, не выдержал, повалился на диван и задрыгал ногами.

— Ой, вяжите меня, не могу!..

Как же я его ненавидел. Кинулся укладывать свой мешок и сундук. Вон из этого дома, от этих людей!

Тут Кибальчич взял себя в руки.

— П-прости меня, — сказал. — Кто ж знал, что так... Ах ты, господи! — задрыгал опять.

Не так часто Кибальчич смеялся, чтобы простить. Поразительная душевная глухота порой была присуща ему. Позже нам обоим стало и неловко, и стыдно.

— Я, наверно, уйду на другую квартиру, — сказал я.

— Да, п-пожалуй, — согласился он. — Так лучше...

В унынии плелся по Петербургу. Давно заметил за собой: принимаю решение и объявляю о нем — испытываю подъем духа, приходит время выполнять — упадок. Невеселые мысли бродили в голове. Вот и кончилась дружба, размышлял я. Оказывается, не так уж мы друг другу нужны. Да и были ли? А ведь я мечтал о братской любви с ним, как, к примеру, Робеспьеры Огюстон и Максимилиан, когда даже гильотина не сможет разъединить нас.

Он обязан был поддержать меня и не поддержал, должен был уйти вместе со мною — остался, должен хотя бы возразить, но согласился. Значит, не дружба, а простое соседство объединяло нас по улице, по гимназии, по поездке. Ну, а раз так...

Но ведь мог он задержать меня хотя бы до утра? «Турок, заика, попик недоучившийся», — проклинал я его...

* * *

В пятницу я получил крепкий нагоняй от Щеголева, вреднейшего из людей и худшего из редакторов, за поспешную рецензию на книгу Н.Р. и всю субботу и воскресенье, как мне казалось, несправедливо обиженный, переделывал ее. В понедельник снова представил и вдруг удостоился похвалы. Хула и похвала действуют на мою психику неадекватно возрасту и опыту, от первой я впадаю в уныние, как старик, от второй — в младенческое возбуждение. Хотелось и продлить это состояние и освободиться от него, и я пригласил своего коллегу Матвея Григорьевича Каллистрата, чей стол напротив, на обед в ближайший трактир на Спасской, приказал подать две рюмки водки. «У вас удача?» — ласково поинтересовался Матвей Григорьевич. «Да», — кивнул я.

Матвей Григорьевич, как собеседник, особенно хорош тем, что глух, как тетерев: никогда не пытается разобраться в предмете разговора, с каждым соглашается, кивает. Оглох он в Иркутске, в восемьдесят втором, когда пытался бежать из ссылки и заплутал в тайге.

Очень приятно развивать перед ним какую-либо точку зрения, к концу разговора чувствуешь себя мыслителем. Я и рассказал ему, каким, на мой взгляд, будет начавшийся двадцатый век, чего достигнут науки и искусства. В конце моего монолога Матвей Григорьевич кивнул и заметил: «А вот у Болдорихи на Лиговке утку начиняют черносливом». Испытывая глубокую приязнь друг к другу, мы выхлебали щи и в превосходном настроении возвратились в редакцию.

Тут меня ожидал почтовый конверт, отчасти изменивший мое именинное состояние.

«Милостивый государь!

Надеюсь, занятия высокой литературой дозволят Вам улучить минуту и прочитать мое письмо.

Во-первых, напомню, что двери моего дома, по крайней мере, по вторникам, еще открыты для Вас, чему я и сам удивляюсь;

во-вторых, Вы изрядный невежа, если не являетесь и в последующие дни;

в-третьих, книжечку С. Степняка мне принесли, я ее просмотрел и нашел нечто Вас интересующее.

А может, Вы нездоровы? Тогда черкните, я сам навещу Вас. Как-никак фунт баранок и четверть чаю все еще за мной.

Покорнейший Ваш слуга
П. А.»

Такой вот рескрипт. Тридцать три года знакомы, и столько же он попрекает меня теми баранками и чаем.

Пятого сентября семьдесят третьего года я, получив задание от Толля добыть сведения из первых рук для дополнения к «Настольному Энциклопедическому Словарю», явился к Петру Александровичу с фунтом чаю и низкой баранок. Почему с баранками? А потому, что было мне двадцать лет, и я легко верил и следовал всем советам. Один из тогдашних сотрудников Словаря Феофан Крепс, узнав о предстоящем мне предприятии, заявил, что хорошо знает Ефремова. Человек он неплохой, сообщительный, однако ж со странностями: любит пустяковые знаки внимания и в особенности — баранки-сушки, те, что по копейке за фунт. Ну, а чай я купил уже по собственной догадке и разумению. Так и явился.

«Что это у вас, молодой человек?» — спросил Петр Александрович, когда я представился.

«Ваши любимые», — отвечал я и протянул низку.

Дескать, вот как готовился к встрече, узнал даже малые ваши человеческие слабости.

Было в то время Петру Александровичу сорок три года, работал он директором Санкт-Петербургской сберегательной кассы, а славен был совсем иной, неожиданной для выпускника математического факультета деятельностью: опубликовал неизданные произведения и письма Рылеева, Пушкина, Лермонтова, Фонвизина, Радищева, Языкова... Достаточно, чтобы современники и потомки с благодарностью вспоминали его? А если присовокупить иные имена? Баратынского, Жуковского, Дельвига, Загоскина, Княжнина?.. А редактирование у Суворина восьмитомного издания Пушкина, завершенное год назад?

При этом служба, служба, служба изо дня в день до шестидесяти трех лет. Он вышел в отставку будучи директором Государственного банка и заведующим всеми сберегательными кассами России. Каково?

А еще известен мой старый друг библиотекой — 20 000 пудов насчитали извозчики при переезде на новую квартиру — и дружбой с букинистами: не было книги, которую он не мог бы добыть хоть в России, хоть за границей.

«Весьма признателен, — отвечал он. — Вот только неправильно вас известили. Я бублики люблю, а не сушки. Не сбегаете ли за бубликами?» — голос был сух и чрезвычайно серьезен. В то же мгновение я понял, что стал жертвой глупого розыгрыша.

Только растерянность спасла меня. Петр Александрович рассмеялся, обнял меня за плечи, повел в кабинет. «Ну что ж, — сказал, — во зло всем остроумцам поставим чай!»

Так началась наша многолетняя дружба. Очень вовремя я появился. Петру Александровичу хотелось иметь старательного ученика, мне — учителя, оба мы хорошо соответствовали таким ролям, хотя продолжателем его дела мне стать не довелось... Были на то свои причины.

Судя по ехидству письма, Петр Александрович был не плох, что меня и обрадовало: снимало чувство вины перед стариком. В часы недуга он становился мирен, великодушен, щедр на ласку и похвалу.

Помню первый мой «вторник» у Петра Александровича тогда, тридцать три года назад. Он ввел меня в залу и произнес: «Господа, любите ли

вы баранки? — то-есть, спародировал слова нашего известнейшего критика. — Нет, вы не любите баранки, если не знакомы с Павлом Дмитриевичем Сильчевским!» И рассказал о моем давешнем визите от Толля. С того дня всю жизнь каждый вторник, за вычетом моих ссылок, я проводил у него.

Собирались у Ефремова к восьми, а я опоздал — опять задержал вреднейший из вреднейших — и успел только к половине десятого, когда подавали чай. Ожидал непритязательных шуток, вроде «где баранки, господин Бубликов?», веселой толкотни у самовара, а увидел залу с единственной свечой на круглом столе и сумрачных гостей вдоль стен.

Прежде на «вторниках» бывали самые разные люди, не только литераторы. Захаживали академик Грот, сенатор Репинский, отец и сын Кони, пианист Герке... Собирались иной раз до двадцати человек, а ныне круг сузился и устоялся. Как обычно, я застал здесь Скабичевского и Златовратского, Протопопова и Ясинского... Был и некий незнакомый человек простого или, как теперь говорят, пролетарского вида, что означает «немытый, нечесаный, голодный, наглый». Впрочем, прошу простить, здесь я позднейшее впечатление перенес на первое. Сперва я не рассмотрел его. От единственной свечи черты лица казались то беззащитными, то зловещими, соответственно и возраст — от юного до пожившего.

Когда-то я привел сюда Кибальчича. Он просидел в уголке весь вечер, ни разу не вступив в споры, и даже за чаем, когда гости запели традиционную хвалу хозяину — сам собирал летом травы, — Кибальчич не подал голоса. «Что ваш одинокий гений? — поинтересовался Петр Александрович в очередной вторник. — Не понравилось ему у нас?.. Странный молодой человек».

Однако Кибальчичу как раз понравилось. «Какие славные старички, — сказал по дороге домой. — Так бы и сидел до утра».

Но какие же «старички»? Публика у Ефремова собиралась в самом расцвете сил... А формулу «одинокий гений» я услышал еще не раз в редакции «Слова», а потом и в «Новом обозрении» — в другом варианте: сумрачный.

Когда Кибальчича арестовали, Ясинский, знакомый с ним по «Слову», обожал рассказывать, что обо всем догадывался, что господин «Самойлов» с первой встречи производил жутковатое впечатление. Что после взрыва в Зимнем его пытались спровоцировать на откровенность, дескать, пора, пора устроить настоящий камуфлет. «Как вы, господин Самойлов, считаете? Что, если попробовать?» «П-попробуйте», — невозмутимо отвечал Кибальчич. А вот о том, как все они в «Слове» перепугались, когда «Самойлова» арестовали, рассказывать не любил.

— Что случилось? — спросил я, оказавшись рядом со Скабичевским.

— Еще одна святая душа! — громко ответил он. — Вы в своем журнале окончательно перебрались в прошлый век?

— Не понимаю, — я собрался обидеться.

Гости, однако, молчали.

— Убит градоначальник, — тихо сказал Петр Александрович.

Вот как. Недолго же продержался генерал-майор фон-дер-Лауниц. Очень огорчила меня эта новость.

— Есть подробности?

— Арестованы двое. Один назвался Теодором Гронским, другой Владимиром Штифтаром.

Значит, еще две казни. А впрочем, столько их было за последние три-четыре года, со времени казни Балмашева, что уже и значения не имеет, если еще две. То же и смерть градоначальника. Воистину, самые опасные должности в российской империи — градоначальник, генерал-губернатор, министр

внутренних дел. И по-настоящему жаль мне было лишь только генерал-майора Козлова, убитого летом в Петергофском саду «на музыке» — из-за внешней похожести с генералом Треповым, сыном того Трепова, в которого стреляла когда-то Вера Засулич...

Сильнее других угнетен известием о смерти фон-дер-Лауница был Петр Александрович: лично знаком с бывшим градоначальником. Правая рука его мелко подрагивала, прятал ее под стол. Причина моего огорчения была иная. В предприятии, которое я задумал с Ефремовым, ему, покойному генералу, отводилась важная роль. С его помощью мы надеялись выйти на министерство внутренних дел и заполучить, наконец, из архивов дело Кибальчича, а в нем — проект, о котором столько разговоров было в России.

И вот опять рухнуло.

— Он был неплохой человек, этот Лауниц, — сказал Петр Александрович. — Ах ты, господи...

Замолчал, прикрыв глаза подрагивающей ладонью.

— Убийцы, — сказал Ясинский. — Убийцы с обеих сторон. Вместо кровной мести — классовая и государственная. Око за око, зуб за зуб... На что, интересно, надеются?

В самом деле, только что было покушение на вице-адмирала Дубасова, бывшего московского генерал-губернатора. Преступники пойманы и, как повелось, тотчас повешены. На него уже покушались весной нынешнего года — с бомбой. Выздоровев после ранения, Дубасов ушел в отставку, переехал в Петербург, но, видимо, новые социалисты приговоры не отменяют.

— Какое «око», какой «зуб»? — тотчас усмехнулся Скабичевский. — Не читали последний номер журнала, в котором служит наш уважаемый Павел Дмитрич? — взглянул на меня, призывая в свидетели. — Там, в «современной летописи», сообщения о военно-полевых судах за последний месяц. Некий Винтин приговорен к смертной казни за то, что заставил почтальона везти его на своих лошадях и похитил полштофа водки! Приговор приведен в исполнение. А восемь повешенных в Петербурге за ограбление почтовой таможни? Где здесь «око» и «зуб»?

— Ну, когда казнят воров и разбойников, я не чувствую угрызений совести, — заметил Ясинский.

— Однако я посчитал: около трехсот казней за месяц. И около восьмидесяти газет и журналов закрытых, приостановленных, обысканных, арестованных... В том-то и дело, уважаемый Иероним Иеронимович, что герои и воры всегда в пропорции. Перефразирую: скажите, сколько в вашей стране уголовных, и я скажу, сколько политических. А? — торжествующе оглядел всех. — Последовательности не хватает правительству. Ясной политической воли. За убийство Плеве — четырнадцать лет каторги, за полштофа водки — смерть. Каково?

Можно было позавидовать темпераменту этого старого человека. Все мы проигрывали ему.

Журнал наш действительно собирает сведения о казнях и покушениях по газетам России. В каждом выпуске — двадцать-тридцать страниц таких сообщений мелким шрифтом в две-три строки. С недоумением увидят потомки этот список преступлений народа и его правительства. Впрочем, здесь требуется уточнение. Партия социалистов-революционеров, что опутала всю Россию от Владивостока до Гельсингфорса, стала пугалом для каждого чиновника от министра до капитана-исправника, — народ?

Мотивы новых социалистов насвистаны, разумеется, мелодиями семидесятых. Но и барабаны правительства — те же: в ноябре минувшего года

отменена предварительная цензура, а в августе нынешнего учреждены военно-полевые суды... С одной стороны, 15 генерал-губернаторов, убитых за последние два года, не считая всяких там полковников, полицмейстеров, капитанов, которых бьют, как зайцев по первой пороше, с другой — казни, за месяц — триста, за полгода — девятьсот пятьдесят.

— Ничего, господа, — миролюбиво произнес Протопопов. — Думаю, скоро все успокоится. На революцию не похоже. Побунтует народ и... Все будет хорошо.

Тут и поднялся тот незнакомый человек, которого я про себя назвал «грач» — так неуклюж, громоздок и мрачен показался с первой минуты.

— Не похоже?.. — переспросил и с треском, с харканьем рассмеялся. — Вы, господа старички, понимаете, на каком свете живете? Не догадываетесь, что в России уже революция?.. Думаете, успокоится? Простим вам Балмашева, Каляева, Шмидта... «Память Азова», «Очаков»? До самой смерти хотите пить чай с баранками? Не будет больше баранков, господа...

Гоголевская получилась сцена, вечность мы не могли придти в себя. Глуховатый Протопопов напряженно наставлял ладонь к уху, подслеповатый Ясинский суетливо искал пенсне, Златовратский пригнулся в кресле, словно готовясь кинуться вон... А человек этот прошел к двери, и пламя единственной свечи заколебалось, дохнуло потусторонним. Потухни она — и запредельное сходство стало бы полным.

Походка у него оказалась такая же неприятная, как и лицо, голос: на негнущихся деревянных ногах.

— Эх, господа... — опять рассмеялся с треском и харканьем. — Ладно...

Исчез, не закрыв за собой входную дверь. Снова пахнуло, теперь не потусторонним, реальным: лестницей, подвалом, грязной декабрьской улицей...

Ясинский рванулся в кресле, пытаясь движением сбросить оцепенение.

— Кто это? Как сюда попал? Кто его пригласил? Как жаль, что я свою палку оставил в прихожей!

— Еще не поздно, Иероним Иеронимович, — заметил Скабичевский. — Он далеко не ушел.

— Хорош гусь!.. Наверно, из этих, бомбистов.

— А лицо — обратили внимание? Ни кровинки!

— Вот, господа, отчего появляются террористы. От малокровия!

Оказалось, привел «грача» Скабичевский. Зачем? Познания ради.

— Ну, удружил, Александр Михайлович. Век помнить будем.

Остаток вечера мы посвятили им, бомбистам. Тому, что история ничему не научила их. Что конец нынешнего движения будет таким же плачевным, как прежде. Что социальные иллюзии развиваются в одном направлении: к краху.

Все говорили азартно, живо, но вечер оказался испорчен. И не грубым афронтом «грача», а тем, что понимали: события, которые происходят в России, значительнее, нежели мы судим о них. Время наше ушло. Звездный час Скабичевского миновал, когда цензура сожгла его «Очерки общественного развития», Златовратского — когда писал сатиры, подписываясь «маленький Щедрин», Ясинского — когда вышло и кануло в вечность — собрание его сочинений, мой... У меня, пожалуй, и вовсе не было такового. Ныне у нас иные возможности, иная роль. Можно судить вчерашний день по кодексу сегодняшнего, но никак нельзя наоборот.

«У меня, господа, — печально произнес Петр Александрович, — ныне возраст приятия. Победит революция — приму с радостью. Реакция — с покорностью соглашусь. И не в возрасте причина, а в том, что намяли бока за долгие годы, неохота подставляться опять».

Бывало, засиживались до полуночи, а ныне разошлись после чая: опасны улицы Петербурга, того и гляди примут за личность более значительную, чем ты есть.

На прощанье Петр Александрович сунул мне тонкую книжицу: «Вот то, что вас интересует. Впрочем, нового ничего...»

Книжечка Степняка меня разочаровала. О Желябове, Перовской, Гельфман рассказал интересно, а о Кибальчиче... Впрочем, сразу оговорился, что Кибальчич для него фигура неясная.

«В нем много человечности...» Разумеется. «Ни с кем особенно не дружил...» Что ж, может быть. «Темперамент — не революционера...» Гм, вам виднее. «Однако ему можно было довериться». Слава богу, хоть это разглядел.

А вот строка о том, что Кибальчич «не знал личного счастья, но и никогда не ощущал потребности в нем», меня просто-таки рассмешила. Как же так, господин покойный писатель? Где вы видели таких людей? Какая схема довлела вашему немалому таланту и разуму? Кто вам такую глупость сказал?

Опять же: «...в науку он был погружен всецело». Разве? Когда же он занимался динамитом, бомбами? Переводами, писанием рецензий в «Голос», «Новое обозрение»? Как это «всецело», если жил нелегально, постоянно менял квартиры под угрозой ареста? Если, наконец, законченного образования не получил? И еще одна фраза заинтересовала: боюсь Кибальчича — свидетельствовал Степняку один из современников. Боялся Кибальчича?

А впрочем, что ж... Если с первого взгляда... Да и со второго. Имелось в нем нечто казавшееся иногда жестокостью. Вчера он вам сочувствовал, а сегодня — без повода и причины — нет. Порой хотелось даже напомнить: «Ты что, Коля? Это же я, твой друг...»

Как не вспомнить — нет, не о последних его годах и делах — о невеликодушной проделке в 6-м классе гимназии. Он забавлялся тогда с серой и бертолетовой солью, смешивая в разных пропорциях, и, заворачивая в фольгу, делал взрывающиеся от удара пакеты — предмет общей зависти и вожделения. Но однажды такой пакетик он заложил в дверь перед уроком химии. Химию преподавал Ямпольцев, самый старый из учителей, самый добрый, единственный, кто, несмотря на мизерное жалованье, проработал здесь всю жизнь. Он уже и ходил медленно, и соображал туго, всех любил, всем ставил четверки и пятерки... Дверь нашего класса имела особенность: чтобы закрыть, следовало как следует хлопнуть, Ямпольцев хлопнул.

Страшный взрыв потряс нашу гимназию.

Я не об испуге и сердечном приступе у старика, а о том, что улыбался Кибальчич, как именинник, и на педагогическом совете твердил: «Не я...»

* * *

Я нашел комнатку неподалеку от университета и, оскорбленный и униженный, решил, что никогда в жизни не зайду к Кибальчичу, а при случайной встрече не подам руки. Вражда, как и дружба, должна быть абсолютной. Как я могу простить его? Как забыть? И наперед ужасался бесповоротности своего решения, глубине его потери и одиночеству. Нет, никогда и ни при каких обстоятельствах.

Комнатка оказалась уютной, хозяйка — старой и доброй. Нашлись друзья, начались занятия. Отдав рубль серебром, я вступил в студенческую кассу взаимопомощи, несколько книг — в студенческую библиотеку. В литературном кружке прочитал стихи, написанные в подражание Некрасову, — был приз-

нан настоящим поэтом. Все складывалось как нельзя лучше. О Кибальчиче вспоминал с чувством превосходства и снисхождения.

Однако душа моя уже сомневалась. Что, если раскаяние его так велико, что даже не решается на встречу со мной?

Признаться, хотелось увидеть и Тетяну.

Чувство мое, обнесенное пеплом за два месяца, вспыхнуло ярче прежнего, когда подходил к их дому. Мысленно я уже видел нежную улыбку на смуглом, темноглазом, как и у Кибальчича, лице, слышал такой же, как у него, медлительный голос, представлял, как сядем втроем пить чай, и я снова коснусь ее руки.

Но дверь открыл адвокат.

— Кибальчич? Он не живет у нас, — сухо ответил на вопрос. — Да, ушел. Нет, адрес не знаю.

Показалась и Тетяна на голоса. Остановилась в двери залы и глядела неотрывно, пусто, как на человека, по ошибке попавшего в дом.

Разыскать Кибальчича было проще простого: обратиться в институт. Но что за пренебрежение: уйти и не сообщить, не оставить адрес?.. Если он так мало ко мне привязан, то и я обойдусь, проживу без него. Вот сейчас возвращусь в свою комнатку, сяду за стол под керосиновую лампу и напишу о неверной дружбе стихи.

А несколько дней спустя он сам явился в университет — взъерошенный, озабоченный, торопливый.

— Нет ли у тебя денег? — Вопрос был таков, что стало ясно: не о трех рублях речь. — Рублей... д-двести.

— Ты шутишь. Откуда у меня такие деньги?

— Ну, может, займешь у кого-нибудь?

— У кого?

Он сразу померк и перестал торопиться.

— Что случилось? — спросил я. — Зачем тебе так много?

— Это не мне. Одной... девушке, — пояснил неохотно. — Едет в Цюрих, надо помочь.

В Цюрихе тогда бытовала колония русских студентов.

— Что же это? Роман?

— К-какой роман?.. Я и не видел ее никогда.

Что ж, на него похоже. Вот так же в Новгород-Северске собирал деньги некоему «севастопольцу» с вывернутыми руками-ногами, а на другой день увидел его у трактира: играл на балалайке и плясал гопака.

— А п-продать у тебя ничего нет? — с новой надеждой, как каннибал на упитанного путешественника, оглядел меня с ног до головы.

— Что продать? Сапоги?

— Крестик у тебя был золотой... И цепочка.

— Нет уж, — возмутился я. — Я пока еще христианин.

Опустил голову.

— Прости, пожалуйста... Хотя, если бы заложить...

Ушел разочарованный, решил, что я мог, но не захотел помочь.

И это все, зачем я нужен ему? Что ж...

Я уж думал, окончательно потерял его из виду, как однажды в день скоротечного и бедного петербургского бабьего лета, которое до сих пор пробуждает в моей душе одну только печаль, а в памяти одну и ту же картину: Десна, плеснувшая в необъятную пойму тысячу непересыхающих стариц, пылающий Биринский лес за рекой, наш дом между Замковой горой и Заручьем, отец с яблони бросает маме в подол фартука крупные яблоки, и еще никто

не знает, сколько кому отпущено дней на такой прекрасной земле, и будущее тебя вообще не волнует, — тут-то я и увидел его.

Бабье лето в том году запоздало, деревья долго не могли освободиться от влажной листвы, а теперь она обваливалась, рушилась на прогретую землю. Кибальчич, задрав голову, растопырив руки, стоял в Александровском саду под кленом, я и не узнал его в первое мгновение: высокий цилиндр в руке, трость, волосы а-ля Помяловский, отросшие до плеч... Принял его за рядового, всегда неприятного мне петербургского франта, что, отоспавшись, выполз насладиться собой и природою, а заодно наловить цилиндром золотистых листьев — даме сердца осенний букет.

Он обрадовался мне, но не удивился, словно не год минул, а гимназические вакации, не Александровский здесь, а гимназический сад. Замечу, что и вообще редко удивлялся. Нагрянут, бывало, в гимназию отец, брат или сестры — спокойно шагал навстречу, будто заранее знал, что приедут вот в этот час. Да и все они, Кибальчичи, кроме Кати, младшей сестры, таковы. Тоже не подают вида, спокойно встретятся и простятся. Мой отец считал, что такой результат дало соединение в их роду русской и сербской крови. Хотя, скорее, то было выработанное поведение людей из рода в род наследующих духовный сан: нет в мире ничего удивительного, кроме Бога, даже самое таинственное, рождение и смерть, предопределено. Вот только Катя... Но о ней речь далеко впереди.

Ну, а я вцепился в Кибальчича, тряс руку, жал и очень хотел обнять. Я тоже сын своего отца, а отец мой человек чувствительный, вера и безверие, надежды и разочарования постоянно воевали в его душе.

Только что «Дело» опубликовало мое первое стихотворение и приняло к печати второе, я задумал для крестьянских детей книжечку о Михайле Ломоносове, пьесу-водевиль «Провинциальная жизнь», было чем поделиться и хвастать. Ну, а ты, Николка, чем жив?

И услышал, что хочет уйти из института путей сообщения. «Куда?» — «В Медико-хирургическую». — «Почему?» — «Разочаровался. Трудно объяснить в двух словах...»

Переходить из института в институт было тогда не внове, но... Так скоро разочаровался? Опять же, разочарование — понятие общее, что-то стоит за ним. Пожалуй, влияние старшего брата, Степана.

А еще явилась тогда странная для сегодняшнего человека мысль и чувство: все виновны перед народом, перед Россиею, все обязаны искупить эту вину. Кто ближе к народу, чем врач?.. Хотя, думаю, чрезмерно обольщаться такой идеей Кибальчич не мог, сам стоял недалеко от народа.

Академия в те времена была особым островом: кружки самообразования, кассы взаимопомощи, бурные сходки... Некий самоуправляемый мир. Вдруг недавняя престижность института путей сообщения — из пятисот студентов более четырехсот дворянские дети — начала падать, а медицинской академии подниматься.

Поначалу чистейшей романтикой веяло с той стороны. Например, в студенческой коммуне на Вульфовке, по слухам, раз в неделю забивали коня, купленого в складчину, и мясо лежало в сарае — отсекай кус, жарь и ешь, сколько угодно. Ну, а если денег на коня не хватает, можно поймать кошку... Опять же, проповедь свободной любви раздавалась. Разве не привлекательно? Нравы в стенах академии иные: можно войти к профессору Сеченову, Боткину, Склифасовскому, Бородину в смазных сапогах, ничего, честь и место.

Многое безобидно и даже весело вызревало тогда, что скоро разрешилось яростью и кровью.

Но и еще год Кибальчич в институте кое-как протянул. А когда перешел в академию... Все торопился, куда-то вечно опаздывал. Организовывал какие-то кружки по изучению политической экономии, Маркса, ничего более скучного я не слышал и не читал. Ладно, его «Манифест», здесь поэзия, дух, воля, а «Капитал»? Полно! Можно ли дочитать его и не сойти с ума?.. Думаю, что кружки эти — нечто наследственное. Хотелось иметь свою паству, своих прихожан.

Осенью семьдесят пятого я получил изрядный гонорар у Толля и зашел за Кибальчичем, чтобы вместе отправиться к Болдыреву, отметить приятный факт. И вдруг услышал, что арестован.

Арестован? За что?

Это было непостижимо.

Конечно, при всей моей тогдашней самовлюбленности я не мог не знать о том, что творилось в России. Трудно сохранить невинность воззрений в стране, где на молодых людей устраиваются облавы, а цензурный комитет получил право принародно сжигать неприятные книги. Но Кибальчич! При чем тут он?

Глава третья

Обыкновенно вакации Кибальчич проводил у отца, в Коропе, но весной семьдесят пятого исполнилась застарелая мечта брата Степана: купил имение в Киевской губернии, в Липовецком уезде, местечке Жорница. Судя по письмам, располагалось оно в хорошем месте, имелся лес, речка, просторен и исправен был помещичий дом. Кибальчич решил побывать там. Однако Степан находился на службе, был он старшим доктором 12-го стрелкового батальона Рыльского полка и жил в Малом Немирово Каменец-Подольской губернии, в имении бывал только наездами, оставив его на жену Марию, и что делать там одному, среди незнакомых людей, Кибальчич не знал. Хорошо бы найти товарища в дорогу, но кто поедет в такую даль и ради чего? Да и не было среди приятелей такого, к кому можно обратиться с неожиданным приглашением. И все же, заглянув однажды к своему сокурснику Иванову, у которого часто собирались студенты, сделал такое предложение, ни к кому в частности не обращаясь. Не слишком рассчитывал на согласие: у каждого свои планы, намерения. Так и получилось, послушали с интересом и не отозвались. «Значит, ты теперь брат помещика? Ну-ну». И вдруг один из гостей, прежде незнакомый Кибальчичу, высокий, светловолосый, судя по сложению, сильный, сказал: «Хотите, я поеду?» — «Конечно, хочу». — «Ну, так я зайду к вам... через десять дней». Записал адрес и больше в тот вечер они не говорили ни о поездке, ни о чем ином. Пожалуй, он даже не заинтересовался Кибальчичем. Кибальчич, напротив, внимательно и с симпатией поглядывал на будущего приятеля. По возрасту был тот, пожалуй, младше его, но то ли от крупного сложения, то ли от независимой манеры держаться, казался старше. Все это Кибальчичу было по душе.

В тот же вечер написал брату с просьбой принять с приятелем, и когда новый знакомый явился, ответ уже лежал на столе.

Впрочем, никакой радости по этому поводу новый приятель не выказал, будто иного ответа и быть не могло, больше того, узнав, что билет от Петербурга до станции Голендры в третьем классе стоит 19 рублей 63 копейки, а от Голендр до Жорницы еще и на перекладных 82 версты, как водится, три копейки за каждую, то-есть, еще около трех рублей, покривился. Туда да обратно, считай, пятьдесят рублей. «Дешевле в Петербурге прожить», — заметил он.

«Зато там у нас не будет никаких забот», — возразил Кибальчич. «Понятно, — усмехнулся тот. — Поместье». Тут же выяснилось, что одновременно с Кибальчичем, в начале июня, поехать не сможет, приедет в конце месяца. Не сможет и бывать у него до отъезда. Пробыл у Кибальчича пять-десять минут, ни о чем не расспрашивая, не рассказывая о себе, встал прощаться. «Увидимся в Жорнице, если не передумаю». Улыбка у него была располагающая, не портила ее даже утолщенная верхняя губа, двоившаяся при улыбке. На прощание вдруг достал из заплечного мешка стопку тонких бледнофиолетовых книжечек. «Возьмите с собой. Прочтите и дайте крестьянам почитать». То была известная брошюра для начальной пропаганды. Едва не каждый студент, уезжая на вакации, имел в дорожной библиотечке пять-шесть таких книжек. «Я читал ее», — сказал Кибальчич. «Ну и как?» — «Наивно». — «Для вас — наивно. А для крестьян... Ладно, потом поговорим», — шагнул к двери.

— Подождите, — сказал Кибальчич. — К-как вас зовут хотя бы?

— А зачем вам?

— Ну как же... Нам предстоит жить рядом.

— Зовите... ЭнТэ.

— Это что же, инициалы?

— Возможно.

— А как я п-представлю вас брату?

— Как хотите, мне все равно. Представьте, как студента Николая Тютчева. Подходит?

Кибальчич пожал плечами. Николай Тютчев действительно учился в академии, они были знакомы.

— Не верите? Хорошо, я привезу студенческий билет.

Да, личность встретилась ему, кажется, оригинальная: каждое слово вызывало движение в душе, желание объясняться и возражать. Ну а почему ЭнТэ должен быть похож на других?

Тем не менее, Кибальчич поинтересовался у Иванова: кто же он таков? Не знаю, — был ответ. — Я видел его впервые.

Больше Энтэ не появился. А в начале июня, сразу после экзаменов, Кибальчич уехал в Жорницу.

Имелась еще одна причина, по которой он хотел побывать в иных местах, среди новых людей. В последние год-два было много разговоров о народе, крестьянах, об их всегдашней готовности к протесту и даже к социализму. Говорили об этом на сходках и наедине друг с другом, на студенческих квартирах и в рекреациях в перерыве между лекциями, на лекциях, в столовых, в библиотеках... Произошел некий сдвиг в умах и намерениях: уже вовсе не медицина, не будущая профессия казались главными, а только служение ему, народу, больше того, искупление перед ним своей неизвестно откуда взявшейся вины. Да, именно так, искупление, а не исполнение, например, естественного для честного человека долга. И уже два лета к ряду многие студенты уходили на лето в деревни, иные и вовсе не возвращались в академию... Такое же творилось в университете, технологическом, горном.

Кибальчич на таких сходках помалкивал. Разговоры о крестьянском социализме казались придуманными. Хорошо помнил коропских крестьян. Они были разные: добрые и злые, щедрые и жадные, прямодушные и хитрые. Вот только никакой склонности к борьбе не замечал.

Но, может быть, ошибается? Или иные люди в иных краях? Вот и оглядится, размыслит, обсудит эти вопросы с ЭнТэ.

Все в путешествии поначалу складывалось хорошо. Поезд на станцию Голендры прибыл точно по расписанию, а в конторе дилижансов, где он запи-

сался как студент Яковлев — не любил называть свою фамилию, приказчики и конторщики, самые охочие к юмору люди на Руси, чудовищно искажали ее, — сидеть тоже долго не пришлось.

Мария, жена Степана, уже ждала его, отвела комнатку с видом на яблоневый сад, сообщила домашний распорядок: завтрак в восемь, обед в три, ужин в семь. Мария оказалась женщиной энергичной: там и тут с раннего утра слышался ее требовательный голос. В доме заканчивался ремонт. Плотники и столяры начинали работу на рассвете, и Кибальчич тоже поднимался рано, шел прогуляться по лесу, купался в Соби, а затем в ожидании завтрака принимался читать. Книг с собой привез довольно, почти весь чемодан занимали книги. Пробовал познакомиться с кем-либо из людей поместья и ближе всего сошелся с Василием Притулой, бессрочно-отпускным солдатом, работавшим у брата поденно. Было солдату около тридцати, глядел смело, говорил дерзко — это и привлекло Кибальчича. «Тоже доктором будете?» — спросил однажды. «Да». — «Правильно, — одобрил, энергично тряхнул головой. — Поп никогда поместье не купит». — «Мне поместье не надо», — улыбнулся Кибальчич. «Потому что молодой. А как под сорок кинет...» — «Да и денег нет». — «Денег?.. Деньги у доктора всегда будут».

Был Притула небольшого роста, коренастый, крепкий, с хитрым взглядом маленьких, очень внимательных глаз.

С этого дня и кланялись, а если Кибальчич останавливался, тотчас подходили другие крестьяне, что работали в поместье. Больше всего интересовал их анатомический театр академии. «Так и лежат покойнички? А вы их ножиками? Ай-яй-яй... Откуда ж они берутся? И что — басурмане или православные? А может, солдатики?..» Переглядывались, усмехались, кто постарше, крестились коротко.

Неделю проработал с ними на флигеле с топором, пилой: оказались недовольны, поняли, как надсмотрщика. А если начинал говорить о том, что волновало петербургские сходки, — о безземелии, темноте, несправедливости, бедности, — переглядывались совсем уж загадочно. Дескать, многого хочешь, барин. Жить можно.

Пробовал сблизиться с денщиками брата, работавшими в имении: поваром Емельяном Беспальченко и конюхом Гришкой Иващенко. Эти и вовсе держались настороженно, сохраняя на лицах один только вопрос: «Что надо, барин?..»

Однажды, во время утреннего купания в Соби, к нему подошел местный священник, отец Наркисс Олтаржевский, пригласил в гости: искал компаньона своему сыну, в тот год закончившему Киевский университет. Однако Олтаржевский-младший оказался замкнутым или высокомерным, посмеивался в реденькие усы, слушая, как старательно плетет отец разговор о русском государстве и церкви, и своего мнения не выказывал. Впрочем, несколько дней спустя явился к Кибальчичу, полистал книги, взял «Судебную медицину», а через день вернул — неинтересно.

В общем, приятельства не получалось ни с кем, и уже через две недели он с радостью уехал бы к отцу в Короп, если бы не слово, данное ЭнТэ. Договоренность была на июнь, и с первого июля Кибальчич считал себя свободным. С нетерпением ждал этого дня. Уложил чемодан, со всеми, кого знал, простился.

Но в последний день месяца, вечером 30-го дня, ЭнТэ явился...

Запыленный, в подтеках пота на лице и шее после долгой поездки в кибитке, он стоял во дворе дома и насмешливо глядел на Кибальчича.

— Вы, я вижу, разочарованы, — ронял слово за словом. — Но делать нечего, я здесь. Впрочем, если очень некстати, могу завтра покинуть ваши пределы. Дайте только умыться с дороги и поесть.

— Н-ну что вы, — сказал Кибальчич, — я рад. Я ждал вас весь месяц.

— Не лгите, Кибальчич. У вас все написано на лице.

Но и действительно, разочарование было минутным. Как только пожал руку, почувствовал ответственность, а значит, и воодушевление, прилив сил. Потащил его знакомиться с Марией, с племянниками Андреем и Тоськой, затем...

— Что вы суетитесь, Кибальчич? — сказал ЭнТэ. — Все равно я знаю, что вы не рады. Ничего особенного. Я тоже был бы не рад. Явился неизвестно кто и зачем...

— Ну, если вы так н-настаиваете... — улыбнулся Кибальчич. — Однако, я хозяин, вы гость. Или мне в-выставить вас искренности ради?.. Что вы так поздно? Я в самом деле перестал вас ждать.

— Не все сразу, хозяин, — поморщился и выделил ЭнТэ. — Будете достойны — расскажу.

Мария, потонувшая в своих хлопотах, не удостоила гостя даже приметой улыбки. Наверно, это показалось ему особенно обидным, поскольку была она молодая и красивая женщина. Однако ж тотчас распорядилась внести вторую кровать, поставить самовар — разве мало на первый случай?

Аппетит у ЭнТэ был отменный. Но жадно и с самым непримиримым видом поглощая оставшуюся от ужина кашу, он заметил, что прежде помещики были щедрее, потом обругал дорогу, станцию дилижансов, кибитки, малороссийскую пыль и жару. А устраиваясь на постели, разок-другой пихнул ногами спинку кровати, дескать, у прежних бар и кровати были длиннее.

— Черт дернул меня приехать...

И вдруг на полуслове, просунув длинные ноги меж прутьями спинки кровати, заснул.

Тогда и Кибальчич задул лампу, лег.

Вот так конфликтно, но и смешно продолжилось их знакомство.

Утром Кибальчич некоторое время наблюдал своего гостя: во сне лицо его казалось беспомощным, юным, а торчавшие из-под одеяла ступни ног были огромными и, между прочим, грязными, будто он прошлепал босиком от Голендр до Жорницы. Решил не будить, пускай отдохнет с дороги, может быть, отоспавшись, станет милостивее.

ЭнТэ проспал едва не до полудня, а проснувшись, и в самом деле оказался в превосходном расположении духа. С удивлением оглянулся: где я? Увидел Кибальчича с книгой и улыбнулся. Выходит, у вас? Замечательно. Легко поднял крупное тело, взлохматил густые светлые волосы, увидел сад, залитый светом, солнце в зените, услышал голоса во дворе, звон топора, пилы.

— А что? — сказал. — Славно!.. Ну, чем будем заниматься, Кибальчич?

— Отдыхать, разумеется.

— Отдыхать? Гм... Что ж, давайте отдохнем.

За обедом ЭнТэ тоже был весел, а получив обильную порцию жаркого, тотчас взялся рассуждать о калористических исследованиях Франкланда, по которым картофель развивает в два с половиной раза живой силы больше, чем капуста, а говядина без жиру на сто единиц превосходит телятину. Рассуждения, конечно же, адресовались Марии, однако не заинтересовали ее. За столом она держалась так же строго, как при знакомстве.

— Интересная женщина, — заметил ЭнТэ. — А еще интереснее взглянуть на вашего братца. Думаю, они достойны друг друга вполне.

Окраска замечания была неясной, и Кибальчич не возразил ему.

После обеда они прошли через сад, запущенный и одичавший, до которого еще не дошли хлопоты Марии, к реке, к тому обрывистому берегу, где обыч-

но купался Кибальчич. Легли в густую траву, и ЭнТэ крепко сомкнул белые густые ресницы, подставив солнцу лицо, а Кибальчич поглядывал на него. Что за человек? Случайны встреча и сближение с ним или не случайны? Давно мечтал иметь друга, вовсе не обязательно во всем согласного с ним. Напротив, так много накопилось вопросов в душе, что лучше — несогласного.

— Ну, — ЭнТэ разомкнул ресницы, — рассказывайте, чем вы занимались здесь месяц?

— Физкультурой, книгами... — неуверенно ответил Кибальчич. — Плотничал немного... Вот, п-пожалуй, и все.

— Понятно. Значит, занимались собой. Зачем вы приехали сюда, Кибальчич?

Кибальчич, привыкая к его манере вести разговор, усмехнулся, пожал плечами.

— Или вы так наивны? Объяснитесь, я плохо понимаю вас.

— А вы? — осторожно спросил он. — Зачем?

— У вас уже есть возражения?

— Нет, но... т-таков вопрос, что... — Замолчал. Опасался обидеть этого непонятного пока человека.

— Сколько вам лет, Кибальчич?

— Двадцать один год.

— Вы не так молоды для таких вопросов, мой друг, — произнес ЭнТэ с неявной угрозой. — А скоро и вовсе станете стары. Что тогда? Что ваша единственная жизнь?

— Но, может быть, можно... яснее?

— Нельзя, — отрезал ЭнТэ. — Если не понимаете — нельзя.

Кибальчич рассмеялся.

— Странный у нас получается разговор.

— Не смейтесь, — возразил ЭнТэ с той же значительностью. — Все слишком серьезно. Вы поймете это, когда пройдет жизнь.

Пойма Соби заросла обильной, уже и перестоявшей травой, звенели косы на другом берегу, сладким ароматом разогретого клевера потягивало оттуда.

— Вас не беспокоит этот звон? — спросил ЭнТэ. — Меня беспокоит. Знаете, почему? Потому, что у них, косцов, сейчас пот течет в глаза, а мы с вами нюхаем травы.

— Что же делать? Стать с ними в ряд?

ЭнТэ поморщился.

— Так ведь вы не умеете косить, Кибальчич. И я не умею. Да и не в этом дело. Надо что-то совсем другое... Чем вы вообще намерены заниматься? Как жить?

— К-косить я умею, — возразил он. — Полторы десятины за день, если угодно. П-поповичи — не помещики, а скорее, крестьяне. Что касается будущего... Стану врачом. Может быть, хирургом. Буду спасать людей.

— Людей? — ЭнТэ опять насмешливо приоткрыл глаза. — Это единицы, Кибальчич. Совсем в другом задача. Надо... надо спасать Россию, а не «людей».

Кибальчич улыбнулся: уж больно знакомая прозвучала фраза. Вот только никто не знал, как? Одни считали, нужно срочно начинать революцию, другие — революции не дождаться, нужен переворот. Сам он считал, что ни революция, ни переворот не возможны. Но и эра реформ, по-видимому, закончилась, реформаторская энергия государя уже реализовалась, иссякла. Что же дальше? Путь один: просвещение. Всех, от крестьянина до сенатора. Новые реформы должны быть вызваны новым уровнем просвещения общества. Далеко не все зависит от воли правительства и государя.

ЭнТэ снова сцепил белесые густые ресницы.

— Напрасно я к вам приехал, — пробормотал он. А через минуту вскочил: — Вы как хотите, а я домой. Не по себе мне валяться здесь.

Кибальчич поплелся следом.

В комнате ЭнТэ схватил первую попавшуюся книжку и рухнул на кровать.

— Что это? — спросил через минуту с недоумением.

Книжка ему попалась интересная: Чаруковский, «Народная медицина». Резко повернулся, швырнул на стол.

— Зря тратите время, Кибальчич. Совсем другим вы обязаны заниматься сейчас.

Тут Кибальчич вовсе развел руками: одна максима за другой.

— Есть университетский курс физики Петрушевского, Столетов...

— Терпеть не могу учебники.

— ...Гервинус — «История 19 века», Шатриан, Ланге...

Когда Кибальчич открыл чемодан, ЭнТэ алчно набросился на книги, откладывая стоящие, швыряя обратно те, что, на его взгляд, не стоили внимания. И вдруг, увидев стопку брошюр в бледнофиолетовых обложках, замер.

— Это ведь «Сказка о четырех братьях», которые я вам дал!

— Да, — кивнул Кибальчич.

— Ну и что же? — спросил ЭнТэ снова насмешливо и иронически. — Так они и пролежали месяц в вашем фамильном сундуке?

Крупно зашагал по комнате, обдумывая возникшее положение.

Кибальчич, собственно, и не намеревался давать их крестьянам. Приехав в Жорницу, он скоро понял, что крестьяне здесь такие же, как в Коропе, и брошюрка эта им не нужна. Да и вообще, вся литература, ходившая среди студентов, такая, как эта «Сказка», или «Хитрая механика», или «Как должно жить по законам природы и правды» интересна и важна для самих пропагандистов, а для крестьян это никакое не откровение, лишь отголосок проблем, пустые слова.

— Ладно, — сказал ЭнТэ. — Завтра же беремся за дело. Вы знаете кого-либо из грамотных крестьян?

— Мало... Разве солдат бессрочно-отпускной Василий Притула. И денщик брата Григорий.

— Вполне достаточно. Завтра же пойдем к ним. Вы сами прочитали «Сказку»?

— Прочитал.

— Понятно. Она не произвела на вас впечатления. Это потому, Кибальчич, что вы обуты и сыты. А крестьянин... Увидите, как аукнется.

Между прочим, ЭнТэ явился в Жорницу с котомкой — мешком, по-крестьянски завязанным помочами-веревкой за углы и горловину. В мешке оказалась одежда: крестьянский зипун, драные штаны, красная рубаха, выношенные сапоги. Все это ЭнТэ и продемонстрировал Кибальчичу.

— Купил за бесценок на Сенном рынке.

Кибальчич не удивился: половина студентов академии, собираясь на вакации, запасалась зипунами и рубахами.

— И вообще, Кибальчич, предлагаю оставить ваше поместье и пойти к людям. Например, пройти бурлаками весь путь: от Рыбинска до Астрахани.

Иванов, у которого Кибальчич познакомился с ЭнТэ, ходил прошлым летом в «народ». Тоже запасся вонючим зипуном, лаптями, но первый же мужик, увидев его, крикнул: «Мусью, дай на водку!..» Впрочем, к концу лета так опростился, что в Екатеринославле, на станции, жандарм надавал ему тумаков без повода и причины за немытую рожу.

— Не верю я, ЭнТэ, в т-такие хождения. — И этим ответом, по-видимому, расписался в полном своем ничтожестве.

— Отсталый вы человек, — с чувством произнес ЭнТэ.

После ужина улеглись с книжками. ЭнТэ шумно и досадливо вздыхал, ворочался и, наконец, швырнул «Рабочий вопрос» Ланге под стол.

— Чепуха, — сказал. — Гасите лампу, Кибальчич, будем спать.

Залез под одеяло с головой.

— Надо вообще прекращать читать книжки, — прогудел из-под одеяла. — Вредная привычка.

— А что же надо? — улыбнулся Кибальчич.

— Действовать.

Наутро, узнав, что Василий Притула, однодворец Герасим Дониковский, братья Стефанюки мечут стога в лесу за Собью, они и отправились к ним, захватив экземпляр «Сказки». Шли молча, и Кибальчич думал о том, что напрасно торопятся, стогование трудное дело, и надо бы выбрать более подходящий момент и случай, а ЭнТэ думал, что Кибальчич порядочная растяпа, если не удосужился до сих пор передать книжку крестьянам.

Пришли, однако, в удачный момент, к полднику. Мужики только что уселись, привалившись к стогу, достали из котомок припасы. И разговор сразу пошел удачный, веселый: не угостить ли барина хлебом с салом, не хлебнуть ли из одного кувшина кваску, и правда ли, что у человека кишок двенадцать аршин, очень это сомнительно, поскольку, например, у Герасима Дониковского, однодворца, кишки и в голове. Сам Герасим, глуповатый, старый, стоял в это время на стогу, лишенный возможности слезть до конца работы и сердито прислушивался, наставляя к уху ладонь, он знал, что если внизу хохочут, то над ним.

С любопытством поглядывали на ЭнТэ, что нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая главного разговора. Ну, а Кибальчич, давно усвоив крестьянскую манеру общения, не торопился и лишь выставлял книжечку в рассчете, что сама привлечет внимание, как необычный предмет. И, наконец, Притула поинтересовался: «Что за книжка у вас, барин?» Тут Кибальчич и предложил взять, почитать. А если понравится, то оставить у себя или передать другому.

Когда возвращались, помрачневший ЭнТэ сказал:

— Вы должны были сделать это месяц назад. Совсем иной получился бы разговор.

— Какой?

— Деловой, — сердито ответил ЭнТэ.

Развеселился он только, когда, возвращаясь лесом, вдруг увидели двух старух, улепетывающих от них в чащу. ЭнТэ засвистал, заулюлюкал, а потом сказал:

— Не думаю, что они приняли нас за разбойников. Признайтесь, Кибальчич, лес — ваш? Не пускаете крестьян по ягоды?

Кибальчич смущенно молчал. Действительно, Мария запретила крестьянам собирать ягоды и вообще ходить в лес, опасаясь пожара, поскольку был случай: уселись мужики покурить табаку на лесной поляне, раздули костерок, и быть бы большому пожару, если б не гроза с ливнем.

— Ничего, Кибальчич, не переживайте. Скоро народ снимет камень с вашей благородной души. Грядет черный передел!

В таком вот виде — барчука, дармоеда и захребетника — выглядел он в глазах ЭнТэ.

На другой день собрались к Григорию Иващенко, на конюшню. В этот раз решили сперва заинтересовать книжкой, почитать, а уж потом оставить.

Получилось удачно: кроме Иващенко в конюшне оказались Володька и Еремей Стефанюки все из той же многолюдной семьи. Иващенко был озадачен, показывал лошадей, стойла, упряжь, что аккуратно висела на стенах, и беспокойно поглядывал раз за разом: чего приволоклись панычи? Стефанюки, сидя на хомутах, тоже взирали с любопытством не столь на панычей, сколь на Иващенко, что ходуном ходил от старательности и рвения.

Тут-то и предложил ЭнТэ почитать им сказку. Хотите? Еще как хотим, — был ответ.

— Сказку читай да на ус мотай, — значительно произнес ЭнТэ эпиграф.

Кибальчич тоже снял со стены хомут, сел в стороне, чтоб видеть всех сразу. Необыкновенно бодрое выражение сияло в лицах, понятливое, толковое. Читал ЭнТэ хорошо, внятно, с тайной злостью, печалью, иронией. Мужики вздыхали, качали головами. И вдруг ЭнТэ прервал чтение.

— Понятно? — испытующе поглядел в лица.

— Понятно! — дружно закивали, отозвались хором,

— Похоже на вашу жизнь?

— Ясно, похоже. Все, как у нас.

— Ну, а дальше читайте сами, — сказал ЭнТэ. — Книжку мы вам оставим. Что непонятно, объясним.

— Почитаем, — отозвались Стефанюки. — Гришка у нас грамотный.

С тем же недоумением и проводили, с каким встретили.

— Вот так надо говорить с народом, — назидательно произнес ЭнТэ.

Кибальчич не ответил. Одно знал: ни слова из сказки не слышали мужики. Только об одном думали во время чтения: чего пришли?

Еще грамотен был второй денщик брата Емельян Беспальченко, повар. Но, поглядев на него, настороженного, запаренного, решили книжку ему не давать: этот читать не станет, сыт и на сегодняшний день хорошо устроен. Больше грамотных не было, оставалось ждать, какое движение произведет «Сказка» в душах.

Тем временем решили продолжить знакомства.

Побывали у учителя Трусевича, у второго землевладельца Жорницы господина Артамонова, человека чрезвычайно гостеприимного, но, видно, скорбного умом, постоянно вскрикивающего, наполняя рюмки наливкой: «Господа студенты, образование это — все!», у священника Олтаржевского. Все, истомленные деревенской скукой, принимали охотно, не задерживаясь возвращали визиты, и только отец Наркисс вдруг усомнился в том, что ЭнТэ тот, за кого себя выдает, а успокоился, лишь когда увидел студенческий билет на имя Николая Тютчева. Очень сомневался в том и Кибальчич, однако не устраивать же допрос гостю? Ну, а что касается билета... За пять-шесть рублей можно приобрести паспорт и купца третьей гильдии, и потомственного дворянина.

Нет, никто не заинтересовал ЭнТэ. Напротив, все вызывали насмешки и раздражение.

От учителя узнали о крестьянине Семене Пасько — непременном участнике всех волостных сходов, который хотел ссадить с должности волостного старшину Чумачевича за утайку пяти рублей из суммы, пожертвованной миром на народное училище. Было произведено следствие, утайка не подтвердилась, и за навет Пасько по приговору волостного суда получил пятнадцать розог, однако не сдался, продолжал бунтовать. Причина войны крылась, конечно, в другом: старшина отнял у Пасько несколько соток земли. История эта чрезвычайно возбудила ЭнТэ, решено было посетить первый же волостной сход, который устраивался раз в неделю, по четвергам, и отыскать Пасько.

Оказался он маленьким бородатым мужичком лет за пятьдесят, нервным и словоохотливым. Едва успев познакомиться с господами, начал рассказ о куске земли, отнятом Чумачевичем, пяти рублях и пятнадцати розгах. Говорил громко, бурно, стараясь привлечь к себе общее внимание, и никаких иных вопросов не слышал, как глухарь. Ничего он не хотел, кроме как получить назад свою землю, присудить те же пятнадцать розог старшине и ссадить его, наконец, с должности...

Разочарованные, простились с ним.

Спустя несколько дней увидели снова Василия Притулу. «Прочитал?» — «Что?» — удивился тот. — «Сказку!» — «А-а», — вспомнил, заулыбался. Нет, не прочитал. Пришел к нему малец Михайлы Буйстрименко, десять годков байстрюку, а грамотен, как волостной писарь Паламарь, взял почитать. Три дня подержал и вернул: неинтересно. Ну, а чего ему, Притуле, если неинтересно, читать?

Не прочитал «Сказку» и Григорий Иващенко. Этот якобы положил на полку в конюшне, а через день хватился — нет ее. Наверно, кто из Стефанюков спер. «Может, дать еще книжку?» — «Не, не надо. Все одно сопрут, такой народ».

Больше «Сказку» никому не предлагали. «И за этих тупых животных я должен отдать жизнь», — загадочно произнес ЭнТэ.

Скоро Кибальчич понял, что мешанина в голове ЭнТэ из новых теорий необыкновенная. С одной стороны, по скрытности, презрению к образованию, ЭнТэ напоминал «троглодитов», прославившихся в Петербурге год-два назад, с другой — повторял известное рассуждение Лаврова: кто строит историю? Одинокие борющиеся личности. Вокруг личностей образуются партии... С третьей выделял учение Петра Ткачева с его проповедью заговоров и террора. По душе ему был и анархизм Бакунина, особо такие заявления, как «...надо войти в союз со всеми ворами и разбойниками русской земли». Ну, а потом, после победы, их, воров и разбойников, перерезать.

— Но как же п-презирать образование, — возражал Кибальчич, — если сам Лавров — профессор, Бакунин — философ, Петр Никитич Ткачев — писатель?

ЭнТэ кисло усмехался.

— Это и помешало им оставить в истории настоящий след. Образование рождает сомнения, а сегодня сомнения — смерть. Интеллигенция не способна поднять народ. России нужен Пугачев, Разин. А поскольку их нет, мы, недоучившиеся, должны все взять на себя.

— Что же вы предлагаете?

— Всероссийскую организацию молодежи. В один условленный день по всей России уничтожить всех, кто стоит у власти. Что не может быть излечено лекарствами, то излечивается железом. Чего не может излечить железо, то излечивает огонь. Знаете это, Кибальчич?

— Однако он же, Гиппократ, учил, что лечить надо не болезнь, а больного. Может, прав Лавров и надо сперва просветить народ?

— Поздно просвещать, Кибальчич. Еще немного, и мы станем нацией рабов. Наше устройство — наследие монголов, Россию надо перевернуть.

— Не слишком ли много к-крови будет на таком пути?

— А это уж зависит откуда глядеть, и чью кровь считать главной: двух-трех тысяч чиновников или народа, восемьдесят миллионов человек.

— Какое же вы предполагаете г-государство?

— Никакого. Посмотрите, как устраивался народ на Дону, Яике, Кубани, в раскольничьих скитах...

Ни к какому общему мнению не приходили. Напротив, все злее становился ЭнТэ, непримиримее.

А несколько дней спустя им довелось стать очевидцами события, которое обоих ввергло в уныние. Это потом, позже, вспоминали, что уже с вечера в Жорнице началось волнение: толпились мужики у трактира, несли домой штоф, полштофа без обычных в этом случае праздных разговоров и прибауток, молчаливо, спешно. Что рыли ямы, закапывали сбрую, глиняную посуду, мешки с жалким скарбом на задах, где-либо за уборной, сарайчиком. Все прояснилось наутро, когда послышались вопли.

Выбежали на деревню и увидели толпу возле дома Герасима Дониковского, станового пристава, сотского, двух десятских: одного с долбней, другого с ведром разведенной сажи. Тут-то они, десятские, и взялись за дело: один крушил печь, другой мазал сажей стены. Выли бабы и дети, а сам Герасим, как посторонний, заглядывал в окно.

То была процедура взимания недоимок.

Расправившись с печкой, десятские вышли потные, в саже и кирпичной пыли, пристав заглянул в бумагу, объявил другую фамилию, и вся толпа двинулась к следующему дому, одному из Стефанюков.

ЭнТэ и Кибальчич стояли в стороне и так же, как все мужики, прятали глаза.

Когда десятские начали крушить добро Еремея, молча отправились домой.

— Кибальчич, — спросил в тот вечер ЭнТэ, — как вы вообще относитесь к крестьянам?

Был он непривычно тих, даже печален. Лежал на постели, закинув мощные руки за голову, глядел в потолок.

— Заблуждаться не склонен. Они ничем не лучше нас. Несчастнее — другой вопрос.

— Это не так, Кибальчич. Они — хуже. Бараны и овцы, поставляющие шерсть и мясо. И они счастливее. Обратили внимание на Герасима? Он счастлив, что не раскатали по бревну хату. Стефанюк успел закопать горшки в яму и счастлив вдвойне. А те, кто уплатил недоимку? Они ликуют. А Семен Пасько? Ему бы только отодрать розгами старшину... Всех ненавижу. Стыдно жить в этой стране.

Резко повернулся, засунул голову под подушку. То была их самая согласительная минута.

* * *

В конце июля брат Степан сообщил, что намерен приехать в Жорницу.

Вдвойне закипела работа в имении. Мария, исхудавшая, дочерна загоревшая, похорошела в два дня. Ходила по огромной усадьбе, оценивая, приглядываясь: все ли понравится любимому мужу? А еще сняла плотников с новой конюшни, послала на строительство баньки. Снова появилась улыбка на ее лице и даже к ЭнТэ стала относиться терпимее.

Последние дни она не выходила к обеду, а по вечерам примеряла платья, выстраивала прически и даже напевала в своей светлице, чего они еще не слышали от нее. «Как она, однако, влюблена в своего супруга, — посмеивался ЭнТэ. — Даже похорошела. Не иначе, как умывается молоком».

Кибальчич молчал. Они уже не могли, как прежде, связно говорить и лишь возражали один другому да читали подолгу, не обсуждая прочитанное. То, что ЭнТэ чужд ему, стало ясно в первые же дни. Самое лучшее было бы объясниться, а еще лучше — расстаться. Но одна мысль о неминуемом

обоюдном унижении вызывала отвращение и тоску. Уж лучше смириться и перетерпеть.

Он тоже был рад приезду брата.

Степану шел четырнадцатый год, когда родился Николка. Он учился в той же Новгород-Северской гимназии, и перед каждыми вакациями отец запрягал Лохматку, низкорослую лошаденку со сказочно буйной гривой, ехал за сыном. Дорога не ближняя, больше полусотни верст от Коропа, и возвращались они на следующий день, к вечеру. Встречали их в Закоропье Катя, Оля, Федор, Тетяна. Они неслись с воплями к брату, а он мимо всех — к нему, младшему, отставшему, копошащемуся в снегу или грязи. Помнилось, как приезжал Степан на похороны матери, вел за телегой с гробом, больно сжимая руку, и не давал освободить занемевшую ладонь. А еще запомнились неясные споры в доме, когда Степан приезжал уже из Петербурга, из Медико-хирургической академии. Стал он высокий, крепкогрудый, с сильным голосом. Гремел: «Нет службы более угодной Богу, чем докторская!» Очень нравилось, как он это произносил. И, выбежав во двор, Николка изумлял приятелей, выкрикивая раз за разом: «Нет службы более угодной!» На вторую половину фразы не хватало дыхания.

Он родился слабым, болезненным и чем ему еще заниматься в жизни, как не служить Богу, — вопрошал отец, — приславшему его в этот мир, и людям, его принявшим? Именно он, Николка, должен унаследовать семейную традицию, стать священником. Ну, а брат считал, что Николка должен, как и он, стать доктором. Самое время думать, поскольку решался вопрос, куда идти: в гимназию или духовное училище?

После смерти матери он жил с дедом Максимом в Мезени Кролевецкого уезда, откуда его и забирали на время вакаций Степана. Дед тоже считал: надо в гимназию.

Странный был человек, особенный. Тоже когда-то получил духовное образование, однако не захотел стать священником, а вступил в труппу бродячих артистов, что остановились однажды в Мезени. Впрочем, не так легко поменять жизнь: родня вынудила его оставить театр. Вернулся, устроился псаломщиком, позже — учителем Закона Божьего в церковноприходской школе... Но опять дала знать о себе старая страсть: поставил с крестьянами «Наталку-Полтавку», а в результате по распоряжению архиерея был отстранен от учительства и сослан для исправления пустого нрава на черные работы в Елецкий монастырь... Когда Николай поступил в гимназию и отец отказал в помощи, дед Максим прислал пять рублей и коротенькое письмецо: «В театр после гимназии, внучек, в театр!» — то оказалась последняя весточка от него.

Степан, к тому времени уже военный врач, штабс-капитан, тоже присылал по пять-десять рублей: «Держись, Николка, я тебе помогу». А когда Николка поступил в институт путей сообщения, прилетел в Петербург: что ты сделал? Зачем тебе этот институт? Летом приехал в Короп, где Николай отдыхал на вакациях, неделю твердил с утра до вечера: переходи в академию.

Убедил.

Теперь не было человека роднее. Вместе с Марией гадали, в какой день и пору приедет он.

Баньку срубили и подняли за пять дней. Протопили для пробы, дух оказался сухой, крепкий, однако мыться Мария никому не позволила: любимый муж должен обновить ее с горячо любимой женой. Тропинку от баньки к светлице выложила камнями, засыпала желтым речным песком. «Чтобы мягко было нести себя на долгожданное ложе», — посмеивался ЭнТэ.

«Очень хочу поглядеть на вашего братца», — непримиримая ирония звучала в каждом слове.

И, наконец, брат приехал.

И все было так, как предрекал ЭнТэ. Радостная встреча жены с мужем, сыновей с родителем, денщиков и поденных рабочих с хозяином, роскошный ужин, банька и нежная супруга на мужественных руках.

— Что я вам говорил? — торжествовал ЭнТэ, не отходивший от окна с видом на сад и баньку.

— П-прекратите! — заикаясь больше обыкновенного, ответил Кибальчич, вспыхивая пятнами самому себе неясного унижения и стыда. — Это е-естественно и... п-прекрасно!

— Прекрасно? — смеялся ЭнТэ. — Воистину. Если не считать, что счастливую встречу и ночные наслаждения обеспечивают полсотни крестьян, слава богу, не крепостных. А если бы?.. Вот было бы славно!

Вечером, в день приезда брата, ЭнТэ не пожелал спуститься знакомиться, а на следующий день не нашел того легкого завтрака: яйцо в смятку, стакан молока, что Мария приказывала оставлять ему. К обеду он не вышел в столовую, сославшись на отсутствие аппетита, а когда явился к ужину, не нашел своего прибора.

— Я решил, что вы и к ужину не придете, — сказал Степан. — Емельян, подай прибор господину студенту.

Первым движением ЭнТэ было покинуть столовую комнату. Но, как известно, голод не тетка, пирожок не поднесет, он остался.

— Извините, — сказал он. — Никак не думал, что у вас и в имении порядки, как в батальоне.

— В батальоне порядки хорошие, — мирно отозвался Степан.

Настроен Степан был весело, громко говорил с Марией о строительстве флигеля, о ценах за косьбу здесь и в Малом Немирове и нимало не обращал внимания на ЭнТэ. Однако, когда выголодавшийся гость в одну минуту проглотил жаркое, тотчас поинтересовался:

— Добавки желаете?

— Покорно благодарю, — ответил тот. Поднялся, ернически перекрестился на красный угол, раскланялся на четыре стороны. — Дай бог здоровья и вам, и супруге вашей и деткам вашим, и скотинке вашей.

Пошел к выходу.

Степан с интересом глядел ему вслед,

— Николка, — спросил, когда дверь за ЭнТэ закрылась, — он что, твой приятель, нездоров? Скажи ему, чтобы вел себя по-человечески.

Кибальчич чувствовал себя униженным и виноватым. Не следовало так легкомысленно приглашать в Жорницу ЭнТэ. Надо было в первые же дни призвать его к сдержанности.

Идти в комнату не хотелось, и он вышел во двор, в сад и к реке, подальше и от брата, и от приятеля. Впрочем, было ясно, что разговора с тем и другим не миновать. Не таков брат, чтобы пропустить фронду ЭнТэ, и не таков ЭнТэ, чтобы принять унижение.

Две девочки-крестьянки полоскали белье на мостках, оглядывались на него, пересмеивались, привлекая к себе внимание. Одна из них, Глаша, была хорошенькая, бойкая. Слишком часто, чтобы ошибиться, попадалась ему у дома. «Барин, — сказала несколько дней назад. — А я вашу сказку читала». — «Ты умеешь читать, Глаша?» — «Умею, печатное». — «Ну и что же ты поняла?» — «А ничего!» — рассмеялась, исчезла.

Вот и сейчас, водрузив корзину белья на узкое плечико, прошла очень близко, стрельнула быстрыми глазками. Остановилась в пяти шагах, будто ожидая подругу, а на самом деле показывая себя, легкую, стройную.

— Понимаю, что вас здесь держит, — сказал ЭнТэ, увидев ее.

Вторая девушка тоже была хороша. И так славно они удалялись бок о бок, постепенно растворяясь в тумане.

— Вы бы женились на ней?

— А вы?

— Нет, — вздохнул он. — У меня иная судьба, Кибальчич. Вы ни о чем не догадываетесь?..

Догадывался, но не верил. Вошли в моду в Петербурге недомолвки, оговорки, значительность. Хотя, кто знает... Может быть, он, Кибальчич, один из немногих, кто остался в стороне. Ясно одно: какие-то события назревали.

— Я бы на вашем месте женился, — продолжал ЭнТэ. — Станете врачом, купите себе поместье, а она нарожает вам полный двор кибальчат, мал мала меньше. Со временем она станет роскошной женщиной. Господи, как вы будете наслаждаться!

Кибальчич улыбнулся: удел, быть может, не самый славный, но привлекательный. Он научил бы ее читать не только «печатное», и она стала бы ему настоящей подругой. Разве плохо?.. И кто скажет, как надо жить? Возможно, это наиболее достойный путь и способ.

Он тоже искал встреч с ней.

В имение вернулся в потемках. ЭнТэ лежал на постели в темноте, изменив своей привычке читать за полночь. В молчании провели несколько минут.

— Послушайте, Кибальчич! — вдруг громко сказал ЭнТэ. — Добудьте для меня несколько рублей, и я оставлю вас. Живите, как хотите.

— Я попытаюсь, — ответил он.

Окно мансарды было раскрыто, клубился туман над садом, и в тумане послышался смех Марии, благодарный, счастливый.

— Развлекает помещик свою супругу, — сказал ЭнТэ. — Щекочет он ее, что ли?

И опять Кибальчич не смог пресечь его, лишь только закрыл окно. Накрылся одеялом с головой.

Завтрак ЭнТэ, как обычно, проспал, обед закончился благополучно, если не считать, что ЭнТэ и Степан ни слова не проронили.

— Вы не добыли мне денег? — спросил ЭнТэ после обеда. — Попросите у вашего братца. Что ему пять-шесть рублей? Хочу уехать.

Но в том-то и дело, что Кибальчич просил денег, а брат отказал. «Вот рубль, — сказал он, — чтобы убрался из Жорницы. А там, как хочет».

— Презираю вашего братца, — сказал ЭнТэ. Впрочем, рубль взял.

А за ужином произошел разговор, которого, видно, нельзя было избежать,

— Я все же хотел бы знать о вас больше, — сказал Степан, — поскольку вы мой гость и приятель брата. Кто вы?

— Вам показать билет? Я уже предъявлял его отцу Наркиссу. Он остался удовлетворен.

— Билет ни к чему. Я хотел бы знать, чего вы добиваетесь в жизни?

— Справедливости, — легко ответил ЭнТэ. — Тут нет тайны. Того же, чего добиваются лучшие люди России.

— Кто же они, лучшие?

ЭнТэ пожал плечами, давая понять, что ответ прост: лучшие — те, кто добивается справедливости.

— Превосходная логика, — заметил Степан, — Ну, а что, по-вашему, справедливость?

— Вы меня не поймете, господин доктор. Для вас справедливо не пускать крестьян в лес из-за боязни пожара, а для меня — сжечь его, если лес только для вас.

— Понятно, — задумчиво сказал Степан. — И много вас, таких решительных?

Судя по голосу, он всерьез принял слова ЭнТэ.

— Не много. Но это не имеет значения. Борьба за общую справедливость — дело одиночек, а не толпы.

— Одиночек... — еще задумчивее отозвался Степан. — Надеюсь, мой брат не из их числа?

— Будьте спокойны, доктор, — усмехнулся ЭнТэ. — Ваш брат вполне благонамеренный подданный своего царя и семьи. На его месте я, как и ваш отец, стал бы попом. Ему бы грехи отпускать, а не бороться за справедливость.

— И слава богу, если благонамеренный, — произнес Степан. — А кем быть — не суть важно...

Ирония ЭнТэ сегодня не задевала Степана, будто более важные, нежели самолюбие, вопросы волновали его. Николай, уже вполне успокоенный, улыбался: наконец-то возникло общение и получался связный разговор.

— Вы посмотрите на него, — сказал ЭнТэ. — Агнец для заклания, а не человек.

И Мария была добра. Убедившись в мудрости супруга, она перестала вслушиваться и хлопотала у стола вместе с денщиком, чтобы и обед соответствовал толковому течению разговора.

— Я завтра уезжаю, — сказал Степан, — и вряд ли мы еще когда-либо свидимся. Прошу вас соответствовать порядку хозяйственной жизни в моем имении, а также не вести никаких бесед с людьми. Прощайте.

Степан поднялся и пошел к двери. Решительностью и силой веяло от каждого его шага, движения. Начали торопливо расходиться и остальные, опасаясь оставаться с униженным гостем.

— Как я вас всех ненавижу... — тоскливо сказал ЭнТэ. — Вас, Кибальчич, больше всего.

Оставаться вместе стало невыносимо, и вечером Кибальчич объявил ему, что уезжает с братом сперва в Малое Немирово, где квартировал его батальон, затем в Короп, к отцу. И о том, что брат разрешает ЭнТэ оставаться в имении до конца вакаций.

Идея совместной поездки принадлежала брату. «Поедешь со мной, — заявил непререкаемо, — не то я выставлю твоего приятеля из имения. Не хочу оставлять тебя с таким человеком». Противиться Степану всегда было трудно, а в нынешнем положении глупо, какой-никакой выход.

Отъезд назначен был на рассвете. Николай поднялся еще в потемках, возился с чемоданом, книгами, покашливал, ЭнТэ не пошевелился.

— Прощайте, ЭнТэ... — неуверенно произнес, когда под окно подали бричку.

— Подите к черту, — отозвался тот, не открывая глаз.

Что еще важного произошло тем летом?

Пожалуй, ничего.

У брата, в Малом Немирове, Николай провел три дня. У отца в Коропе — две недели.

Первые дни мучил стыд, что оставил человека без денег, даже написал два письма в Жорницу: одно ЭнТэ, другое Марии. Первое — с советом обратиться к ней за помощью, второе — с просьбой не отказать.

Скоро, однако, стыд начал меркнуть, другие впечатления вытесняли его. Все ж таки родина: дом отца, могила матери. Брат, сестра, кое-кто из прежних друзей. Ну и Катерина Зенкова, дальняя родственница, а кроме того, крестница его отца. Катя заканчивала черниговское епархиальное училище. Еще в прошлом году, на вакациях, смущалась, завидев Кибальчича, убегала, а теперь — нет. По слухам, сын черниговского архиерея Серапиона сватался к ней. Кибальчич посмеивался: «Будешь попадьей, Катя?» Она сердилась. Так хорошо было встречаться с ней, глядеть на ее толстые малиновые щечки, на маленькие, очень черные глаза.

Вот только с отцом обстоятельно поговорить не получалось: стал он совсем уж молчалив и суров. Если прежде хотя бы через Бога общался с людьми, то теперь — только с Ним. Казалось, ныне люди мало значили для него.

Впрочем, слава его еще и выросла: из Кролевца, Сосновки приезжали в святые дни венчаться, крестить детей, низко кланялись, завидев его, высокого, сутулящегося, угрюмого. Случалось и ночью раздавался стук в дверь — звали соборовать кого-то очередного из отходящих в иной мир. Крестить и венчать из чужих приходов отец не любил, а соборовать соглашался. На чужих возках не ездил, безропотно запрягал состарившуюся и совсем заросшую Лохматку.

Поговорить не удавалось еще и потому, что отец в том году запоздал с ремонтом церкви. Хотел закончить его к престольному, Воздвижению, и все свободное время проводил у церкви, присматривая за плотниками.

Шел ему шестьдесят четвертый год, но выглядел он совсем старым.

В середине августа уехала в Чернигов Катя Зенкова.

Начал собираться и Николай.

ЭнТэ, оставшись в Жорнице, жил как прежде. До утра читал, до обеда спал. После купания в Соби ходил по лесу, вечером затевал разговоры с мужиками. Вдруг ему принесли два письма: одно от Николая, другое от Степана. Николай советовал обратиться за деньгами на дорогу к Марии, Степан просил покинуть дом, поскольку своим «своеобразным поведением вносит беспорядок в нормальное течение хозяйственной жизни».

Степану ЭнТэ ответил немедленно и, конечно, высказал все, что думал о нем.

В тот же день, не прощаясь, оставил Жорницу.

С дороги написал и Николаю.

«Посылаю ваш рубль назад: он мне не понадобился. Вы его, вероятно, взяли у своего брата для меня, так отошлите назад.

Ваш брат, оказывается, глуп, как сивый мерин, и, кажется, порядочная сволочь.

Дом его я оставил.

С советами, которые вы мне давали насчет отъезда, я послал бы вас к е... м...

N. T.»

Письмо это — без отточий — получил отец. Прочитал и тотчас написал сыну в Петербург, просил сообщить, кто таков ЭнТэ, который так горячо благодарит за гостеприимство.

Продолжение следует.



МИКОЛА МЕТЛИЦКИЙ

День да вечер

* * *

«День да вечер», —
мама повторяла,
Стряхивая с плеч заботы горб.
И платок неспешно поправляла,
Что сползал докучливо на лоб.

И смотрела солнцу вслед с укором,
Солнцу, уносящему тепло,
Ведь оно над Мокишанским бором
Постоять хоть миг еще могло.

И земля устало холодела,
Как ладошка матери, черна.
Как же, мама, ты не доглядела:
Навсегда погасло солнце дня.

День весенний горем человечьим,
А не солнцем, поле озарил,
Слышанное мною «день да вечер»
С жалобою новой повторил.

* * *

Тяжким трудом добытый,
Скарб паковали рядом.
Жизни своей пожитки
Горьким обвел я взглядом:

Речку, кусты, криницу
И в одуванчиках поле.
Сколько тут было воли
Мне, муравьям и птицам!

Как же забрать с собою
Ношу былого счастья,
Чтоб вдалеке без боли
Вспомнить и дождь ненастный,

И яровое поле,
И васильки, и жито...
Тащит с трудом недоля
Жизни моей пожитки.

* * *

Мой светлый сон:
Я вновь в дали такой,
Где ты сияешь юной красотою,
Где, нежностью окутанный ночною,
Твоей щеки касаюсь я рукой,
Где только нам принадлежит весь мир,
Где нашим счастьем полнится эфир.
Мой черный сон:
Метель заносит след,
Ты, старая, ступаешь по земле.
На трость опершись, из последних сил,
По кладбищу бредешь среди могил,
Глотая сожалений горький ком,
Стоишь в молчанье над моим холмом,
Не просишь, чтобы отступила боль —
Кричишь без слов:
«Возьми меня с собой!»

Мой светлый сон,
Тебя мне не забыть!
Мой черный сон,
Ему однажды быть...

* * *

Что помню я из прошлого? Немного!
Все чаще проявленья зла земного —
Распад империй, гибель городов,
Вулканов мощных изверженья. Пепел
Помпеи, землю вмиг укрывший слепо,
Что спрятал жизни множество следов;

Да пирамид величье многотонных,
Где отдыхают с миром фараоны —
Земные боги в свой недолгий век.
Куда ни глянь — водовороты боли,
Крушила, жгла, уничтожала волю
История — был слабым человек.

И все же зачастую — это важно —
Шла с человеком рядышком отважность.
Озарено ей было много дней.
И без ее возвышенного пыла
На свете зла, наверно, больше было б,
Не стала бы земля землей людей!

* * *

На берегу моем
Сгустила краски осень.
Дым стелется костров.
Ветров многоголосье.
Накрапывает дождь,
И небо в сизых тучах.
Не ступишь босиком
По охладевшей круче.
Поникшие, стоим,
Мечтая о ночлеге.
На берегу моем
Жизнь в ожиданье снега.

Седая повесть

Мне говорят с обидой старожилы,
Блестят глаза — в них горечи угли́:
«Себя сколь помним — вечно рвали жилы,
Да вышло — ничего не сберегли».

Под липою стою у крепкой хаты,
Где льется повесть горьких дней и дел,
Стою, молчу, как будто виноват я
За то, что я их беды проглядел.

В глазах усталых — горечь и обида,
Что в пшик никчемный влились их труды.
Меня считают тем потомком, видно,
Который их заботой обделил.

Молчу, и взгляд не отвожу от хаты,
Где пролито немало горьких слез.
Так мучился душою Он, распятый,
За все грехи ответивший Христос.

След

Один я, а мысли всего лишь крылаты,
От них не бывает следов на снегу.
Расул Гамзатов

В глубоких сугробах притихшее поле,
Метель заметает, ярится мороз.
Пустую деревню покинула доля,
Ушла, ни следов не оставив, ни слез.

За белым туманом суровые хвои,
Как смутные призраки, тихо взошли,

И только лучистое солнце живое
Дыханьем касается спящей земли.

Да где-то вдали, за еловою чащей,
Прольется звоночек — и цокот подков,
Разбуженных памятью дней уходящих
На шири уже отгоревших веков.

Раскроят полозья со скрипом надсадным
Пустыню притихшей уснувшей земли
И жизнь возвратят на мгновение саду
И избам, что в белую землю вросли.

Стихией веселой молчанье разбудят
Залетные кони.
Мчит время вперед...
Зима возвратится.
Зима еще будет.
Но счастья следов
На снегу не найдет.

Перевод с белорусского Елизаветы ПОЛЕЕС.

* * *

Все дальше манит памяти большак.
Как древо лист, век стряхивает даты.
И ярче звезды, где вопроса знак:
Ты кто, откуда
и идешь куда ты?

Земля!
Мне пить глотками, тяжело,
Живую воду,
Стать травой и ветром
И где-то за предельным километром
Дышать стихией
И шептать:
Прошло…

Да, все прошло...
Но пусть светло продлится
Твой новый день,
Как новая страница.

Перевод с белорусского Валентины ПОЛИКАНИНОЙ.



ЕЛЕНА КОШКИНА

Однажды

Новеллы

1. Цифры и буквы

Однажды Аню попросили на работе завезти важные финансовые документы в универмаг и по этим документам получить вещь. В окно оформления стояла большая очередь. «Вот это да», — сказала вслух Аня, но очередь выстояла.

В маленьком кабинете с табличкой на двери «Оформление бумаг» усталая женщина просмотрела Анины документы. «У вас не стоит УНН», — показала она Ане пустую графу.

«Да? — спросила Аня. — А что это такое?»

«Это очень важно, — сказала женщина. — Без этого мы ничего не можем оформить. Почему вам не сообщили УНН?»

«Понятия не имею, — ответила Аня печально. — Как же мне теперь его узнать?»

«Придется съездить обратно. Или позвоните вашему начальнику, пусть поищет».

«Где?» — спросила Аня, но женщина посмотрела на нее очень недружелюбно.

За Аней была длинная очередь, и она вышла из финансового кабинета.

«Что же делать?» — спросила Аня у пространства.

«Ездить очень долго, а звонить бесполезно: никто, конечно, не знает этого УНН», — ответило пространство.

Аня внимательно рассмотрела свой документ. Там возле больших букв УНН располагались девять маленьких аккуратных пустых квадратиков, в которые, скорее всего, надо было вставить важные знаки.

«Набор цифр и букв, — подумала Аня, — мне нужен какой-то набор цифр и букв. Или только цифр. Только букв — не может быть, скорее всего — цифры. И у меня нет выбора. Придется придумать. Значит — соврать».

Аня пристроилась за маленьким выступом возле мастерской по изготовлению ключей. Она вставила в квадратики девять важных цифр твердой рукой, хотя ее слегка пошатывало. «Ну не попадем же мы в тюрьму, — подумала она. — А если и попадем, так и ладно. Да и кто — мы? Я одна и попаду. Как настоящая революционерша. Наверное, ненадолго. Еще не факт, что эту бумагу у меня примут».

Аня вернулась к финансовому кабинету. Подождала, пока вышел другой посетитель.

«Здравствуйте», — сказала она женщине. Женщина взяла бумагу, прочитала, подумала, подписала, выдала Ане чек на широкой зеленоватой квитанции и сказала: «Получите в отделе соответствующих принадлежностей».

Аня все получила, все отдала тому, кто ее послал с этой финансовой просьбой. Рассказала, как было.

«Нас или вас, или меня не посадят?» — спросила Аня.

«Посмотрим», — засмеявшись, ответил ей администратор.

2. Чувство родины

— Что есть родина? — спросила себя однажды Аня. — Конечно, есть флаг, есть гимн, есть национальная гордость. Хотя национальной гордости Аня не чувствовала. Она испытывала очень теплые чувства к родному российскому городу Владикавказу, в котором родилась, она уважала хороших людей одной с ней национальности и некоторых любила, она всегда уважала флаг и гимн, но национальной гордости внутри не было. Непонятно было Ане, чем гордиться и почему вообще надо гордиться.

Честно говоря, в переводе на современный язык гордая современная жизнь горделивого человека стала просто погоней за «бабками». Неважно, где проходит жизнь — на родине или нет — все равно это погоня за «бабками». Кто такие «бабки»? Это тоже понятно: на современном языке это деньги. Не женщины. Деньги. Так что у каждого члена современного человеческого сообщества хоть одна бабка да есть. Получается так: у мужчины может даже в мыслях нет женщины, которая бы ему нравилась или которую он любил хоть когда-нибудь, но бабка у него есть. Это важнее.

Но все-таки бабки бабками. А что такое родина?

Это не флаг. Не гимн. Это что-то тонкое, живущее в душе, но не всегда в ней оживающее. Оно находится внутри, как вирус, а оживает только при определенных обстоятельствах. При каких?

Когда-то Аня вместе со многими другими людьми жила в одной большой стране, которая разбежалась на множество маленьких стран, враждующих или же мирно общающихся друг с другом, как у кого получилось. В этой большой стране Аня была маленькая, и еще там был Ленин. Под портретом Ленина часто приходилось стоять с поднятой в салюте рукой детям Аниного возраста. Надо заметить, что это могли быть не всякие дети, а только чем-то хорошим в этой жизни отличившиеся дети. Аня хорошо училась в школе, и это оказалось для нее причиной попадания под портрет Ленина с салютом. Стоять надо было не шелохнувшись, почти не дыша. Так советовали учителя. Чтобы рука не дрожала, ноги не подкашивались, грудь не ходила ходуном.

И Аню поставили под этот портрет. Аня стояла, как потом говорили взрослые, лучше всех, то есть практически неподвижно, как памятник. Ее потом хвалили на педагогическом совете и даже домой выписали благодарность. Когда Аня вспоминала этот момент, это выстаивание под портретом, она приходила к выводу, что это было вроде как тренировкой мышц, тренировкой воли: смогу стоять как памятник в течение отведенного времени или нет? Ничего общего с понятием «родина» тут не было как будто...

Но все же вытянутость под портретом и чувство родины странно переплелись, что-то в них, этих действиях и понятиях, было общее, ведь разве станешь стоять навытяжку, практически не дыша, перед портретом дядьки, который не имеет к твоей жизни и жизни твоих родных никакого отношения? Не станешь. Значит, стояла не зря. Значит, стояла перед родиной, хоть чуть-чуть перед родиной.

Давно прошло это время. Чувство вытяжки исчезло. Чувство родины осталось. И оказалось вдруг, что чувству родины не хватает чувства вытяжки.

Так что же такое родина? Как ответить на этот вопрос, чтобы не было ни одной фальшивой ноты в ответе?

Не перехватывает дыхание, когда звучит гимн родины, не загорается гордость, когда видишь флаг родины, а начинается в душе неуют от того, сколько хороших, настоящих людей умерло на родине от голода, от ненависти соотечественников, от одинокой беды, от подлой смертельной зависти.

И ничего не меняется.

А чувство родины остается.

«Наша родина великая», — часто слышит Аня. Чем велика она? Если положить на весы все достижения литературы, искусств, наук, войны с одной стороны, а ужас, боль, несправедливость, травлю, которые сопровождали в жизни авторов этих достижений, с другой, какая чаша перевесит?

Аня мысленно нарисовала перед глазами весы. Чашки зависли на одном уровне. Где-то между этими чашками находилось чувство родины.

«Видимо, это и есть шестое чувство, — подумала Аня. — Похожее на то, о котором писал Гумилев».

А может быть, об этом лучше просто не думать. Если можешь делать что-нибудь хорошее — делай.

3. Душа, удобство и красота

— Как же это так? — подумала Аня однажды. — Я иду по ровной асфальтовой дороге, вокруг ровность, асфальтовость. Пойду в магазин, огромный, двухэтажный, полный блестящих пластмасс, замечательных открытых тар с продуктами в перламутровых упаковках, с коврами на лестницах и узорчатых эскалаторах. И все там: продуктовость, пластмассовость, перламутровость, узорчатая ковристость. Хочешь — купи то, хочешь — это. А где жизнь?

Есть люди, которые покупают много. Они покупают то, это и еще что-нибудь купить забывают. Приходится возвращаться из дома обратно в магазин. Есть люди, которые покупают мало и только то, что нужно на самом деле. Есть люди, которые стоят на ступеньках переходов или на входе в магазин и просят милостыню. Среди этих людей есть очень разные люди. Вообще, все люди очень разные. У всех очень разная покупательная и непокупательная жизнь.

Если зайти в гости к Антонине, она сразу поведет смотреть новые чудесные устройства своей квартиры. Вот эта дверь была другая: страшная, тяжелая, кривая. Теперь новая, блестящая, дорогая. Здесь были обои старые, а на них ужасная полка висела. С книгами. А сейчас смотри — обои какие! И полки этой ужасной нет, и книги пыль не собирают. Мой муж их складывает и продает. Уже на 480 тысяч сдал. Мало, правда?

Не идут Анины ноги к Антонине. Сами не идут, а если их усилием воли направить к Антонининым дверям, скрипят ноги, ноют, подкашиваются, просят тихим голосом: не ходи!

Аня тоже любит удобства и красоту. Ей удобства и красота нужны для того, чтобы жить в доме становилось уютно, приятно и радостно. Когда Аня покупает в дом что-нибудь новое или производит какие-то ремонтные действия, ей и в голову не приходит водить знакомых или родственников и показывать с гордостью: вот это мой новый абрыхтубр, а в ванной — смотрите — мой новый плитк. Старый был ужасен... А это испанские обои. Сколько мне это стоило...

И эти обойно-плиточные отношения, обойно-плиточная гордость и обойно-плиточная зависть составляют огромную часть нашей жизни. Но разве это жизнь?

— Когда макака показывает свою задницу посетителям зоопарка, — подумала Аня, — она говорит мысленно: «Вот, смотрите, это моя сегодняшняя задница! Вчера была другая, хуже». Но макаке задница не так важна, как банан. Поэтому задницу она спокойно и легко выносит на люди, а банан прячет. У нас же наоборот. Задница — очень важная, определяющая часть туловища и ее недопустимо и жалко подвергать опасности. Задницу надо беречь.

Так и дом. Для человека дом — самая важная составляющая жизни. Родные люди и дом. Родных людей и свой дом не надо никому показывать специально и ждать с нетерпением чьей-то оценки. Вот здесь у тебя — ах, ах, ах! А здесь — тц, тц, тц... Нет уж. Мы с моим домом во всем разберемся сами.

Асфальт перед Аниными ногами закончился. Пошла впереди мелкая галька. Под ногами зашуршало.

И появился перед Аниным мысленным взором эпизод из фильма «Русалочка». Российский фильм, один из последних, режиссер — женщина, фамилию которой Аня не помнит.

Шуршит дорога под колесами рвущейся прочь машины. Молодой водитель хочет исчезнуть из этого города, уехать очень далеко, благо есть на что. Здесь его, как говорится, достали. Любимая женщина уже не так уж чтобы любимая, работа надоела, и вообще он устал. Но в городе живет девочка, влюбленная в этого молодого человека, она звонит ему на мобильник, она просит остаться. Нет, — отвечает парень, — я не могу остаться, я должен уехать, у меня совсем другая, далекая от тебя жизнь. А девочка звонит с обыкновенного домашнего телефона, и перед ней в коридоре сидит у стены ее бабушка, старая бабушка. И тут в глазах девочки появляется огонек, догадка.

— У меня бабушка умерла, — говорит она в трубку. — Вот она мертвая лежит, я одна с ней, мне страшно. Ты должен мне помочь. Мне страшно, ты должен мне помочь, приезжай.

— Кто умер, кто у тебя умер, повтори, я не слышу!

— У меня бабушка умерла. Моя бабушка — умерла. — Говорит девочка медленно и четко и смотрит бабушке в глаза. А бабушка замерла, сидя на своем стуле у стены, и — не передать какими глазами — смотрит в глаза девочки, своей внучки. И у внучки глаза теперь тоже смотрят совсем по-другому, в них такое выражение, похожее на ужас, и ужас этот, конечно, перед тем, что же она говорит про живую бабушку... Что же она такое говорит про живую бабушку-то... И ей уже не так и нужен этот люба-парень, лишь бы слова те, слова те про бабушку забрать... А в глазах бабушки, широко раскрытых, ничего как будто не понимающих, затепливается обида, потом затепливается жалость к девочке... Что же ты, внученька, говоришь, разве можно так со мной? Я ведь живая.

Еще минуту, наверное, живут на экране эти два взгляда и гаснут.

Аня из всего фильма запомнила по-настоящему только этот эпизод. И подумала тогда, сразу после фильма, что и кино, и все остальное искусство тогда только настоящее, когда хотя бы один момент из всего произведения запомнится сразу, накрепко и, кажется, навсегда. Чтобы, вспоминая, знал точно: вот чего никогда нельзя делать. Или, наоборот: вот как на самом деле надо бы. Или: вот что на самом деле прекрасно...

— Однако я обещала моим купить домой котлет, — вспомнила Аня. Опять в магазин...

Но теперь все было гораздо проще: и расторопные тары с готовыми броситься в объятия целлофанами стали как-то спокойнее и уютнее, и льнувший к очередям народ, задумчиво вглядываясь в пространство, обходил кассы стороной.

Аня купила котлеты, хлеб. За Аней в очередь к кассовому аппарату встала невысокая немолодая сильно прихрамывающая женщина.

— Давайте пропустим женщину, у нее ноги болят, — предложила Аня стоящим впереди соотечественникам.

— Конечно, проходите, идите сюда, — позвали люди эту женщину, и та, благодарно взглянув на Аню, прошла к кассе.

«Вот это да... — подумала Аня. — Стоит только как следует задуматься о том, что по-настоящему важно, и... Наверное, это заразно».

По дороге домой асфальт под Аниными ногами приминался и слегка шелестел, как травяная тропа. У прохожих были лица. Не у всех, конечно. Но все-таки были.

— Как же это так? — думала Аня. — Как же это так и что же это? Как ты думаешь? — спросила она у пространства.

— Наверное, это заразно, — ответило пространство.

4. Немного из школьной жизни

— Как разнообразна и важна в мельчайших своих подробностях для самой обыкновенной жизни память человеческая и человеческая незабывчивость! — восхитилась однажды Аня. Она работала тогда в школе и ее очень интересовал вопрос: что дети запоминают с радостью, а что — без радости, с огорчением и досадой?

Можно, например, что-то хотеть забыть, но оно не забывается. Это нерадостная незабывчивость. Это память грустная, тяжелая, но необходимая. Нельзя забыть плохое, как и, наверное, искупить его совсем тоже нельзя.

Но вот когда чего-то не хочешь забыть и даже втайне и не втайне боишься, что забудешь, а оно вдруг само собой и независимо от тебя крепко-накрепко и совсем никогда не забывается, — вот радость! Вот это жизнь.

И приснился Ане коротенький сон. В этом сне сидел на пеньке посредине леса девятнадцатилетний мальчик Сережа и говорил Ане: «Вот видишь, когда ты была моей учительницей в школе, ты меня мучила, обзывала, ругалась и даже побить пыталась, а я тебе не мщу, я тебя люблю, дура ты старая».

«Не старая я, я женщина в возрасте, лошара ты недалекая», — ответила ему Аня и проснулась.

Проснулся и Сережа. Закончив базовую школу, он поступил работать на МАЗ, и сегодня у него выходной. Второй год он работает на заводе, приглядывается к жизни и к людям и уже немного пригляделся, и решил, что надо поступать учиться заочно дальше.

— Сегодня и поеду в училище, посмотрю, какие там правила, — решил он.

И сели они с Аней в один троллейбус.

— Здравствуй, Сергей, — сказала Аня.

— Здравствуйте, Анна Васильевна, — сказал Сергей.

— Как твои дела? Куда едешь? — спросила Аня.

И Сережа стал рассказывать. Как ему работается, как живется, какая девушка ему очень нравится, где он хотел бы учиться дальше.

— Да, — сказала Аня. — Там тебе и надо учиться. И лучше всего на заочном, ты прав. Будешь работать и учиться одновременно, для мужчины это замечательный вариант. А образование на заочном ты получишь не хуже, чем на дневном, а то и лучше, если захочешь. А ты, конечно, захочешь.

— Захочу, — сказал Сергей. — Я уже теперь хочу.

— Скажи мне, Сережа, — вспомнила Аня о своем, — ты же, наверное, знаешь, как выбрать цифровой фотоаппарат? Что там должно быть, чтобы он работал как можно лучше?

И все объяснил Сергей Ане. И про промилли, то есть, простите, мегапиксели, и про стабилизацию, и про устранение эффекта красных глаз... И про все.

«Господи, как же приятно разговаривать с тобой, дорогой лошара», — думала Аня.

«Мне очень радостно разговаривать с вами, Анна Васильевна, даже несмотря на то, что вы называете меня лошарой. И спасибо, что вы меня про фотоаппарат спросили, я теперь в этом много понимаю, могу помочь», — думал Сергей.

Вообще-то лошары бывают разные. Есть лошары печальные, лошары безмозглые, лошары недалекие и есть еще лохи позорные.

Кстати, очень интересно происхождение слова «лох». Аня однажды рассказала о возникновении этого чудесного термина девятому классу. Правда, она не помнит, откуда сама взяла информацию, то ли прочитала где, то ли придумала...

По Аниной версии, слово «лох» (а от него и нежное слово «лошара») появилось на алой заре дивного человеческого нового сообщества, элементы которого обладали очень большим количеством денег. Их сразу стали называть в народе «новые русские». Чтобы стать «новым русским», как понимала Аня, нужно или очень много и виртуозно воровать, или очень много работать, или получить большое наследство. Хотя с другой стороны, очень много денег, если послушать разговоры людские, не бывает. Их не бывает даже много. Их или мало, или очень мало, или они уже были, или «у меня нет». Никогда.

Так вот, большие новые бизнесмены стали заводить себе охрану. Конечно, своим охранникам большие люди платили больше, чем платят на обычной государственной службе. Туда старались попасть большие крепкие парни, по разным причинам недовольные обыкновенным заработком или же не имеющие его. Поскольку охранная зарплата не предусматривала ни трудовой книжки, ни социального пакета, ее стали потихоньку называть «левой». Левая охрана была хороша, то есть хорошо денежна. Вот так аббревиатура трех слов «левая охрана хороша» и превратилась в слово «лох».

На том уроке, когда Аня объясняла своим девятиклассникам происхождение лоха, мальчишки — первый и последний раз в году — вели себя великолепно и слушали Аню, затаив дыхание. С того самого урока они великодушно позволили Ане иногда называть себя лохами и лошарами.

Лошары бывают разные и ведут себя по-разному.

«Лошара печальная» не чудит, не гундосит, она весь урок невесело смотрит на учителя и на все вопросы отвечает: «Да».

«Лошара недалекая» может во время урока несколько раз недалеко пройтись по классу, разглядывая, что же пишут в тетрадях настроенные на учение дети, она может также выйти к доске по зову учителя, обязательно попросив при этом: «Только вы мне помогайте, хорошо?»

«Лошара безмозглая» бывает дико-шумной и радостно-агрессивной. Она отвечает полным ответом на все вопросы.

Что делают «лохи позорные», говорить не стоит. Можно без всякой фантазии представить себе их поведение.

С печальными лошарами и позорными лохами Аня занималась после уроков, индивидуально.

И вот — что удивительно — по окончании школы почти все представители лошар превратились для Ани в одну разновидность, которая называется «Дорогая лошара»...

«Милые учителя, — думала Аня, шагая по улице. — Это не беда, если дети не слушают нас, не беда, если они мешают нам на уроках, не беда, если приходится сидеть с ними после уроков и принуждать их заработать хотя бы самый невысокий оценочный балл. Беда — если они тяжело болеют. Беда — если у них очень плохо дома. Все остальное — не беда.

Понимаете, они помнят нас радостно и легко, ясно и тепло, крепко, долго и надежно, если только мы сами в совместной школьной жизни относимся к ним радостно и легко, ясно и тепло, крепко и надежно.

И тогда жизнь наша, согретая их памятью и радостной незабывчивостью, становится так хороша...»

5. Своя вода

— А ведь для них уже невозможен обратный путь в свою воду, — сказала однажды вслух Аня.

За последние месяцы несколько раз появлялась в теленовостях печальная информация о выбрасывающихся на берег китах. «Что же с вами происходит, почему вы это делаете?» — стискивалось с обеих сторон в ответ на эти сообщения Анино сердце.

Казалось бы, что нам — дела китов? Тут от человеческих дел так стискивается сердце, что, кажется, еще немного — и ты свое сердце уже обратно не растиснешь. А вот нате, еще и киты...

«А ведь я тоже однажды не смогу найти обратный путь в свою воду, — сказала себе Аня. — Если сила, которая несет китов прочь от своей воды, может быть, когда-нибудь понесет и меня».

Аня шла на работу в негустой, но добротной толпе. Лица в толпе были разные: доброжелательно-печальные, яростно-цепкие, угрюмо-тоскливые, просто улыбающиеся.

Больше всего Ане нравились очень редко встречающиеся лица, которые открыто не улыбались, но в глазах у них радостно пряталась добрая, теплая смеющаяся тень. В толпе Аню не покидало какое-то хорошее чувство. «Видимо, я иду к своей воде», — думала она.

Аня работала в двухэтажном просторном старом доме, где разместился «Жилбытсовет».

Она вошла в свой кабинет, села на стул напротив ничем не заставленной стены. «Что же это такое — моя вода?» — думала Аня, глядя на стену. Стена была оклеена бежевыми обоями в мелкую белую штриховочку. Штрихи шли наискось, слева направо и вниз. С северо-запада на юго-восток.

Шесть лет назад здесь было большое полотно фотообоев: раскидистый клен на берегу неглубокой, заросшей вдоль противоположной береговой линии камышами реки. Солнце вставало слева. Зелено-голубая вода с прожилками оранжевого и стального. Множество зеленых оттенков на листьях, таких рельефных, четких, с тенями, что они казались входящими в комнату с бумаги. Аня сама клеила это полотно, когда делала ремонт в кабинете жилбытсовета. Все должны были делать ремонт сами, и Аня делала.

Это была чудесная стена. Она рождала в помещении тенистую прохладу в дни безумной летней жары, от нее шло мягкое тепло в сильные зимние морозы. К Ане в кабинет часто приходили сослуживцы и сослуживицы и сидели возле стены или напротив. Около этой стены было хорошо. Вода реки жила. Листья клена шевелил ветерок. Аня таскала к стене дочь, мужа, маму, отца. Им нравилась стена.

Но однажды пришла проверка в лице строгой женщины и велела снять клен над водой, потому что он не соответствует нормам оформления стен в помещениях жилбытсовета. «Слишком пестро, — произнесла женщина-проверка. — Отвлекает от работы».

Процесс отдирания от стены живой воды был очень невеселый и какой-то бездыханный. Но полотно запечатлелось на сетчатке Аниных глаз. Может быть, так сильно запечатлелось еще и потому, что Аня сама его и отдирала, не доверив этот процесс никаким рабочим. На сетчатке Аниных глаз сконцентрировался некий неиссякаемый запас тепла, мягкого света и живой воды, неопасно-глубокой и прохладной.

А в комнате, где работала Аня, больше не было ни клена, ни воды.

«Значит, обратный путь в свою воду нельзя найти, — подумала Аня. — Этим путем можно стать только самому. Обратным путем в свою воду должен стать сам человек. Или сам кит. Человеку это сделать легче. Для человека это — творчество. Творчество — это обратный путь в свою воду. А как же быть китам...»

Аня начала рисовать. На ее рисунках было все что угодно на фоне воды, клена и тишины. «Все что угодно» было разное: оно было всем, чему угодно было быть в Анином видении земли и жизни на ней, и только вода, клен и тишина на каждом рисунке были одни и те же.

Вскоре к рисункам стал обязательно прибавляться кит. Он двигался обратно к своей воде. В зависимости от местности он двигался по песку, по траве, по асфальту, чуть-чуть выше земной поверхности, чтобы не ранить живот.

Рисунки Аня расставляла дома вдоль стены своей комнаты. Когда их стало совсем много, она унесла часть в свой кабинет жилбытсовета и прикрепила к бежевым обоям.

Идут года. Аня рисует разнообразные пути в свою воду и складывает их в папку. Каждый раз, включая теленовости, она думает: «Хорошо бы, чтобы с ними сегодня этого не было. Ведь уже довольно долго ничего об этом не говорили».

И пока что... И пока что об этом не говорят.

6. Георгин

— Кажется, я поняла, чем отличается проза от поэзии, а поэзия от прозы, — сказала однажды Аня малиновому георгину, доверчиво и свободно, с радостной готовностью быть сорванным распустившемуся на высоком кусте и оттянувшему своей прекрасной тяжестью крепкий упругий стебель.

— В поэзии можно сказать *ля.* Можно сказать *ля-ля.* Можно сказать *ля-ля-ля,* можно сказать *ля-ля-до, ля-ля-си, фа-ми-ля, ля-фа-соль,* и все возможные подобные комбинации здесь годятся. Можно также сказать *до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до*, но этого как раз лучше не говорить.

А в прозе необходимо сказать *до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до-до диез-ре диез-ми диез-фа диез-соль диез-ля диез-си диез-до диез-до бемоль-ре бемоль-ми бемоль-фа бемоль-соль бемоль-ля бемоль-си бемоль-до бемоль-до бемоль и т. д.* Какие-то из этих нот скорее всего не существуют, но их все равно необходимо сказать.

Георгин согласился.

— Я согласен с тобой, — сказал он Ане звонким легким голосом.

7. Жа-ра, бом-жа-ра

Как-то летом Аня работала ночным сторожем в детском саду. Если дежурство приходилось на ночь перед будним днем, в полшестого утра надо было открыть ворота для машины, привозящей в садик продукты.

Бывало так, что Аня не открывала вовремя ворота, потому что не успевала проснуться. В таких случаях водители грузовиков поступали по-разному. Один — большой, плечистый, усатый — перепрыгивал через ограду садика и стучал в дверь. Когда всполошенная заспанная Аня открывала сад, он смеялся и говорил: «Ну и спишь же ты, барышня».

Другой звонил по телефону и потом отчитывал Аню за то, что ему приходится тратить свои трудовые деньги, предназначенные для мобильной связи с нужными ему людьми, на не предусмотренные трудовым соглашением платные разговоры со спящей дурой.

А третий просто ждал. Красивый, очень коротко стриженный, среднего роста парень лет двадцати восьми сидел в машине и ждал, пока Аня проснется и откроет ворота. Правда, Аня никогда не заставляла его долго ждать, в крайнем случае она отпирала ворота в шесть пятнадцать, торопясь и извиняясь. А он улыбался, напевал какую-то мелодию, затягивал ящики с продуктами в садик, прощался и уезжал.

В детскую территорию был включен небольшой старый фруктовый сад. Там росло восемь яблонь, две груши и семь вишен. Самыми вкусными были белый налив и ананасовая яблоня.

— Так! — в первый и последний раз радостно произносило августовской ночью созревшее яблоко.

— Так — и — так! — вторили ему три его товарища.

— А — вот — и — мы, — присоединялись к ним еще четверо.

На рассвете Аня их собирала.

— Возьмите яблоки, они очень вкусные, — протягивала она пакет со звонким белым наливом своему любимому водителю.

— Нет уж, спасибо, отдайте детям, — улыбался он и уезжал.

Когда продукты в садик привозил шофер, стоящий на страже дорогой мобильной связи с нужными ему людьми, он быстро и своевременно собирал яблоки сам.

В предпоследний день Аниного летнего дежурства, когда любимый водитель уже затащил в сад ящики с продуктами и собирался уезжать, к воротам подошел худой мужчина в старой майке и рваных штанах, в руке его был пластиковый пакет.

— Вы не можете набрать мне немного яблок? — попросил он.

— Можем, — сказал парень и кивнул Ане. — Возьми пакет, пошли соберем.

— Я его знаю, — по дороге говорил парень. — Он из тех, кого называют бомжами. Какое поганое слово для этих несчастных людей придумали. Я бы желал тому, кто это словцо придумал, самому оказаться на их месте.

Он легко влез на яблоню и собрал самые спелые и крупные из оставшихся на ветвях яблок.

— Держи. Надо было раньше подойти, и вообще... каждое утро в августе надо было сюда приходить. Здесь очень много вкусных яблок.

— Я думал, прогонят, — улыбнувшись, сказал человек.

Парень вздохнул. И Аня вздохнула.

— Зря вы этого боялись, — сказала она.

— Спасибо, — произнес мужчина и неловко ушел.

— Хорошо, что яблоки по делу пошли. А следующее дежурство у меня последнее, — сказала Аня. Парень тепло и долго смотрел ей в глаза.

— Вот и хорошо. Значит, увидимся в другое лето.

В полдень пару недель спустя Аня сидела у себя на кухне и глядела в окно. Во дворе, счастливо укрытом от всех дорог прекрасной зеленью и маленьким зданием местной заводской библиотеки, две соседские девочки лет семи-восьми таскали по утоптанной тропинке грязный полиэтиленовый пакет с позвякивающими бутылками и чем-то еще.

— Это забыл бом-ж! — заговорщицким гулким шепотом, четко отрабатывая все звуки, сообщила одна.

— Нет, он наёшно оставил, он потом забеёт, когда пьяголодается, — уверенно объявила другая девочка и, засунув руки за спину, строго посмотрела на пакет.

— Кто оставил? — переспросила для точности первая.

— Бом-ж. Бом-жайа.

Девочке, хорошо выговаривавшей все звуки русской речи, понравился звук «ж».

— Жа-ра — бомжа-ра, жи-ра — бомжи-ра, ха! Папа говорит, бом-жжи — га-адость!

Аня, услышав их разговор, подошла к девчонкам.

— Слушайте меня внимательно, — сказала она.

Девочки замерли.

— Бомж — такого слова нет. Есть люди, которым очень тяжело живется. Над ними смеяться нельзя. Вы должны это понять. Если вы это не поймете...

— Мы больше так не будем, — испуганно сказали девочки в один голос.

8. Шмель и лебеди

Стоит ли бояться, что однажды прямо перед тобой в твою дорогу врежется метеорит?

Когда Аня приходит на озеро, за ней летит шмель. Ей кажется, что это один и тот же шмель, хотя как отличишь шмеля от шмеля?

Он летит за ней, пока она идет по тропинке, потом летает вокруг Ани, сидящей на берегу.

Впервые она заметила шмеля, когда несла домой с пшеничного поля, распахнувшегося в двухстах метрах от озера, васильки целиком, с корнями, землей и несколькими колосьями. Она посадила их у себя под окном.

Шмель летел за васильками и никак не успевал сесть на цветок. Аня остановилась, и шмель благодарно уселся на василек. Дальше они с Аней шли вместе до конца поля, потом шмель улетел.

Больше Аня васильки не носила, но шмель все равно летает за ней. Он появляется на повороте от поля к озеру. Когда Аня уходит, шмель провожает ее до этого же поворота и исчезает.

Если на озеро вместе с Аней приходил Михаил, там тут же появлялись лебеди. Они плавали неподалеку друг от друга: шесть белых взрослых лебедей и Михаил. Потом он сидел на берегу, а лебеди, наблюдая за ним, беседовали друг с другом и вынимали из воды рыбу. Иногда птицы отплывали к противоположному берегу и исследовали там воду на чистоту и надежность.

— Видимо, они друзья, — думает Аня. — Видимо, мой друг — шмель.

Вместе с мамой на озеро теперь приходит иногда Варя. Это бывает очень редко, но тогда на озере опять появляются лебеди. У Ани сердце наполняется радостной печалью, когда она видит этих лебедей. Она старается смотреть на них незаметно, она боится спугнуть их взглядом, потому что каждый раз при их появлении поднимается в Ане теплой сильной волной сумасшедшая догадка, что это Михаил присылает лебедей посмотреть на Варю. Это отец хочет увидеть дочь лебедиными глазами.

Аня и Михаил сильно поссорились как раз при лебедях, на озере, когда маленькая Варя, усевшись на выступающий из воды придонный валун, смотрела на птиц. Два взрослых человека ссорились быстро, зло, сильно и тихо, чтобы не слышала дочь, а лебеди, замерев, смотрели на них. После ссоры Михаил уехал и по ужасной нелепой случайности разбился.

Кого же как не лебедей он мог попросить помочь ему увидеть дочь?

И вот эти лебеди, кажется Ане, все время плавают так, чтобы в поле их зрения была Варя. На Аню они не смотрят.

Так стоит ли бояться, что однажды прямо перед тобой врежется метеорит? Если родные белые земные птицы не хотят смотреть на тебя из-за того, что сказанные тобой когда-то паршивые слова... Впрочем, нет, связывать это прямой причинностью, конечно, нельзя. Но все-таки какая-то непрямая, изогнутая в пространстве невидимой дугой и сама же эту дугу скрепившая невидимой тетивой, эта непрямая причинность всегда есть. Всегда есть она, всегда будет жить и тянуться эта упругая непрямая, пока живет Аня.

Каждая наша ссора похожа на небольшой, но довольно разрушительный метеорит. Варя откуда-то с раннего детства знает это и старается ловить ссоры на лету, не давая им упасть. Она ловит ссору и бежит с этим грузом какое-то время в направлении прежнего полета, потихоньку притормаживая, чтобы погасить движение разлада. И Аня учится у дочери делать это.

— Доброе утро, Варенька! — говорит Аня вслух каждое утро независимо от того, дома ли Варя и дома ли сама Аня. И с доброго утра начинается добрый день.

Хорошо и радостно бояться испортить его — это уже не страх, это живое усилие, которому нужно твое постоянное участие в дне.

Шмель летящий и белые лебеди, помогите жить так, чтобы не приходилось бояться себя!





ГЕОРГИЙ КИСЕЛЕВ

Молюсь милосердию

Ночной путь

Луна хохотала полярной совой,
Выставив желтый глаз.
Ветер сбивался на волчий вой
И визгом кутенка гас.

Нас трое. И каждый в дорогу влюблен,
В пенье полозьев нарт,
В синий аквариум — небосклон,
И в мокрый по пояс март.

А псы волокут, как тягачи,
Со всех сорока ног.
Хочешь — кричи, хочешь — молчи,
Словно Господь Бог.

Просторна, как чум, гортань каюра,
Хозяйкою в ней — махра.
Он долго глазами ночь ковырял
И, видно, решил — пора!

Прокашлялся, рыкнул и в наледь усов
Выдал такой звук,
Что иерархия всех басов
Пред этим померкла вдруг.

Хайлем[1] тебе, Гавриил Кихляп,
За песню длинней версты —
С хрипа на дрожь, с горы на ухаб, —
Но душу встревожил ты!

И за то тебе, наш каюр, хайлем,
Что, словно курский мужик,
Спел, дорогою охмелен,
Как замерзал ямщик.

[1] Хайлем (корякское, чукотское) — спасибо.

Волчьими сворами нас теснят
Перелески со всех сторон.
С нарт попрыгали, как десант,
И гору бегом берем.

А под гору снова брызжет остол[1]
Ракетой в десятки лун.
И кренится палубой белый простор,
Смыкая за нартой бурун.

Кедрач росомахой бежит вослед,
А с моря идет пурга.
И в малахай[2] курилки[3] одет
Большелобый мыс Урга.

Пурга зашаманила — ну, каюк!
Пыл у собачек скис.
Снег с лица отодрал каюр,
Словно посмертный гипс.

Тракторный путь — за увалом увал —
Нарту в крен кладет.
Ах, что — катапульта! Я летал
Почище — башкой о лед!

Теперь успевай ноги беречь
От торосов, летящих сбочь,
Жалея задохшихся кобелей,
За нартой бежать в ночь.

Теперь ты сам — кладь, тюк.
За нарты, ремни, гужи
Хватайся, не чуя ни ног, ни рук,
И ни о чем не тужи!

Ах, что оставили мы вдалеке?
И куда нас псы волокут?
Там, под пологом, в уголке,
Спит мой друг Явелкут.

Олешки одаль копытят наст,
Ягель дерут рывком.
Им даже ночью уйти не даст
Суматошный старик Коерков.

---

[1] Остол — крепкая палка с металлическим наконечником для торможения нарт в пути во время крутых спусков.

[2] Малахай — меховой шлем.

[3] Курилка — юго-восточный ветер с Курильских островов.

Войти бы в палатку, где, гостю рад,
Начнет чаевать народ.
Но поздно, поздно уже назад,
Остается — только вперед!

Глотай же бессонницы черный чай
Блюдцами красных глаз,
Покуда плещется через край
Поздняя зрелость в нас!

Пока не ушел в траву и золу,
Покуда жжет под ребром,
О, всю до капли выпей зарю
Синим от жажды ртом!

Кидай меня, тундра, словно медведь
В загривке ярого пса,
Чтоб оставалось лишь стервенеть,
Впиваясь в его мяса!

Дай, тундра, мне силу зверья,
Выносливость пастуха,
Кротость сопок, мудрость ружья
И элоэл[1] стиха!

Хайлем тебе, тундра, хайлем, хайлем
За дикий ночной бег,
За то, что покой ты с меня колом
Сбила, как с юрты снег!

Отвага сердец, плеч близь.
Скрип нарт и собачий визг.
Да здравствует жизнь и еще раз жизнь
За то, что в ней есть риск!

Перед уходом

Что для судьбы мой бессильный протест?
Молюсь милосердью.
Где ты, отец мой, бедный отец?
— Между жизнью и смертью.

Слабо плечо подпирал я твое —
Вот и расплата.
Что перед входом в небытие
Видишь ты, папа?

[1] Элоэл — длинный гибкий прут вроде удилища для того, чтобы погонять собачью упряжку; то же самое, что и хорей у ненцев.

Реанимация. Пуст коридор.
Сердце в испуге.
Что же ты слышишь? Ангельский хор?
Посвисты вьюги?

— Вижу я, сын, бедный мой сын,
Царство покоя,
Саван холмов, простынь равнин,
Снег Подмосковья.

Слышу я, сын мой, из блиндажа
Голос в больнице:
— Насмерть стоять, не сдавать рубежа,
Сзади — столица!

Вот он лежит между мной и тобой —
Не для присловья:
Пороховой, черный, рябой
Снег Подмосковья.

Нету, поверь мне, за мною вины:
Мне из всей роты
Жить сорок лет после войны
Выпала льгота.

Все сорок лет, пав на бегу,
Словно распятый,
Руки вразброс, я там — на снегу,
Рядом ребята.

Снег, словно саван и капюшон,
Небом накинут
Вновь на меня, но он не прошел —
Враг дальше Химок.

Жил я в отсрочке до этого дня,
Жизнью не сытый.
Снег сорок первого вновь на меня
Сыплет и сыплет...





КАЗИМИР КАМЕЙША

Между устами и кубком[*]

Лирические миниатюры

Не помню, а точнее, не знаю, кто придумал слово **жизнелюб**. Неужто и правда есть где-то на свете жизнененавистники? Жизнь любят, как за соломинку в океане, хватаются за нее и воры, и нищие, и пьяницы, и сами убийцы, которые потому и убийцы, что лишают человека самого дорогого, что дано ему от Бога и Природы. И те же самоубийцы, возможно, самые большие жизнелюбы. А с жизнью они сводят счеты часто потому лишь, чтобы высказать свой протест какому-нибудь обидчику. Возможно, это и есть насильственный побег грешного тела от чистой души?

Зима, как и большинство последних зим, была теплая и бесснежная. А я мечтал о Новом годе со снегом. Более месяца стояла на моем балконе в ведре с водой выкопанная в лесной глуши небольшая елочка. Тепло за окном, а в квартире даже жарко. Ни одна иголочка не осыпалась за это время. Однако аромата живичного, лесного — нет его. Но вот в самом конце декабря дохнул во всю грудь мороз, вскинулся ветер. И елочка тоже во всю грудь дохнула сильным смолистым запахом. Видно, почуяла и сквозь окна свое родное, желанное и здоровое в этом грозном дыхании.

Он из тех людей, кто, делая что-то свое, даже срочное, неотложное, если неожиданно попросит сосед, бросит все и пойдет помогать. Сколько натерпелся он за это упреков от родных, грозных выговоров от жены, но так и не изменился. И не потому, что ближе то чужое, соседское, а потому, что не умеет, не научился хоть кому, хоть в чем отказать.

Вспоминали недавно на одних посиделках давнее писательское собрание, которое вел А. Дударев. Ведущему долго и упорно мешал расшумевшийся Сыс.

Наконец приступили к голосованию:

— Кто за, кто против?

И тут накладка от Сыса:

— Чтоб вы тут не говорили, а самый лучший поэт среди вас — это Геннадий Буравкин!..

Дударев, разозлившись:

— Кто там ближе к Сысу? Дайте ему по шее!.. Кто за, кто против? Единогласно!..

Кончается все дружным смехом.

---

[*]Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Наконец на одном из телеканалов завершился долгоиграющий сериал, растянувшийся во времени на год с гаком. Получилось так, что местная старушка «проморгала» концовку. Звонит она дочери:

— Что-то сегодня кино не показывают?

— Так вчера закончилось, мама!

— Ай-я-яй! А я прозевала! Так с кем же она осталась? С тем бородатым, может?

— Потом расскажу, мама! Времени нет. Переключайся на новый сериал... Сегодня первая серия.

А старушка свое:

— Пускай бы уж и бородатому повезло. Кино все же...

В достроенном Национальном художественном музее добавилось пространства и того, перед чем можно остановиться, поклониться, восхититься и поразмыслить. Особенно увлекала посетителей совместная выставка китайского художника Ень Фэй Ханга и нашего скульптора Сергея Бондаренко — «Формула движения». На полотнах китайца и в самом деле стремительное движение, порыв. А ниже белорусский рельеф, покой и яркая краса коней. Ах, что за кони! И тоже порыв, движение. Оно в строгости линий, округлостей, блеске. А движение уже в самой идее.

И тут взбрыкнул в памяти и наш деревенский, колхозный, заезженный, натертый хомутом и сбруей рабочий коняга. В этой правде — тоже свое движение. Не втиснешь всего, что крутится в твоих глазах, в одну художественную формулу.

Часто удивляюсь, откуда у него это аристократическое — нигде без конфетки. По поводу или без повода — из кармана или «дипломатика» — конфетка, а то и шоколадка. Но дама покраснела, а немного позже и каким-то намеком дала понять, что она все же цветочек с чьей-то клумбы, где озорничать запрещено.

За всю историю человечества мужчинами придумано неисчислимое множество способов, как «завоевать» внимание женщины. Самый наилучший — это понравиться ей без всякого предпринимательства. Но не всем так везет. А вот несколько «предпринимательских» примеров.

Поэт:

— Как вы чудесно выглядите! Скажу откровенно, вы — идеал красоты!

Подействовало! Бутончик нежности вспыхнул! Лепестки порозовели!

Певец:

— Эту песню я посвящаю женщине в первом ряду в зеленой кофточке!..

Суетливое движение в кресле, учащенное дыхание, вздымающаяся грудь. А после концерта несмелое приближение к певцу и номер телефончика ему...

Мужчина в троллейбусе долго наблюдает за каким-то юнцом, что уткнулся лицом в прошлогоднюю газету:

— Эй ты, читатель! Встань, дай сесть старушке с сумками! Стыд твой и через газету виден!

Сконфуженно встает, поспешно протискивается к двери. И всем приятно, кроме его одного. Я лично склоняюсь перед этим, третьим героем.

Всегда с чувством смотрю на маршевые пролеты лестничных ступенек в старом здании Дома печати. Стертые, отшлифованные подошвами... О, сколько знакомых и незнакомых ног оставили на них свои отметины!

И сколько бы интересного могли рассказать эти ступени, если б могли говорить. Следы наслаивались на следы, тут же смывались холодной тряпкой расторопной уборщицы. За бывшими ступали новые. Взбегали на сероватые газетные полосы строчки чьих-то мыслей, чьей-то радости, а то и откровенной лжи. Все это мелькало и до тебя, и с тобой. По лестницам не только поднимаются, но и сходят в небытие.

Первыми утро в городе встречают обычно люди, которых чаще всего встречают или с насмешкой, или с откровенной брезгливостью. Это бомжи, люди без определенного места жительства. Мало кто пытается вникнуть в то, откуда и каким образом появляются они в нашем мире. Утром я часто наблюдал сборище этих загадочных личностей у крыльца приемного пункта стеклотары. Многие из нас еще и не начинали свой рабочий день, а они уже складывали в единую горсть свой скромный заработок: выручку от тех самых стеклянных поллитровок, часто припеваючи: «Пускай ты выпита другим, но мне досталась». Тут же, на крыльце, тот «заработок» бережно разливали в разовые стаканчики. Были в этой компании и свои дамы, чрезмерно говорливые, заспанные, со следами вчерашней помады, хрипловатые и прокуренные. Наверное, имелось тут и какое-то свое начальство.

В этом сборище выделялся приземистый, рыжебородый, в коротком пальтецо и вязаной черной шапочке. Он всегда появлялся со своей раскладушкой под мышкой. Чувствовалось, что еще не совсем выветрился из него бывший интеллигент. Поздоровавшись со всеми, раскладушку он неспешно прислонял к стене, так же неспешно брал пластиковый стаканчик. А пил залпом, словно торопясь куда-то. На закуску чаще всего шла сигарета.

И всегда, когда случалось за всем этим наблюдать, думалось почему-то не о нем самом, а о его раскладушке. Первый раз показалось даже, что у него под мышкой мольберт художника и сейчас пристроит его у крыльца и начнет рисовать. Но это была обыкновенная, потрепанная жизнью и временем раскладушка. Где-то на ночь он останавливается, раздвигает раскладушку и ложится на отдых. На остальных в компании никто не обращает внимания — мало разве бродит подобного люда в большом городе? А вот его замечали. Все из-за той раскладушки.

Пока наши археологи перебирают косточки истории, сама история костью сидит в горле ее недоброжелателей, которым всегда хотелось видеть ее такой, какой выгодно видеть.

Всю жизнь ему хотелось идти в ногу со временем, стремился писать на злобу дня, благо злобы в его душе было предостаточно. А когда постарел, задумал написать большую вещь под броским названием «Былое и дамы». Но перо уже не слушалось, как и те дамы, которых было в его жизни немало.

«Вот и поделились мы на два союза»... — грустно вздохнул мой коллега. Ну, и что в результате произошло? Как будто от этого кто-то начнет лучше или хуже писать? А разве и раньше, в большом и едином, не делились мы меж собой на «группы», «группки» и даже «группировки»? Делились по таланту, тактике, хитрости. Это можно было почувствовать, когда заседали в большом творческом зале под развесистой люстрой, по тому, как кто сидит, кто с кем перешептывается и перешучивается. Бывало, в президиум бедолагу не позовут, так он в перерыве сам туда вскочит да и ввинтится в кресло того, кто

пошел «кофейку» попить, а то еще и собрание начинает вести, слово выступающим давать и предупреждать даже: «Еще раз напоминаю — регламент!..»

Только галерка была всегда в выигрыше. Оттуда, кстати, и обзор был лучше, и крикнуть всегда что-то смелое можно было. На передних рядах все время нужно кому-то в глаза смотреть, задним же и лысин вполне хватало. Впрочем, и весело временами бывало. Словом, как говорят, есть что вспомнить.

«Сруб был деревянный», — пишет автор. А какой же еще может быть сруб? Не кирпичный же. Второй пишет: «Еще живет родительский сруб...» Так, скорее, это сама изба живет, а не ее сруб. Сруб — это то, что только под крышу вывели.

Надо, в конце концов, смириться с тем, что Земля наша — жилой многоквартирный дом, где все время меняются квартиранты. А вечных постояльцев не бывает.

Вот и уважаемый мной музыкант, когда его вечером разговорил телеведущий, ляпнул внезапно среди прочего и такое: «Ищем, делаем, так сказать, под себя». Не осуждаю. Бывает... сорвется то самое, что «не воробей».

Всем хорошо известно, что после теплых, погожих, с солнечным багрянцем или тихой желтизной деревьев, серебряным дождем пролетающих паутинок, обязательно хлынут холодноватые дожди, шквалистый ветер, но все еще не веришь в это. Бабье лето манит и искушает извечной своей ворожбой, тихим намеком на близкое расставание. Природу не обманешь, а себя можно, если по-детски доверишься ее увядающему обаянию.

А я думаю о Язепе Дроздовиче, талантливом художнике, писателе, земном и космическом путешественнике. Творчество его, хоть и медленно, но пробивается к вечному.

Когда писал поэму «Посох», посвященную художнику, портрет его в моих глазах и представлении рисовался самым невероятным образом. И вот повезло: в деревне Бобровщина Глубокского района отыскал человека, который видел живым Язепа Дроздовича. Федору Суховилу было тогда двенадцать лет, когда странствующий художник поселился в их избе. И вот портрет с его слов: «Помню его седовласым, худощавым, глаза ярко-голубые. Аккуратная борода. Полотняные штаны и куртка. И кий с головкой человечка. Очень выразительное лицо у человечка». От того кия я и начал «танцевать».

Осеннее небо пасет тучи, а само бывает, как решето, сеет дожди. Это печальная пора часто способствует творческой душе, придает ей доброй лирической грусти, тихих размышлений, а то и весеннего тепла. И самый удручающий осенний пейзаж стоит перед глазами, как развернутый фотоальбом, и никогда не исчезает из памяти.

Густо обложенное тучами небо, с волокнистым от ветра окладом по краям, мелкий назойливый дождик, успевший незаметно заползти за воротник и даже просочиться в резиновые сапоги. Развороshенные до самого леса картофельные ряды с белыми от дождей клубнями на черной земле, холодная липкая грязь на руках, промокшие спички в кармане. И охота, и невозможно закурить. А еще неподдающийся шнурок мешка, который никак не удается завязать узлом. Ожидание возницы с лошадью, который на всю деревню

один. Непреодолимое желание поскорее ввалиться в избу, в сухое, в тепло к столу с горячим ужином. И лишь потом при подслеповатом вечернем освещении, уже согревшись, можно обратить внимание и на такую незначительную мелочь: это же как упрямо приколачивает дождик пожелтевший яблоневый листочек к зеленоватому оконному стеклу. Какая-то маленькая поэтическая глупость, но зато теплеет на душе.

В сентябре послал Бог жарких, удивительно солнечных дней, каких и летом не часто бывало. В красках леса сразу же загорелось множество золотых оттенков, местами подкрашенных рябиной или калиной, а то и поздней брусникой. Имея всего несколько свободных дней, блуждал я давно знакомыми тропинками и искал то, на что в этом году поскупилось лето, — грибы. И хоть бы где засветился красный фонарик мухомора! Ведь говорят, если есть мухоморы, должны быть и другие грибы. Попадется изредка уже засохшая лисичка, срежешь случайную сыроежку-белянку — и все твое грибное счастье. Но стоит ли из-за этого обижаться на лес? Поброди, поскитайся по его запутанным тропинкам, пригибаясь, пробейся через суховатые заросли ельника, набери в легкие можжевельниковой душистости и кисловатой прелости березовой коры. Разве этого мало, чтобы умиротворить душу, освежить дыхание, дать усладу уставшим глазам?!

Однако стоит подумать так, как докучливо лезет в голову другая, более настойчивая мысль. И даже пристыдит своей крестьянской степенностью и основательностью. Дескать, шатаешься ты тут бесцельно, время драгоценное зря ногами попираешь, а где-то там, за лесом, от самого рассвета, не разгибаясь, словно приросли руками к земле, трудятся люди. Ты даже слышишь их голоса. Деревня копает картошку. И они, люди, благодарят Бога, что послал им такую благодатную погоду, смиловался на теплые солнечные денечки. Еще совсем недавно было все это и в твоей жизни. И не лесом, не городом отгородилось оно от тебя, а высокой стеной прожитых лет поднялось, разделило мир на две половины, даже на две разные жизни. Впрочем, никакая стена, даже тюремная, не переиначит человека. И по ту и по эту ее сторону ты все тот же наивный и доверчивый, обидчивый и завистливый, ты — всякий. Но где-то внутри тебя есть и тот другой, что, случается, направляет тебя не туда, куда хотелось. Он использует твое послушание. Ты понимаешь это и иногда противишься. Интересно со стороны понаблюдать за вашим противостоянием.

Где-то близко, почти у самого уха, шумит шоссе. Напоминает: «Тот, кто вошел в лес, обязательно должен вернуться к родным пенатам!»

Покупать и продавать лошадей ездили когда-то в Мир. На конской ярмарке тон, как всегда, задавали цыгане. Цыганская торговля лошадьми полна азарта, хитрости и даже отчаяния. С этим связано и множество местных шуток. Обновляю некоторые по памяти.

...Цыган продает коня. Местный житель ходит вокруг гнедого кругами, присматривается к ногам, хвосту, заглядывает в рот.

— Ты смотри, — говорит цыган, — потому как конь смотреть не будет.

И точно! Купил дядька коня, а тот... слепой.

Продает коня другой цыган.

— Хороший конь? — спрашивает покупатель.

— Хороший, — отвечает цыган. — Одна беда: на дерево не лезет.

Ну, и купил, поехал. А впереди деревянный мост. И конь стал перед ним, как вкопанный. Как не старался возница: на мост не пошел, не полез на дерево.

Давно хотелось спросить у своих коллег, прозаиков, кто порадовал или огорчил читателей не только десятками своих рассказов, но и повестями, романами, помнят ли они имена своих героев. Ведь это же, как говорится, дети их. И недавно понял: не помнят.

Выступали мы как-то с одним знакомым в детской аудитории. Он подробно принялся рассказывать о своей повести, которая уже даже нашумела среди школьных читателей. И вдруг, дойдя до главной героини, запнулся и замолчал. Забыл ее имя. Стал напрягать память. Выручил школьник, который выкрикнул имя и тем вывел автора из ступора. В зале долго смеялись.

Во всем должна быть ясность и определенность. Тюремный повар-мусульманин из телесюжета на каждом из бачков красной краской означил: «первый блюд», «второй блюд». Смешно, но понятно. Да и пишется человеку чаще всего так, как и слышится.

Конь, привязанный вожжами к старой яблоне, хрустко скуб росную траву, время от времени резко потряхивал гривой, отгоняя назойливых оводов.

В соседнем дворе добрых полчаса дымил и тарахтел старенький трактор. Этот также пасся, но потреблял не траву, а солярку. И того, живого, и этого, железного конягу, давно приучили к крестьянской терпеливости. О хозяевах же я просто умолчу. Пускай останется между строчек.

Старушки на лавочке что-то вспоминали о Пилсудском, великом «старце» их молодости.

— Интересный был человек, маршалок, — повторяла одна.

И тут подошел деревенский оболтус в подпитии.

— Я — Пилсудский! — захохотал он на все желтые прокуренные зубы.

— Иди ты!.. Дурниска!..

— ***Я пил сутки, говорю***! — еще громче захохотал тот.

— О, тогда правда — Пилсудский пан есть!..

Понемногу освобождаю свою домашнюю библиотеку от лишних книг, что не помещаются уже на полках. Кое-что везу в деревню, в родительский дом. Очередные связки не успел упорядочить, спешил, так и оставил их не разобранными посреди хаты. Как-то забежал к матери один не особенно уважаемый сельчанин и, узрев книги, жадно сверкнул глазами.

— А эти книги вам нужны?

— Так они же не мои — сына, — ответила мать. — А что, тебе нужны? Ты же не читаешь.

— Да я сдал бы их на макулатуру. Говорят, неплохо оплачивают. И вам бы какую копейку принес.

И таким, к сожалению, он бывает, сегодняшний наш читатель.

Сильное впечатление произвело на меня кладбище в деревне Замошье на Любанщине, родине Владимира Павлова. В самой древней его части, в развилках крон старых сосен, темнеют колоды-борти, словно давно вросли в них. Видно, напрочь забыли о них пчелы, стороной пролетают молодые рои.

Говорят, во время последней войны пчелы тут водились. И партизаны частенько спасались горьким тем медком. Какая уж тут сладость, когда вокруг война, да... еще кладбище.

Ассоциативно вспомнилась и бесхитростная старушка на Комаровке, которая без всякой задней мысли признавалась соседке по прилавку:

— Этот щавель я собираю на кладбище. Там его тьма.

С того времени и чураюсь покупного щавеля.

Человек по прозвищу «Промолчу». Вы не слышали о таком? А я даже недавно разговаривал с ним в какой-то компании. И он сразу мне заявил:

— Знаешь, сколько я о тебе ***знаю***, но промолчу...

— Да ты скажи!..

— Нет, про-мо-лчу!..

О, если бы мне разговорить человека по прозвищу «Промолчу»!..

Молодая агрономка, только из техникума, едет по незнакомой деревне, где потом и гнездышко свое семейное совьет. Легко крутит педали одолженного «ровера». А с одного двора как выскочит лохматенький злобненький щеночек, да как зальется лаем...

Растерялась и с перепугу:

— З-здра-сте! — Аж сама рассмеялась. Но собака затихла.

У кота, что первым встречает тебя у родного порога, после не такой уж дальней дороги из города, столько теплоты и радостного волнения... А вот беседа с матерью, односельчанами, сразу перекидывается на родное, самое больное для сердца. Как много новостей, в большинстве своем печальных. Слушаю внимательно, переспрашиваю, и кажется, что обо всем этом успел уже рассказать кот, что так задумчиво мурлычет и трется теплой и деликатной шерсткой о твои ноги.

В деревне человек без клички-прозвища, что гнездо без птицы. Прозвище часто тянется за человеком через целые поколения, утверждая тем самым, что есть продолжение твоего рода. Многие воспринимают прозвище, как само собой разумеющееся, даже гордятся им, а некоторых оно обжигает больней крапивы, даже злит, возмущает человека.

Вот и земляк мой, Евген Хвалей, полагал, что доброе дело сделает и даже удивит свет, когда собрал и записал все прозвища деревенских жителей да еще наделил каждое из них комментарием. После того, как все это появилось в Столбцовской «районке», на поэта посыпались угрозы. Особенно обиженными оказались некоторые внуки и правнуки, Вот так оно временами бывает: хочешь как лучше, а получается... Хоть без клички-прозвища человека в деревне и представить трудно. А за каждым прозвищем тянется и своя интереснейшая история.

Прозаик только женился. И случилось так, что вскоре после этого вышла его первая книга прозы. Получил он немалый гонорар и тут же вручил молодой жене.

— Ой, так много!.. — растерялась она.

— Я не думаю, — грустно ответил прозаик. — Ты даже не представляешь, сколько я сил потратил. Ночами не спал, писал...

— Так пиши больше! — аж подскочила молодка.

— Ты не понимаешь меня. Днем я корплю на редакционной работе, редактирую, правлю и переписываю разных графоманов. А свое могу писать лишь ночью.

— Вот и пиши на здоровьечко!

— Но ты же у меня — молодая жена, и я не позволю себе не выполнять те самые мужские обязанности...

— Нет, ты пиши, дорогой. А насчет «обязанностей» не думай, я сама о себе позабочусь.

И прозаик после этаких слов серьезно задумался.

Чудесная сладкая фамилия досталась от предков певцу Солодухе. Только услышу его, сразу вспоминается дорогое блюдо моего детства, что на стол попадало чаще всего в дни поста. Вкуса, как говорят, было не обобраться. Только, как казалось тогда, было оно не столько сладким, сколько кислым. Младшая моя соседка, уходя в школу, даже просила мать:

— Мама, налей мне с собой в школу кислодухи.

Потом и дразнили малышку: кислодуха!..

Жуткую историю рассказала мне мать в очередной мой приезд в деревню. Перед самой Вербницей молодой местный мужчина пошел на Неман, чтобы нарезать ивовых прутиков. Жена собиралась утром занести их в костел и освятить. Большая раскидистая ива склонилась над водой. А лучшие гибкие и зеленоватые ветки ее были на самой верхушке. И он принялся взбираться вверх. Хрупкая ветка неожиданно надломилась, и он, обвитый ей, словно паутиной, рухнул вниз. Глубина была порядочная. Мужчину не спасли. И вновь знакомое, столько раз слышанное: «На беду много не надо». И правда. Это, видно, лишь на счастье многое требуется.

«Себя не видят синие просторы»... (С. Щипачев). А и правда... Да и человек сам себя толком не видит. Большую часть его тела Бог покинул незаметным для самого себя, но не спрятал от посторонних взоров. И хотя человек придумал совершенные зеркала, все равно твою самую потайную заднюю болячку они никогда не покажут.

Природа тоже ищет извечно свои зеркала: то в виде озера, то речушки, то ручейка. В пуще нашей зеркала тоже имеются. Их, правда, не так и много. Это и хорошо — меньше самолюбования. Ведь для чего смотрятся в зеркало? Чтобы самолюбоваться.

Задолго до появления радио, а потом и телевидения, человек отыскивал способы передачи информации. А передавалась она чаще всего из уст в уста. И успех имела, надо сказать, очевидный. Возникнет где-то в одном конце края что-либо стихотворное, а его уже знают в других уголках, даже далеких. Передача информации через уста — это и преодоление расстояния. Так себя увековечивало устное народное творчество. Правда, существовала одна особенность. Каждые новые уста имели привычку в услышанное, додумывать и добавлять что-то свое, часто совсем непохожее. А это уже как своеобразное редактирование через годы и расстояния, даже своеобразная шлифовка. Как все на свете совершенствуется, так совершенствовалась и песня.

И далеко до этой жизнестойкости нынешним шлягерам, где и смысл не всегда имеется. Жизнь у них однодневная.

В городском автобусе молодые роскошно восседают, подрыгивают в такт музыке, время от времени поправляя черные пробки наушников. А пожилые стоят рядом, сгорбленные не только годами, но и тяжестью пенсионных сумок и пакетов.

— Уступи место старушке! — говорит кто-то накрашенной молодке.

— Да пускай сидит, в старости еще настоится, — мудро замечает старушка.

Сколько подлесков, кустарников и даже лесов выстригло время неумолимыми ножницами на моих глазах и памяти. Выйдешь на горку за родимым домом — и какая светлая даль открывается взору. Уже и башни Рубежевичского костела, которых раньше и видно не было, легко высвечиваются сквозь лысоватую равнину, скоро и Минск, если ему пришпилят высотные небоскребы, можно будет рассмотреть как на далеком экране. Земля лежит перед нами, как одна большая ладонь, которой так и хочется собраться в кулак и грозно прогреметь: «Хватит!» Очень уж многое истреблено и разрушено. Если смотришь в одну сторону, многое остается незримым.

Не помню, от кого услышал это осторожное: «Дай, Боже, в добрый час сказать, а в лихую годину промолчать». Но пристало и затронуло оно больно каким-то моим подсознанием и даже интуицией о былом, болезненном и наболевшем. И подумалось вот что: случая, чтобы произнести то доброе, еще, кажется, не было.

Все, что нужно было сказать в молитве, он сказал в своем тосте. На это, к сожалению, никто не обратил внимания, многие даже не расслышали за гулом голосов и звоном посуды. Но человек высказался и, видно, ему теперь легко. Невысказанность — это тоже огромная тяжесть для человека.

Юмор рождается и так.

Утром во дворе встретил соседа, которого давненько не видел.

За это время он отрастил бороду — полное соответствие бороде Карла Маркса. Шучу:

— Ты уже под Маркса работаешь?

— Как видишь, — отвечает. — Вот только своего «Капитала» не имею. Кстати, не одолжишь пару тысяч? С пенсии отдам. Понимаешь, так голова трещит после вчерашнего.

Ну, конечно же, понимаю, а потому и даю. И мало надеюсь, что хоть когда-нибудь получу обратно. Счастливый, он берет курс на магазин. Оглянувшись, шутит еще раз:

— Теперь у меня будет полная «сердечная достаточность».

Симпатичная чернявая пионервожатая, от улыбки которой, казалось, все вокруг светлеет, довольно-таки настойчиво, заставляла нас, «молодых западников», вступать в комсомол, которого боялись, как черт ладана. Но вступали, не по одному даже, а всем классом. Красавица приглянулась многим местным кавалерам. Заглядывались на нее и мы, десятиклассники. Осенью я встречаю ее на своем факультете среди студентов. Я — первокурсник, она — второкурсница. А тут студенческая вечеринка собрала всех в одну компанию, просто в вестибюле общежития — танцы под гармонь да трубу. Я стою как приклеенный у стены среди тех, нерешительных, которых лишь самая смелая и догадливая танцорка, если повезет, может заметить. И вот подходит она и «отклеивает» меня от стены на танго. Ах, как тяжело быть с красавицей на равных. Вот где хмель да головокружение. Замирая, а то и кружась, мы что-то говорили. И хоть бы одно словечко отложилось в памяти.

Увел красавицу кто-то более ловкий. Таких на факультете было немало.

Половое воспитание, согласитесь, тема довольно деликатная. И мы всегда стараемся боязливо и смущенно ее обойти, выкрутиться как-то, зная и чув-

ствуя большую силу искушения и мощь того самого плотского греха. Поделюсь все же признанием одного из моих земляков:

— Ты же знаешь, что баб в моей жизни было не так и мало. Тут я, как говорится, не промах. Но подрос у меня мой молодой потомок. И, что ты думаешь, боится женского пола! Красивый парень, но не по-современному застенчивый. Так я завел его как-то к своей подружке и говорю: «Слушай, Галя, я оставлю его тебе на некоторое время, а ты, это самое, побалуйся с ним, по-вашему, по-женски. Ну, может, и не так, как со мной, но без этого самого домой не отпускай». И ты знаешь, все нормально. Сработало. «Телок» — теперь они так девчат называют — стал домой приводить.

Я ничего на это не сказал. Да и что было говорить? Хоть подумалось о многом.

Среди поэтов бывают талантливые пересмешники, имитаторы чужого голоса. Есть и среди художников умелые копировщики чужих задумок. Им даже удается кого-то очаровать и взволновать. Однако надо помнить, что каждая птица поет на свой лад. Воробей никогда не сможет петь «под соловья». Это умеют разве только черные дрозды.

Правду сказал как-то старому Антону его сосед, когда разговорились о детях:

— С этими обормотами лучше не задираться. Они любую штуку тебе отмочат. Мы с тобой такими в свое время не были.

О том, что каждое новое поколение «худшее» за предыдущее, люди знали давно. Но что от этого меняется?

Антон как раз и подставился, оттрепав за ухо соседнего малолетнего сорванца за то, что тот науськал на его кур свою рыжую собаку. Неизвестно, сколько сорванец думал, но месть Антону придумал неожиданную.

В тот день Антон испытывал в избе новую печь, которую только что сложил печник Новицкий. Работал он над печью довольно долго, все растягивал ту чарку, на которую хозяин, надо отдать ему должное, не скупился. Высокая лестница все еще стояла на крыше, возле самой трубы. И когда Антон с хозяйкой куда-то отлучились, обиженный «сорванец» сиганул на крышу и куском какого-то стекла прикрыл горловину трубы.

Назавтра утром жена Антона растопила печь и сразу зашлась криком, ибо весь дым повалил в хату. Забегал по хате разозленный Антон, чуть не с кулаками на жену накинулся:

— Иди, зови Новицкого, халтуру какую-то мне сделал, мать его!..

Прибежал взволнованный печник.

— Быть такого не может, все делал, как себе.

Заглянул в дымоход, покопался в лежаке. Все, кажется, в полном порядке. Полез на чердак и заглянул в дверцу стояка — тот просвечивался до неба.

— Такого у меня еще не было! — злился печник. А потом по лестнице взобрался на крышу и едва не грохнулся оттуда, зайдясь от хохота.

— Вот кто во всем виноват! — показал он Антону закопченное стекло. Дым сразу же ровненьким ручейком устремился в небо, а у Антона отлегло от сердца.

— То пойдем, пан Новицкий, чарку налью. А «школяру» тому... эх, я ему покажу.

«Школяра» Антон вычислил сразу.

На дачах в воскресные дни шумно. Закатав рукава и брючины, люди трудятся, машут топорами, стучат молотками. А в деревне моей тишина, отдых,

святая неделька. И мама выхватывает из моих рук молоток: «Ты что, люди засмеют. Это же грех...»

— Не делай ничего в воскресенье! — каждый раз говорю себе и сам себя не слушаю. И каждый раз получаю какое-то Божье наказание: то, поджигая мусор с помощью бензина, обожгу себе почти до инвалидности ногу и несколько месяцев буду лечиться и хромать, мучаясь от боли; то ветер занесет в глаз какую-то песчинку и заставит лететь на «скорой» в больницу; то тресну молотком по левому большому пальцу руки; то выскользнет из кармана и плюхнется в ведро с водой мобильник... Сколько же можно учиться на собственных грехах? Не так и много в нашей жизни святых неделек, чтобы брезговать ими.

Солнце всегда показывает путь к жизни, особенно солнце весеннее. А дождь всегда подталкивает к размышлениям о смысле жизни.

Сошлись как-то случайно, но живут душа в душу. Он сварщик, каких поискать, настоящий трудяга. Варит в основном трубы.

Купил старую «Волгу». Ездит редко: некуда. Машина стоит под окном. Как-то выпили с соседом. Маловато. Сосед: «Я сбегаю за добавкой!» А он: «Подожди, я машину заведу». Гастроном — через двор. «Что тут ехать, — говорит тот. — Я сбегаю». Нет, охота. «Подожди, поедем. А машина у меня зачем?» Сели — едут. Проехали метра два — гаишники выскакивают. Дали дохнуть в трубку, составили протокол. На два года прав лишили. Машину назавтра же продал. Купили два мобильника. Сядут с женой на скамейку перед домом и разговаривают друг с дружкой. Можно и так, как все остальные на скамейке, но ведь по мобильнику интереснее. Так и «прощебетали» всю старую «Волгу». Но зато интересно!..

Смотрю по БТ передачу о наших песенных белорусах в Сибири, где-то в Томской области. Девушка-красавица в национальном уборе так здорово «щебечет» по-белорусски, с каким-то даже мягким нежным припевом. Какая радостная печаль!

Маленький внук у моих знакомых дачников очень уж своевольный и непоседливый. Забот с ним немало. «Словно шило у него в одном месте, — злится даже бабуля. — Смотри за ним да смотри. А разве усмотришь?»

Ожидались «посиделки» всей большой семьи: с детьми, зятьями да внуками. И бабуля с утра готовила огромный таз свежего салата. Накрошила уже и помидор, и огурцов, и все это поставила на стол около крыльца. И пока осмотрелась, внучок присолил салат добрыми горстями «черной соли». Сыпанул обычного песка. Аж заплакала бабуля: «Ну, что ты с ним будешь делать?»

Пришлось отказаться от салата.

Середина марта. Еще ничего нигде не сеяно, а соседки уже молотят. Языками, конечно. За ними даже птиц не слышно.

Дочь с горечью о матери:

— Мама лежала в тесной, переполненной палате. У женщины, что рядом с ней — радикулит. И она мучается на раскладушке. Мама пожалела ее, уступила свою койку, а сама легла на раскладушку. Это же надо, такая доброта! Никто из более здоровых не додумался, не уступил, а она отдала. Женщина та, слава богу, живет и сейчас, а мамы давно уже нет.

Несвиж пригласил нас на городской праздник. День выдался ясный, с жарким солнцем, чистым голубым небом, только изредка — легким ветерком. День полноправно летний, июльский. Даже какая-то праздничная легкость ощущалась и в колесах нового «форда» моего друга. Знакомая, лесистая, да еще и с полевыми просветами волнистой ржи, дорога. Ведра с пламенем клубники на обочинах — тоже одна из веселых и праздничных примет нового лета.

Несвиж тонул в солнце и цветах, в громовой музыке, в густом и вкусном шашлычном дыму. Весело пенилось пиво, и по этой причине доставалось местному биотуалету. До нашего выступления оставалось еще немало времени, и женщина, местная учительница, вызвалась показать нам центр города, который я знал еще со времен далекой юности, а теперь не узнавал, так все в нем сильно изменилось. По-другому выглядела даже старая Слуцкая брама. Побывали мы и в знаменитом радзивилловском подвале. В холодных переходах жутковато смотрелись темные гробницы: большие и совсем маленькие. Из-под древних кирпичных стен дохнуло вдруг на нас величием и вечностью. И тут мне подумалось о том, что молодые мои коллеги уже вскружили себе головы, опьянели от Парижа. Можно было бы и позавидовать, читая их всхлипывающе-похвальные строки. А вот о Несвиже самые-самые строки где-то все еще пишутся. И хоть я уж ныне не так и молод, но в Париж мне все еще рановато. Ибо не надышался как следует своими Несвижем и Новогрудком. Впрочем можно захмелеть и Парижем, но сердцем и душой протрезветь тут, в Несвиже.

Свою самую первую шутку вспоминаю так:

Ночью из пущи возвращается отец: ездили за сеном, что заготовили еще летом.

Вскакиваю я с постели:

— А заячьего хлеба привез?

— А как же. Вот он! — вытаскивает с кармана кожуха тощенькую торбочку.

Хватаю в руку надломанную краюху и морщусь:

— А что, заяц тоже водку пил?..

— ?

— А что ж тогда хлеб водкой пахнет?..

Деду уже за девяносто, но еще на своих ногах держится. Пережил не одну бабу. Поживут с дедом — да и на тот свет отправляются. И вот «приклеилась» недавно к деду очередная молодка. Скорее всего, с расчетом: «А может, квартира неплохая в центре останется». Да не тут-то было. С сердечным приступом женщину недавно забрали на «скорой». А дед себе кормит на балконе голубей да кого-то из соседей просит принести ему бутылочку того самого подкрепляющего...

Когда был я молод, но уже имел в кармане писательский билет, то всеми правдами и неправдами старался летом свозить свою молодую семью на море. Выбивание путевки в южные дома творчества стоили нервов. Делили их за закрытыми дверями, все лучшее забирало себе начальство. Так что не стоит слишком уж хвалить то застойное время. В свои заявления мы «подливали» слез, писали, что сами больны и детей надо подлечить. Отбивались от нас обычно так: «Дали шесть путевок на июнь, несколько — на июль. Москва все себе забирает». Доля правды в этом была. Но какие-то путевки все же

выбивались. Иногда на четверых — две. Мало того, что тесная комнатка для четверых, так еще и две порции в столовой на четверых делить приходилось. Но ведь море... Перебивались как-то.

Известно, большому писательскому чину и уважение большее. Для них существовали шикарные люксы, а на семью давали иногда и по несколько комнат. «Значит, такой из тебя писатель!» — могла вполне справедливо сказать вам под злую руку жена или теща.

Ну а Москва удивлять умела. Выйдешь, бывало, на пляж, а там одни разнеженные, до черноты поджаренные на солнце тещи. Столичные светочи, если и появлялись, то почти все с молодыми женами.

Обращал на себя внимание один столичный классик при должности. Я узнал его сразу и тут же вспомнил, как он весело похрапывал в президиуме какого-то нашего съезда. После завтрака классик отправлялся на корт махать ракеткой. Его с молодой женой обычно провожала целая свита. Одни несли «доспехи», другие шли просто, чтобы отметиться и похлопать в ладоши, когда тот будет громить своего соперника. Была тут своеобразная задача удивить нас, рядовых тружеников пера из республик необъятного Союза. Чтобы мы смотрели и завидовали. Но мы умели и смеяться!

Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.

Окончание следует.





АНАСТАСИЯ КУЗЬМИЧЕВА

Удиви меня мечтою

* * *

Перечеркнутые ночью
Возвращаю в алфавит
Ненаписанные строчки
Нерассказанных обид.

Что кричать с надрывом в тучи
Одинокие слова
Лишь надеясь — станет лучше,
Прояснится голова.

Сколько сказано о боли
И кому нужна моя?
Вырвусь с визгом из бездолья
В рабство будней. Оп-ля-ля...

Перемешанные в масло
Дни на мысли — бутерброд.
Что кричать, когда все ясно,
Только кто меня поймет?

* * *

Я подпеваю снам твоим,
Которых ты не видишь даже...
Они, поверь, намного краше,
Чем будни в жизненной пыли.

Я верю, что тебе видна
И быть готова отраженьем
Твоим. Лишь не создай движеньем
Волну в стакане у окна...

* * *

Вспоминаю больницу, лица.
Вспоминаю следы беды.
Мне б навстречу тебе открыться,
Коридоры мечты — пусты.

Дверью стать. Ощущать лишь руки,
Отпирающие меня.
Нет печали тебе, разлуки,
Только листик календаря
На стене у двери больничной.
Ты не скоро сюда войдешь,
Но я жду тебя хаотично,
По привычке слушая дождь...

* * *

Перешли мне самолетом
Свой туман.
Я люблю, когда полеты
Вне ума.

Я сказала слишком много?
Не сердись!
Перечеркнутой дорогой
Станет жизнь
Лишь у тех, кто не умеет
Просто так
Отпустить любовь, как змея
Из бумаг...

* * *

Лишь шуршит листва
Под ногой.
Я, твои слова
Взяв с собой,
Ухожу одна.
Нелегко.
Только тень видна
Далеко.
Оглянуться ли
На порог?
Вырвусь из земли,
Как цветок,
Лишь весна придет.
Позовешь?
Песню нам споет
Тихий дождь.

* * *

Слушай все надрывы стука:
Дождь в стекло?
Ты меня впусти как друга,
Дай тепло.

Удиви меня мечтою,
А потом
Посиди чуть-чуть со мною
За столом.

Ухожу. Кусочек сердца
Оторви,
Чтобы я смогла согреться
И вдали...

* * *

За столом сижу. Не таю.
Выпит чай.
Вечер окна обнимает
Невзначай.
Только я замерзшим комом
У стола.
Умирают молча в горле
Все слова.
Я смотрю на стены жадно:
Ой, скорей
Ты меня улыбки жаром
Отогрей!





ЯН БАРЩЕВСКИЙ

Захариашек[1]

Крещенская история с крещенским рассказом

Основной проблемой в исследовании жизненного пути и наследия основателя новой белорусской литературы Яна Барщевского является крайняя фрагментарность сохранившихся сведений о нем. Почти полное отсутствие документальных данных о его детстве и юности до сих пор лишает исследователей возможности составить полноценную биографию писателя, а ограниченное количество сохранившихся произведений практически не позволяет сформировать ясное представление об эволюции его творчества.

В самом деле, нам известны его ранние стихотворения, написанные на белорусском языке и ставшие народными песнями: «Дзеванька», «Гарэліца» и «Рабункі мужыкоў», датируемые концом первого — началом второго десятилетия XIX в.; это, можно сказать, отправная точка творчества Барщевского. Имеются также его поздние стихотворения, баллады и поэма, написанные на польском, начиная со второй половины 1830-х гг. А что он создал в течение четверти века между этими произведениями — никто не знает! Еще более интригующая ситуация с прозой: перед нами лишь ее кульминация — «Деревянный старичок» (1842—1847 гг.) и «Шляхтич Завальня» (начат около 1842 г., полностью опубликован в 1846 г.), а также повесть «Душа не в своем теле», относящаяся уже к ее излету. Все это вполне зрелые произведения более или менее крупной формы. Может ли так статься, что Барщевским больше ничего создано не было? Сомнительно.

В связи с этим значительный интерес представляет текст, опубликованный польским литератором Юлианом Тувимом в антологии «Polska nowela fantastyczna» в 1949 г. В разделе книги, посвященном Яну Барщевскому, после главы из «Шляхтича Завальни» «Волосы, кричащие на голове» составитель поместил небольшой рассказ «Zachariaszek». Сборник неоднократно переиздавался в 1952, 1953, 1976 и 1983 гг., а указанный рассказ анализировался польскими исследователями в рамках всего творчества Барщевского в целом. В русле же белорусского литературоведения он до сих пор, насколько нам известно, не обсуждался и даже не упоминался.

По содержанию «Захариашек» относится к довольно популярному в XIX в. жанру крещенского рассказа. Короткие притчи с мистическим содержанием и нравственной направленностью были обычным развлечением в долгие зимние вечера, и многие писатели отдали дань историям об ангелах, чертях и призраках.

Кстати говоря, происхождение обсуждаемого рассказа тоже выглядит призрачным. Непонятно, когда он был написан и где впервые опубликован,

[1] Захариашек — уменьшительная форма имени Захариаш. В русском языке наиболее близкий эквивалент — Захарушка, Захарка. Этот рассказ публиковался в сборнике Юлиана Тувима «*Polska nowela fantastyczna*» в 1949, 1952, 1953, 1976 и 1983 гг. Первоисточник не выявлен.

в сборнике первоисточник не указан, а в библиографиях Эстрейхера и Корбута рассказ, к сожалению, не упомянут. Возможно, это фрагмент несохранившегося произведения Барщевского «Пан Тузальский», а может, это отдельный текст, предназначавшийся для одного из множества литературных журналов того времени, а то и для личных альбомов знакомых автора. Вопрос этот отнюдь не праздный: кто знает, не отыщутся ли в том же источнике еще какие-нибудь произведения Яна Барщевского?

Где же вы, домашние духи? Без предупреждений, без сожалений покинули вы пороги наших домов. Что всполошило вас? Яркий ли свет или излишне шумная жизнь наша? О, найдется еще и тень, и тишина! Вернитесь к нам, а коль не мил уж вам прежний кров, если вас навсегда, безвозвратно отделило от нас предначертание судьбы, о! тогда позвольте хоть в воспоминаниях погрустить о вас.

Случилось это в зимнюю пору в роскошном деревенском доме, ясным полуднем на святочный день. Возле мраморного столика сидела хозяйка дома, перед нею лежал раскрытый молитвенник «*Heroinq*»[1]. Неожиданно в комнате послышалось чье-то пение, тихое, приглушенное, исходило оно будто из ближней стены. Смутилась пани и поднялась с места. Комната быстро наполнилась слугами и челядью, все слушали, а голос пел так печально, так трогательно, что охвативший было всех испуг сменился каким-то невыразимым благостным чувством. Вдруг все стихло. Все были изумлены, но никто не усомнился в том, что это происходит наяву, ибо в те времена было больше чудес и веры. На другой день в ту же самую минуту вновь запел тот же голос, снова сбежались домашние, но уже не со страхом и трепетом, а с искренней радостью ловили каждую ноту той дивной, сладостной, таинственной мелодии. Присутствие множества людей, напев, выдающий чистоту чувств, а более всего уверенность в своих правах придали хозяйке дома смелости, она выступила вперед и сказала: «Всякое дыхание да хвалит Господа![2] Кто бы ты ни был, скажи, кто ты и чего тебе надобно?» Напев стих, зато послышался голос: «Я Захариаш, страждущая душа. За всю мою земную жизнь свершил я лишь одно-единственное доброе дело. Бог справедлив, дело это не может остаться без вознаграждения, за него получил я тут передышку, после которой отправлюсь на вечные муки».

Шли дни, недели и месяцы, и все это время в доме звучал тот же самый голос, тот же трепетный, печальный и скорбный напев. Порой в этом напеве можно было отчетливо различить слова; чаще всего голос начинал свою песню строкой из псалмов Давида «Хвали, душе моя, Господа»[3], когда же переходил к словам «Господи, всели мя в царство Твое», то никогда не заканчивал, лишь слышались плач и рыдания. Весть о страждущей душе разошлась по всей околице, со всех сторон стали приходить туда люди, а домашние так привыкли к песне страдальца, что звали его уж не Захариашем, а Захариашком. Вскоре стал он кем-то вроде духа-покровителя, ибо

---

[1] Молитвенник «Heroina chrzescianska Swiątobliwemi Aktámi, y wdźięczną rozmáitośćią Modlitw nayprzednieyszych uzbroiona», составленный Лукашем Рудольфом Поллачем, впервые был опубликован в Ченстохове в 1707 г. и впоследствии многократно переиздавался.

[2] Псалом 150.

[3] Псалом 145.

не раз случалось, что в каком-нибудь тяжком злоключении давал спасительный совет или наставление, предсказывал будущее и открывал тайны. Поэтому все обращались к Захариашку. Как-то раз одна богатая женщина, живущая неподалеку, потеряла очень ценную вещь. Приехала она в эту усадьбу и, когда ей указали стену, в которой пребывал дух, подошла к ней и по простоте душевной сказала так: «Мой Захариашек, ежели моя пропажа отыщется, я тебе за то справлю красивый наряд». Захариаш на это отвечал: «Моя благородная пани, скорей тебе пристало торговать яйцами, нежели духов в одежду обряжать; ибо сколь ни мало игольное ушко, но я еще меньше места занимаю».

Долго еще слышен был временами голос Захариаша; он надеялся обрести в этом уголке блаженный покой, утешаясь печальным мелодичным напевом и набожными размышлениями. Так и продолжал он петь, только напев его становился с каждым разом все тише, все печальнее и тоскливее. Песня часто прерывалась, все реже слышались чистые и торжественные ноты, вместо того — плач и рыдание.

Однажды в самый полдень, вновь зимней порою, в сильную метель к крыльцу подъехала черная карета, запряженная четверкой вороных коней и с кучером в черной ливрее. Из нее вышел одетый в черное человек. Хозяйка вышла встретить гостя. Войдя в дом, незнакомец спросил: «Не здесь ли находится Захариаш?» — «Да, здесь, — отвечала, смутившись, пани и, будто в предчувствии беды, добавила по доброте сердца, — но он не приносит нам никакого вреда». Вдруг послышался напев, но такой скорбный и трогательный, какого еще не слыхали. Незнакомец подошел к стене и произнес: «Захариаш! Выходи!» Песня смолкла, настала гробовая тишина, все оцепенели от испуга. Незнакомец подошел ближе, снял с пальца перстень, приложил его к стене и позвал во второй раз: «Захариаш! Выходи!» Послышался тихий дрожащий голос, а потом плач и рыдания. Тогда тот таинственный человек повернул перстень, открыл его и, вновь приложив к стене, воскликнул в третий раз: «Захариаш! Выходи!» Голос сразу смолк, лишь послышался мучительный стон, настолько ужасающий, что все исполнились страха, вновь настала тишина. Незнакомец замкнул перстень, надел его на палец, поклонился и вышел. Некоторое время все стояли остолбеневшие, потом в тревоге бросились к окнам, но карета уже исчезла. Шум вьюги слышался еще долго, но напев стих навсегда.

Перевод с польского и предисловие
Дмитрия ВИНОХОДОВА.





ЖАН Д'ОРМЕССОН

Бал на похоронах[*]

Роман

...Прошло еще несколько человек, которых я не знал или не узнал; среди них — две молодые девушки с плоскими лицами азиатского типа. Подошла очередь Виктора Лацло. По своему обыкновению он паясничал, — возможно, чтобы скрыть скуку, равнодушие или, наоборот, волнение и неловкость от того, что находился не в своей обычной среде. Раскачиваясь наподобие танцующего медведя и размахивая своей розой прямо под носом у Ле Кименека, находившегося рядом, он громко декламировал обрывки стихотворных строк, якобы соответствующих ситуации:

Rose, reiner Widerspruch...
И роза жила — сколько розы живут...
...Жив ты иль мертв — пусть тело станет розой...

Die Rose ist ohne Warum; sie bluhet weil sie bluhet,
Sie ach't nicht ihrer selbst, fragt nicht ob man sie siehet...
Фиолетовая роза — о, цветок святой Гудулы...

Падайте, белые розы! Вы — насмешка над богом,
Белые призраки, падайте — с этого неба в огне...

...Из каски военной царицы-ребенка,
Тебя представляя, посыплются розы...

При этом он тряс пальцами над землей, изображая ливень из роз. Еще тогда, до похорон, когда я разговаривал с ним на почти пустом кладбище, он показался мне каким-то возбужденным и даже странным. И тут мне пришло в голову, что он... да попросту накачан наркотиками! На своих лекциях он часто цитировал слова Флобера о литературном творчестве: «Надо уметь вскружить самому себе голову». Вероятно, он и проделывал это каждое утро при помощи амфитаминов или коки. Он успел уже подцепить какую-то девицу: было непонятно, пришла ли она на похороны Ромена или оказалась на кладбище случайно, с зелеными волосами, подстриженными под щетку, и синим камешком-пирсингом на подбородке. Он прижимал ее к себе и тащил, нашептывая что-то на ухо, чего ей по большей части было не понять: она то гоготала с рассеянным видом, то спохватывалась и растерянно озиралась. Они держались за руки и вдвоем бросили одну розу в могилу Ромена. Проходя мимо, Лацло шепнул мне:

— Вы же знаете, дорогой друг, что такая парочка понравилась бы Ромену больше, чем вся эта чудная публика...

---

[*]Окончание. Начало в № 1, 2, 2014 г.

И, изящно повернувшись на каблуках, он широким жестом как бы отмел от себя всю эту толпу. Я не мог позволить одурманенному специалисту по мифологии в его бредовой мании величия поминать всуе Ромена.

— О! Вот в этом я совершенно не уверен, — ответил я ему. — Вы прекрасно знаете, что Ромен был непредсказуем.

Подошел Ле Кименек с женой, которая только что присоединилась к нему... Он женился на Элизабет через несколько месяцев после их первой встречи на Патмосе. Она играла на скрипке. Он писал книги. Она жила в Париже. Он ездил по миру, чтобы отвлечься от своего успеха. Дело в том, что Гонкуровская премия свалилась на него как снег на голову, когда он читал курс лекций по истории средневековья в Монпелье. Свалилась как манна небесная и как катастрофа. Скромная сумма этой премии со всеми ее последствиями перевернула всю его жизнь.

Ни одна другая страна в целом мире не чтит так своих литераторов, как Франция. В США, Китае, арабском мире, в Германии или Швейцарии писательство — это профессия; писателей мало кто знает... Во Франции писатель — это священнический сан, овеянный легендами и мифами. Это, пожалуй, все, что осталось от французского господства в области культуры... То, что написано у нас за последние полвека, — часто выглядит вполне достойно и общую картину не портит. Но за границей престиж французской книги упал. При этом всякий наш писатель блистает — в сознании самих французов — негаснущей славой Вольтера и Гюго... Толпы поклонников жаждут общения с ними, словно они пророки, знающие больше, чем простые смертные.

На самые разные темы: от межконтинентальных ракет до иранской революции, от падения коммунизма до бог знает чего еще, не говоря уж о грамматике, экзаменах на бакалавра, эволюции нравов, об исчезновении из современной жизни философов, историков, об абонентах телеэкранов и подписях под различными петициями — вездесущие СМИ допрашивали Ле Кименека обо всем, и таким образом его борода и очки оказались у всех на виду. Когда он шел по улице, прохожие оборачивались на него: изумление и восхищение читались на их лицах. У нас были Пиаф, Морис Шевалье, Сердан, генерал Де Голль, Бардо, Бобе, Депардье и Денев. Еще Сартр. И теперь вот — Ле Кименек.

Эта слава, вернее, известность, была ему в тягость. Сначала это было счастье, но потом вдруг — тяжкий груз. Он ждал ее, надеялся на нее, — и вот она стала для него страшной обузой. Он считал, что приобрел известность незаконно. Прежде всего потому, что сам сомневался в себе. По вине Гонкуровской премии он теперь жил больше в чужих умах, чем просто жил своей жизнью, и больше — за счет своей репутации, чем за счет реальной убежденности в своих заслугах. Самое лучшее и сильное в нем — это, конечно, его критический ум, к тому же развитый образованием и самим укладом жизни Школы на улице Ульм. И потому в конце концов он сам себе стал казаться лжецом.

Теперь он с тоской вспоминал, как тогда, в первый понедельник ноября, ждал телефонного звонка, который должен был принести ему облегчение определенности — вердикт десяти членов Гонкуровской комиссии... Их авторитет литературных арбитров намного обгонял авторитет их соперников — обветшалых, хоть и покрытых золотым шитьем, — с набережной Конти [речь идет о Французской Академии. — *Прим. перев.*]: это в противовес им и собрал своих сторонников Эдмон Гонкур в память о своем брате Жюле, которым никто не желал тогда заниматься в парижских редакциях. Гонкуровцы были не менее могущественны, чем Десять Жрецов вышеупомянутой Величайшей, и внушали не меньший страх.

Дрожа, как школьники в ожидании своих оценок, Ле Кименек и его коллеги по несчастью ожидали их приговора с тем же лихорадочным

нетерпением, как гангстер перед судом присяжных, как больной перед врачом, изучающим его рентгеновский снимок, как задолжавший биржевой игрок перед объявлением курса. Это ожидание, подпитываемое слухами, витавшими в издательстве и прессе, становилось уже нестерпимым.

Мы, Ромен и я, завтракали с Ле Кименеком, помню, накануне присуждения премии на втором этаже «Флоры» в Сен-Жермен-де-Пре.

Французские писатели всегда любили собираться вместе, чтобы поговорить о том, что их интересовало. Так, Лафонтен, Мольер, Буало и Расин, в году 1660-м, отправлялись пропустить рюмочку куда-нибудь вроде «Белого барана» или «Соснового яблока» на гору Сен-Женевьев... Сюрреализм у своих истоков был представлен группой писателей и художников, собиравшихся в «Сирано» или где-нибудь еще. Но после смерти Сартра не стало в Париже литературных кафе; еще раньше исчезли литературные школы, объединения, кружки, салоны. Только ритуал «завтраков» еще был жив в среде писателей и издателей, как, впрочем, в банковских и деловых кругах, в кругах высокой моды, кино, прессы, — в общем, как и везде. Парижская литературная жизнь, которая прежде бурлила в салонах «жеманниц», на светских обедах... это оживление, которое присутствовало даже в пристойных и лицемерных собраниях академиков и шумело в подвальчиках и модных кафе Сен-Жермен-де-Пре, теперь свелось к скучноватым завтракам где-нибудь в районе между бульваром Сен-Мишель, Сен-Жермен и Сеной. Просто созваниваются, встречаются и завтракают вместе — вот и все, что осталось от прежних литературных ритуалов. Лишившиеся какой бы то ни было доктрины или идеологии, литераторы конца века являют собой одиночек, которые общаются с большим миром только посредством завтраков в собственном узком кругу на маленьком городском пятачке, который знают как свои пять пальцев.

Ле Кименек в тот день с трудом скрывал нервозность.

— Ну, как дела? — спрашивал у него Ромен.

— Я скажу тебе завтра, — отвечал кандидат Л.-Ф.-Г.

Есть писатели, имена которых все знают: Виктор Гюго или Марсель Пруст, Редиард Киплинг, Жюль Верн, Оскар Уайльд. Имена других писателей часто опускают или не знают: Арагон, Ионеско, и даже Сен-Симон и Монтескье. Еще со школьных времен Ле Кименек, чье полное имя было Луи-Фредерик Гийом, с удовольствием от этого имени отказался. Когда же все-таки приходилось его употреблять, он его сокращал до этого самого Л.-Ф. Г. Пресса, которая всегда обожала всяческие аббревиатуры, осталась верна себе и жадно набросилась на это «Л.-Ф.-Г.».

— Тебе это так важно? — вопрошал Ромен.

— Эта премия меняет всю твою жизнь, — отвечал Л.-Ф.-Г. — Назавтра ты просыпаешься богатым и знаменитым.

— Но тебе же на это наплевать, — убеждал Ромен. — Ты же пишешь не для этого.

— Мне наплевать... конечно, мне наплевать... — бормотал Ле Кименек со смешной гримасой, — но лучше бы все-таки ее получить...

Следующий день стал для него самым ужасным: он колебался между надеждой и сомнением, вздрагивал от каждого звонка, на грани сердечного приступа, не мог ни за что взяться и мог только ждать... презирая себя за слабость и будучи не в состоянии ее преодолеть... В довершение ему из окна были видны орудия пытки, которые только подливали масла в огонь: это автобусы радио и телевидения, припарковавшиеся у самых его дверей.

— Когда ты услышишь, что они отъезжают, — говорил он жене, опуская занавеску, — это будет означать, что Гонкуровская премия присуждена другому.

Ле Кименек, при некоторой ограниченности, все же не был идиотом. Он прекрасно понимал, что стал игрушкой в руках могущественных сил, намного превосходящих его.

— Да, — говорил он, — непростое дело эта литературная стратегия.

В прежние времена под словом «литература» понимались литературные произведения. Сейчас это скорее литературная политика, проводимая литературными властями. В какой-то мере литература и сейчас связана с талантом, но более чем когда-либо втянута в сложную игру различных общественных структур. Непосредственная связь «автор — читатель» погребена под ворохом каких-то посторонних связей. Просто удовольствие, которое можно получить от чтения, уже не в счет... Как и все другие премии, Гонкуровская присуждается не только авторам, но и издателям. Поэтому требуется соблюдать равновесие между этими сторонами, а следовательно, выдвигаются альтернативы, обсуждаются варианты обменов. Литература ныне в меньшей степени искусство и в большей — биржа, на которой идет обмен акциями...

В тот ноябрьский понедельник дождь лил как из ведра. Когда в доме Ле Кименеков, раздавленных ожиданием, зазвонил телефон, Л.-Ф.-Г., питавшийся лишь малыми крохами надежды, в самом прямом смысле, не нашел в себе силы поднять трубку. Он посмотрел на жену. Она сжалилась над ним и подошла к телефону. Мгновение слушала и потом пробормотала:

— А-а, хорошо... спасибо...

Она повернулась к нему и крикнула:

— Есть! Ты ее получил!

Он бросился к ней. Обнял. Счастье переполняло его. Секундой позже телефон уже разрывался, в дверь звонили, объявился издатель, телевидение и радио приступили к трехнедельной эксплуатации своей покорной жертвы. Итак, чистое счастье длилось пятнадцать секунд. Счастливое волнение растянулось на два месяца...

Успех может быть не менее драматичен, чем поражение. Постепенно сквозь счастье стала опять просачиваться тревога — другая, но еще более жестокая, чем предыдущая. Ле Кименек вспоминал, какие аргументы он использовал, чтобы утолить свою первую тревогу. Мол, все эти премии — лишь лотерея; это игра случая и различных комбинаций; они никогда не увенчивают тех, кто их на самом деле достоин. Но эти доводы, которыми он утешал себя на случай неудачи, обернулись против него же в ситуации успеха. Он был достаточно уверен в своем таланте, чтобы презреть неудачу, и он был недостаточно уверен в нем, чтобы пережить удачу...

По мере того как росло число продаж его книги, росло и его беспокойство. Когда тираж перевалил за пятьсот тысяч и дошел до шестисот, Л.-Ф.-Г. впал в панику. Он точно знал теперь, что никогда, вообще никогда больше, не достигнет такого успеха. Он чувствовал, что этот триумф опустошил его: никогда не сможет он больше писать, и в будущем, омраченном его нынешним успехом, он не видел ничего...

Когда Ромен и я случайно встретили его на улице Сен-Пер через месяцев пять-шесть после получения им премии, от него осталась лишь тень того, каким он был в те благословенные времена, когда слава еще обходила его стороной.

— Осточертело! — сказал он нам. — Мне все осточертело!

И он обхватил лысеющую голову руками, жестом, модным тогда, у молодежи особенно.

— Что именно? — вопросил Ромен, как всегда жестокий. — Ты хотел премию — ты ее получил. И ее «пятьдесят франков» нарожали тебе малышей. Эти шестьсот тысяч экземпляров сделали тебя богатым и знаменитым. Ты этого хотел, я полагаю. На что ты теперь жалуешься?

Он жаловался на все. Он не выносил отблесков славы, излучаемых на него газетами и телевидением. Он не мог слышать собственного имени, повторяемого на всех углах. Но... он не вынес бы также, если бы о нем говорить перестали...

Л.-Ф.-Г. понял, что включился в нескончаемый кросс, где невозможно отличить успех от провала и где болезни и лекарства от них были ему равно ненавистны...

Ромен гнул свое:

— «Ты этого хотел, Данден!» [крылатое выражение из пьесы Мольера. — *Прим. перев.*]. Подумай лучше о тех, кто страдает от того, что не получил премию. Подумай о всех тех, кто хотел бы быть на твоем месте. А если тебе в самом деле плохо, живи так, как будто весь этот цирк вообще для тебя не существует. Отдай эти деньги бедным. Запрись дома и пиши. А если не можешь писать, делай, что можешь. И старайся, по старой поговорке, хотеть того, что имеешь. Л.-Ф.-Г. с болезненным видом качал головой:

— Это не так легко, как ты думаешь. Все гораздо сложнее. Ты слышал о законах Паркинсона?

Конечно, Ромен слышал о них: количество работы остается тем же, а персонал, ее выполняющий, увеличивается ежегодно на два процента...

— Вот именно, — сказал Ле Кименек. — А есть еще «принцип Петера»: каждый индивид стремится занять уровень своей максимальной некомпетентности. На нем строятся все органы управления всех общественных и частных структур и прямо-таки мистические карьеры наших политиков. Мне кажется, что со мной произошло что-то в этом роде.

Эти бесконечные разговоры в конце концов начали меня раздражать.

— Слушай, — однажды резко оборвал я его, — я начинаю думать, что тебе доставляет удовольствие мучить себя, ты раздуваешь из мухи слона и Гонкуровская премия здесь ни при чем...

— Ни при чем! — взорвался он. — Ничего себе «ни при чем»! Мало того, что она обнаружила всю мою несостоятельность. На ней построено — камень за камнем — все мое несчастье. Я хотел иметь ее — это правда. Но теперь я жалею, что получил ее.

— А как же слава? — поддел его Ромен.

— Честно говоря, — ответил тот, — славы мне жалко.

— Ага! — пробормотал я. — Это как у святой... святой...

— Что ты там бормочешь? — спросил Ромен.

— Да нет... ничего... — отнекивался я.

— Так о ком ты все-таки говоришь?

— О святой Терезе Авильской...

— И что?

— Это она оплакивала свои мольбы, — когда они осуществлялись...

...Подошла очередь Жерара. Он прошел мимо нас, и я посмотрел ему вслед...

Нельзя судить людей, потому что их, в сущности, не знаешь... Взять хотя бы Жерара. Он совершенно несносен. Но насколько верно наше мнение о нем? Жерар всегда раздражал меня и Ромена своей тягой к публичности и страстной любовью к масс-медиа. Хуже того: вся его жизнь рассчитана, заранее составлена, подчинена заданной программе с маниакальной тщательностью...

— Человек, который слепо следует моде, — говорил мне Ромен, — чье имя не сходит со страниц газет, а лицо — с экранов телевизоров, кто дружит со всеми и оказывается везде, где должен быть, кто постоянно

планирует свое будущее, — такой человек не может быть хорошим. С ним не пойдешь охотиться на тигра...

Снисходительность явно не была в числе добродетелей Ромена. Ему нравилось иметь врагов даже среди друзей. Составив себе определенное мнение о Жераре, Ромен никогда не менял его и осудил приятеля раз и навсегда.

— У меня много друзей, которых я не люблю, — объяснял он мне, — но этого я просто не терплю.

Я же был к Жерару более благосклонен. Презирать его — это было уже слишком. Может быть, он просто чувствовал себя потерянным в этом мире, и потому так старался не отстать от него? Среди стольких людей, которые действительно заслуживают недоверия и презрения, за что было так уж презирать этого парня, если он был повинен только в смешных слабостях? И кто их не имеет? Но Ромен обладал искусством находить себе объекты для критики. Его выбор пал на Жерара, и он вгрызался в него с аппетитом людоеда.

...Рука за рукой бросали розы на гроб Ромена. Поток не иссякал. Каждый из пришедших напоминал мне какой-нибудь совместный эпизод нашей жизни. Путешествия, страны, завтраки, любовь, ненависть, бесконечные споры, достойные или постыдные ситуации. Воспоминания отсылали меня в более или менее далекое прошлое. Действующие лица были те же — и уже другие. Прошло время, и лица, фигуры, речь, походка, манера держаться сильно изменились. Тайна жизни и времени хорошо поработала над нами. Но есть еще и тайна индивидуального сознания, и потому каждая жизнь — отдельная тайна... Ведь никто не может знать наверняка (разве что произвольно реконструировать) намерения людей, мотивы их поступков, неведомые пути души. Они не открыты никому, может быть даже своим «владельцам». Эти тайны нашего бессознательного — область, доступная только Всемогущему Создателю, провидцу наших сердец, и Его Страшному Суду...

Дальше, там, где очередь заворачивалась, я увидел Марину, опиравшуюся на дочь. Еще много народа отделяло ее от меня: несколько расстроенных молодых женщин, подозрительные адвокаты, какие-то гомосексуалисты, финансовые советники, работники радио, отставные политики, монахиня под покрывалом... Я вдруг почувствовал сильную усталость. Вообще-то я люблю поспать, но вот уже несколько ночей спал плохо. Вероятно, из-за этого мир стал восприниматься мною как-то иначе... как каким-нибудь циклотимиком... И Ромена уже не было со мной, чтобы вдохнуть в меня частицу своего оптимизма...

...В сущности, к чему сейчас вся эта комедия?.. Человек рождается, страдает (или бывает счастлив), смотрит на мир, мечтает, умирает. Все остальное — притворство, церемония, дань общественным условностям. И все же давление общества на личность постоянно усиливается. Напрасно мы воображаем, что все время движемся вперед, туда, где больше разума, свободы, и называем «прогрессом» некоторое увеличение наших знаний. На нас все так же давят предрассудки, мы лишь льстим себе мыслью, что все они остались позади...

...Мне вдруг пронзила мозг мысль, что эта толпа — тоже проявление общественного груза и что я оказал ею плохую услугу Ромену. Ему не нужна эта толпа возле его гроба. Нужно было выбрать главное и отбросить ненужное; похоронить его впятером или вшестером: Марго, Бешир, Марина, Швейцеры, Казотт, Далла Порта... исключить всех прочих и отправиться куда-нибудь выпить — в память о нем — за жизнь... Мы предали его во всех смыслах: нас было слишком много; мы плакали вместо того, чтобы

радоваться жизни, как он этого бы хотел; мы соблюдали ритуалы, которые он всегда отвергал, а мы ему их навязали...

Очень трудно быть свободным! А вот Ромен таковым был... И в последний момент мы его все-таки настигли. Жить — значит зависеть от других. Он всегда старался забыть об этом. Мы напомнили ему об этом своими розами...

Каждый из нас пленник своей семьи, среды, профессии, своего времени. Нашему поколению достался один из самых темных периодов истории. Он начался войной 1914-го и закончился только падением Берлинской стены в 1989 году. Ему предстояло длиться три четверти века. Три четверти века насилия, лжи, ненависти, преступлений. Три четверти века, в течение которых многие из тех, кто мог служить правде и справедливости, оказались слепыми служителями мертвых соперничающих идеологий... Три четверти века служения — в той или иной форме — интеллектуальной лжи...

Парадокс: в эпоху объявленного торжества разума и пацифистского гуманизма (в наиболее просвещенных умах) катастрофы в ускоренном темпе следуют одна за другой. Это Первая мировая война, развязанная по таким мотивам, которые по прошествии времени кажутся пустячными до невероятия; через десяток лет — экономический кризис и «великая депрессия»; еще через несколько лет — подъем волны национал-социализма; затем один монстр был сражен другим монстром; потом сорок лет ядерных угроз, холодной войны, которая в любой момент могла обернуться открытым столкновением. Самое парадоксальное то, что в предсказанном (или уже совершающемся) Апокалипсисе звучат ангельские мотивы: никакое другое время не знало столько умиротворяющих лозунгов, нравственных принципов, благих намерений и стольких потоков крови...

Как все люди этой эпохи, Ромен жил среди крови. Нас омывали реки боли. Это был пир убийц. Литература, театр, кино, живопись, философия — сам воздух времени был окрашен в красное и черное. Две мировые войны, концентрационные лагеря, холокост, узаконенные пытки, взятие заложников, ставшие обычным делом насилие и шантаж, государственный террор и террор против государства — все это оставило след в каждом из нас. Сам воздух времени был тяжел. И нужно было оставаться хозяином самого себя, чтобы остаться свободным. Чтобы не растерять радость. Ромен это умел...

Но вот катастрофы ушли в прошлое, зато остались воспоминания, шлейф ужасов, запах тоски. Вопреки прогрессу науки (или, наоборот, из-за него), несмотря на возросший уровень жизни (но по-прежнему неравный), на протяжении уже некоторого времени в нашей цивилизации ощущается что-то болезненное...

В то утро у могилы Ромена можно было, конечно, отнести это ощущение болезненности не к нашему времени как таковому, а к смерти, к человеческой жизни вообще. Мол, всегда было принято жаловаться на свое время, сравнивая его с предыдущими временами... Впрочем, в окружающей толпе были свои причины для болезненности и беспокойства, свойственные только нашему времени. Любую нашу попытку почувствовать себя счастливыми подтачивает скрытое зло. Неосознанно все те, кто сейчас бросает цветок на тело Ромена, болеют одним страхом перед будущим. Прогресс оборачивается к нам своей теневой стороной...

Мы становимся, с одной стороны, все более могущественными. С другой стороны, мы все больше не доверяем своему могуществу. Сегодня небо, грозящее упасть нам на голову, произведено на наших собственных заводах...

И здесь я опять подумал о Ромене, профессиональном эгоисте, убежденном ретрограде, стороннике воздержания, окрашенного решимостью, «пофигизмом» и мудростью: он сочетал в себе сиюминутный пессимизм

с каким-то всеобъемлющим оптимизмом, даже странным в этом противнике всякого духовного начала, верившем только в природу:

— Не вторгайтесь в жизнь! — восклицал он. — Прекратите «развиваться»! Прекратите «информироваться»!

Я доказывал ему, что его «программа» реакционна. Он только смеялся в ответ. Я убеждал его, что будущее представляет интерес хотя бы потому, что нам предстоит провести в нем остаток нашей жизни. Он смотрел на меня с сожалением:

— Меня интересует только настоящее. Мы живем всегда в настоящем.

Немного лукавя, я переводил разговор на науку и ее потрясающие открытия, о которых нам рассказывали Казотт и Далла Порта. Я говорил ему, что история неостановима, что она движется с нарастающей сложностью, которая неизвестно к чему приведет, и что поэтому все труднее предвидеть ее последствия, благотворные или гибельные...

— Это взбесился прогресс, — шутил он, пожимая плечами.

— Но ты же как все, — возражал ему я. — Ведь ты не пренебрегаешь прогрессом: ездишь в автомобиле, летаешь самолетом, звонишь по телефону, лечишься...

— Ну не очень-то... — уточнял он.

— Пусть не очень, но все-таки... Ты садишься в поезд, ты пользуешься теплом... Ты осуждаешь то, что тебе служит.

— Да, оно мне служит. Оно мне служит, но не я ему...

Он не служил никому и ничему. Он старался быть свободным. И он умел быть счастливым...

...Еще одна молодая женщина подошла с розой к могиле. Это была венецианка, которая приобрела известность благодаря своей любовной мести. Она была в свое время любовницей одного из тех итальянцев, которые презирают женщин под видом любви к ним и которые готовы пойти на что угодно, только чтобы о них говорили. Об этом итальянце рассказывали такую историю. Как-то раз в компании двух приятелей — из того же теста, что и он, — они втроем зашли в одну из венецианских кофеен, где блестящие автоматы выдают крохотные чашечки очень крепкого кофе. Один из них заказал кофе «крепкий» — stretto; другой, «повышая ставку», заказал «крепчайший» — strettissimo; тогда тот, чтобы не дай бог не уступить, усталым голосом объявил: «chuiso» — «закрыто»...

Он был на несколько лет моложе ее, и после двух-трех сезонов любви, заполненных различными бьеннале, фестивалями «Золотой лев» и прогулками на островах в рычащих мотоциклетах, сменил ее на молодую венгерскую актрису в духе сестер Габор, известных не столько своим талантом, сколько великолепной копной светлых волос.

Анна-Мария происходила из древнего патрицианского рода Бьянка-Капелло. Четыре века назад одна из этих Бьянка, пятнадцатилетняя девушка немыслимой красоты, стала тайной любовницей незнатного веницианца. Обманув бдительность родителей, она каждый вечер ходила на свидания, оставив приоткрытой дворцовую дверь, и рано утром незаметно возвращалась. Однажды ночью дверь оказалась случайно заперта парнишкой-слугой, который, также при полном неведении семейства Бьянка, возвращался от своей любовницы, местной швеи. Бьянка-Капелло колебалась недолго. Не имея возможности вернуться домой, она вернулась к любовнику и спросила его, действительно ли он ее любит. Получив ответ утвердительный, но несколько растерянный, она презрела все условности и даже серьезный риск, и бежала с ним во Флоренцию...

После целой череды авантюр — одна невероятнее другой — эта Бьянка-Капелло, которая не боялась самого черта и возвела в искусство любовную

и политическую интригу, стала любовницей великого герцога Тосканского, а затем его супругой. Монтень встречал ее во время своего путешествия по Италии и описал в своем «Журнале». Подвергшись нападкам своего деверя, кардинала Медичи, движимого страстью, в которой смешались любовь и ненависть, она решила его отравить. По несчастному стечению обстоятельств, ее муж появился на прекрасной вилле Анны-Марии Де Поджио у подножия Монте-Альбано в тот самый момент, когда она угощала кардинала отравленным пирогом, который втайне приготовила. Великий герцог возвращался с охоты, он был голоден и протянул руку за пирогом. Воспротивиться, остановить руку мужа — значило бы сразу себя выдать. Бьянка позволила ему взять пирог, со смехом взяла кусок сама... Супруги немедленно скончались в страшных мучениях, а кардинал Медичи занял трон Тосканского герцогства...

Тень этой прародительницы Бьянка-Капелло, столь быстрой в принятии решений, предстала перед посрамленной Анной-Марией. Я сейчас видел ее перед собой, такую нежную и сдержанную. Но люди поистине непредсказуемы: и мужчины, и, особенно, женщины, а итальянки, тем более. К тому же Венеция — это небольшой город, в котором под горячим солнцем на водах его каналов быстро закипают страсти.

Возможность отомстить была предоставлена ей театром «Феникс», который тогда еще не сгорел и блистал в центре Венеции сотнями огней своей рампы. В тот вечер там давали праздничное представление. Это не был ни Вивальди, ни Гольдони и ни Верди. Театр принимал китайскую оперу, в ней были положены на музыку приключения знаменитого Хьюан-Чанга.

В VI или VII веке — через тысячу лет после Будды и полтысячи лет после проникновения буддизма в Китай — Хьюан-Чанг был одним из тех китайцев-поклонников Будды, которые, презирая все опасности, преодолевали горы и пустыни, чтобы достигать совершенства на земле самого Будды в Индии. Это долгое паломничество, длившееся 10—12 лет, становилось важнейшей частью всей жизни. Пилигримы проходили через бесчисленные приключения, гибли от жары и холода, тонули в реках, встречали на своем пути монахов, бандитов, прекрасных принцесс и полчища обезьян. Они поклонялись зубам Просветленного — их было не менее сотни, рассеянных по разным местам, — и Его же волосам.

Уставшая от своих Карпаччо, Тьеполо и Палладио, от регат на Большом канале, от громовых балов в сотрясаемых ими дворцах, которые обожали устраивать богатые американки, помешанные на «старой Европе», Венеция вдруг вспомнила, что Китай ей уже почти близок благодаря тесту, митрам, пороху и сказкам (Золушка-то родом из Азии), и посредником между ними стал в свое время один из самых знаменитых венецианцев — Марко Поло. В общем, небольшой театрик, весь красно-золотой под великолепным голубым потолком, в тот вечер был полон.

Анна-Мария была знакома с режиссером театра «Феникс»: через него, под разными лукавыми предлогами, ей удалось заполучить место в зале как раз за тем креслом, которое тот самый ветреник абонировал для своей прекрасноволосой венгерки, которую он сам нежно держал за руку.

В самый патетический момент, когда Хьюан-Чанг попадает в руки жестоких приверженцев кровожадной богини Кали, Анна-Мария достала из сумки солидные ножницы, более напоминавшие секатор. Глаза всех зрителей в тот момент были устремлены на Учителя Закона. Окруженный бандитами, ждавшими с саблями в руках приказа своего главаря снести голову подвижнику, Хьюан-Чанг обратил свои помыслы к горе Сумеру и сумел-таки своим мужеством и мудростью обратить заблудших к великим постулатам Будды. В тот самый момент, когда бывшие бандиты склонились один за другим перед Хьюан-Чангом, покоренные силой его духа, Анна-Мария

в тишине крепко ухватила длинные белокурые волосы, свисавшие со спинки кресла перед ее глазами, и... как можно ближе к корням — темно-каштановым, как она сразу заметила, — она отхватила их ножницами!..

«Дело о стрижке» получило огласку в Венеции. Оно привело в восторг Ромена, и он постарался вернуть Анне-Марии — и с лихвой — ее угасавшую радость жизни...

...Вот и она бросила свою розу в его могилу.

Сестра в сером прошла мимо нас, склонив голову. Она слыла святой и была большой оригиналкой. Уж она-то разбиралась в розах и цветах, так как занималась тем, что дарила их «неприкасаемым», умиравшим в приютах для отверженных в Калькутте. Она делала это для тех, для кого ничего другого уже нельзя было сделать. Она не приносила им еду: они уже не могли есть; она не приносила им книги: они никогда их не читали. Она приносила им цветы — это живое чудо формы, цвета и аромата, как правило, бесполезное: их обычно приносят тем, кто не нуждается ни в чем, потому что имеет все. К возмущению тех, кто считал, что есть более насущные нужды, и к восхищению некоторых, она укрывала яркими ароматными цветами страдания и язвы тех, кто умирал в одиночестве, нисколько не сожалея о такой жизни. Она превращала в принцев тех бедолаг, которые никогда ничего не имели: в самый последний момент их жизни она возвращала им хотя бы немного их попранного достоинства, как застают на перроне вокзала или на подножке автобуса своего отбывающего друга, которому забыли сказать что-то очень важное...

...Ромен, когда он был проездом в Калькутте, где остановился в помпезном отеле с четырьмя ресторанами и шикарными бутиками, услышал о ней и заинтересовался. Однажды вечером, возвращаясь с ужина с хорошей выпивкой, проведенного с англичанами из Оксфорда и японцами, друзьями Мишимы, которые бойко цитировали Пруста по-французски, он наткнулся в холле отеля на что-то мягкое. Это была больная женщина. Настолько больная, что умерла прямо у него на руках. На следующий день он послал этой сестре сумму, которая позволяла скупить цветы во всех лавках города. С тех пор они и поддерживали отношения. У Ромена и сестры даже был свой ритуал: каждый раз, когда ей, всегда одетой в серое, строгой и энергичной, случалось проезжать через Париж, он обязательно приглашал ее на обед...

...За этой сестрой следовал назойливый тип, который долгое время преследовал Ромена своими предложениями услуг и просьбами. Он во что бы то ни стало хотел иметь с ним дело. Неважно какое. Это был сноб, любивший поговорить. В последний раз мы виделись с ним по случаю я уж не помню какой награды, которую он должен был передать Жерару. Он воспользовался этим случаем, чтобы произнести пышную речь, начав с дедушки, отца, дядей и теток Жерара, он упомянул затем все его публикации, вплоть до самых незначительных, и принялся перечислять мельчайшие детали его жизни, в сущности банальной... В общем, речи не было видно конца. Далла Порта, зевавший рядом со мной, с трудом скрывал нетерпение.

— О-ля-ля! — шепнул он мне.

— И я того же мнения, — ответил я ему.

Чтобы занять время, он рассказал мне о еще одной церемонии, но только совсем короткой. Леон Блюм должен был вручить почетный знак командора или высшего офицерства Почетного Легиона — Луи де Броглио (это ему Энштейн написал однажды: «Вы приподняли уголок великого занавеса...»). Блюм, похожий на длинную борзую, просто буркнул в адрес

отца квантовой механики, который рассеянно и скованно выглядывал из своего высокого жесткого воротника:

— Месье, вы принадлежите к семье, в которой талант передавался по наследству, пока не перешел в гениальность.

И прицепил ему галстук — или орденскую планку...

...Процессия продолжала двигаться. Большинство были католиками, но разными: среди них следует различать традиционных, обрядовых, убежденных и критично мыслящих; среди них встречаются также «гошисты» и «интегристы», а также «действующие» и «симпатизирующие». С ними смешались протестанты: лютеране и кальвинисты. Были и евреи: ашкенази или сефарды. Присутствовали и мусульмане: сунниты или шииты, несколько измаэлитов. Были атеисты, более или менее явные. И целая толпа «никаких», которые не знают, во что верят, и вообще не хотят задумываться над неразрешимыми проблемами. Нет ничего более зыбкого, чем те представления, которые создают себе люди о Вселенной и о собственном существовании в ней...

Мир быстро меняется. Я подумал о своих родителях и дедах, о предках Ромена, Марго ван Гулип или всех тех, кто проходил передо мной. Подобная церемония была бы невозможна три века назад, и даже двести или сто лет назад. Наша планета становится единообразной. Текучей. Все границы и барьеры размыты вместе с теми ценностями, которые они должны были охранять...

Широкие празднества, о которых мне рассказывали или я читал о них в книгах Морана, Пруста, Шатобриана или Сен-Симона, исчезли в пропастях памяти. Четкие представления о чем-либо обратились в пыль. Неторопливый и разнообразный мир лошадей с колясками, гувернеров и лакеев в ливрее, компаньонок и субреток в черном и белом, с передником на талии и кружевным чепчиком, придворных балов и псовых охот (я сам еще застал их конец) ушел в туманное небытие, которое мы называем прошлым. Туда же канули венецианские и генуэзские купцы, турниры, трубадуры, каменщики, возводившие соборы, аркебузы, весталки, древнеримские предсказатели и цирковые ристалища. Когда-нибудь и наш образ жизни, который кажется нам таким естественным и неизбежным, тоже исчезнет, как исчезли в свое время тоги, камзолы, любовные ухаживания или суждения о Боге: они покажутся устарелыми и абсурдными новым поколениям, исполненным вызова и веры в себя и уже заранее обреченным, в свою очередь, на осмеяние и забвение...

Эта карусель вращалась без остановок, и чем дальше, тем быстрее. Мир, в нашем субъективном сознании, — превращался в калейдоскоп...

Между тем, среди этого хаоса наших представлений о мире сам мир менялся мало. Пространство и время продолжали существовать как существовали. Все оставалось на своем месте: Солнце, Луна, море, горы, реки, очертания континентов, киты, пчелы, муравьи с их военной дисциплиной; человеческие страсти, вечные и преходящие: жажда власти, любовь к любви, любопытство самодостаточного разума. И было возможно и позволительно иной раз отвлечься от утомительных превратностей истории и найти себе убежище в том, что не менялось: в главном...

Что-то главное, что не меняется... Может быть, существует все же это главное, только мы не знаем где и как?..

...Что же все-таки неизменно? Ведь меняется все. Нет ничего под Солнцем, что не менялось бы. Да и само Солнце...

Начало философии, которое сразу же стало и философией Начала, заслуживает великого уважения за то, что сразу стало различать два Понятия: с одной стороны, это «изменчивое» и «преходящее», а с другой сторо-

ны — «неизменное» и «вечное». Метания человеческой мысли между временным и вечным, между множественностью творений и единством бытия воплотили собой два величайших философа: Гераклит и Парменид.

Что же длится и не проходит? Что не рождается, а следовательно, и не умирает?..

Вечное, которое не от мира сего, где ты есть? Это был именно тот вопрос, который Ромен опасался себе задавать. Определив себе место в самом «оке циклона», в самой горячей точке времени, которую мы называем «настоящим», он подсмеивался надо мной, когда я, рассуждая о том, что запредельно для человека, пытался прыгнуть выше головы.

Этот запретный вопрос мог предполагать два ответа. Один из них — Небытие. Был и другой ответ на вопрос о вечности. Это Время. Ромен, который всегда жил слишком нетерпеливо и не утруждал себя проблемами такого рода, объединил бы, возможно, без лишних рассуждений оба варианта. Время есть вечность по одну сторону жизни, а небытие тоже есть вечность — по другую ее сторону...

Дивно устроен человек. У могилы Ромена, среди всей этой круговерти воспоминаний о любовных связях Королевы Марго, ножницах Анны-Марии или преступлениях мафии я стоял и думал теперь о Времени.

Было ясно, что время объяснить невозможно. При мысли о том, что же это такое, начинала кружиться голова. Что это за штука, утекающая между пальцами, о которой ничего определенного нельзя сказать, но которая существует в самой сердцевине жизни, внутри каждого из нас? И все живущее во времени будет когда-нибудь из него изгнано...

А как мы любим это свое время! Неслучайно столько людей пришло к тебе, Ромен, с цветами: все они понимают, что ты умел быть хозяином времени, ты держал его в руках. Ты не занимался прошлым, и очень мало — будущим. Ты устроился в настоящем, как в завоеванной тобой стране, и ты делал его праздником. Ты был гением жизни, потому что побеждал время.

...Время — наша тюрьма. Мы украшаем ее занавесками на окнах или цветами на балконе, но не можем никуда выйти. И не потому что нас кто-то не пускает. Мы просто не можем... Вокруг этой тюрьмы простирается другой мир: враждебный и холодный, а может быть, и лучезарный, но никто этого не знает, потому что никто оттуда не возвращался. Некоторые из этой нашей тюрьмы сбежали, но не подали о себе никаких вестей. И мы тянем свое время как можем. Кто-то из нас — директор тюрьмы, кто-то тюремный священник или тюремный музыкант. Одни убирают в ней мусор, другие отдают приказы и бряцают ключами. Мы украшаем свою тюрьму и даже время от времени разоряем ее. Мы сочиняем правила, организуем праздники, держим собак, котов, красных рыбок, растим деревья, пишем стихи и рождественские сказки в учетной книге этого заведения. И строим много догадок о неизведанных краях, которые есть где-то там, за пределами тюрьмы. Ромен сейчас их исследует...

Жизнь, вообще, несправедлива. Место, которое занимал в ней Ромен, не соответствовало его талантам, деятельности и тем более — роли в истории. Он был очень талантлив, — но гораздо менее, чем огромное количество безвестных талантов, которые умирают в одиночестве, забытые всеми. Он оставил свой след в мире, но этот след незначителен в сравнении с теми художниками, музыкантами, политиками, учеными, философами, которые изменили наш взгляд на мир и саму нашу жизнь. Тогда что же в нем было такого, что столько людей оплакивает его? Кто может ответить?..

«Я просыпаюсь утром, — писал где-то Монтескье, — с тайной радостью. Я вижу свет и в восторге от этого. И потом весь день я доволен». Ромен тоже был доволен. В этом была его сила и его слабость. Он не сыграл великой роли в этом веке, который сейчас заканчивался. Этот век

с его массовыми убийствами, фальшивыми праздниками, последовательно сменяющимися болезнями, шантажом и заложниками, слишком большой любовью или слишком большой ненавистью к деньгам, с его чудовищными наклонностями, крахом всякой веры и надежды, с отвращением к искреннему смеху, но большим желанием высмеивать, с его колоссальным лицемерием, был, бесспорно, одним из самых зловещих за всю историю. Ромен не плыл в его потоке. Он плыл против течений своего века. И не столь важно, что он не отметил собой свою эпоху. Избегая моды как чумы, Ромен не подражал никому. И поэтому он был неподражаемым.

...В конце процессии, опираясь на свою дочь Изабель, приближалась Марина. Я давно ждал этого. Я хотел видеть, как она склонится над телом Ромена...

Честно говоря, в этот момент все это: великая депрессия, мафия и авантюры Марго ван Гулип, сталинградская битва и проблема времени — были мне глубоко безразличны. Дело в том, что я долго, более двадцати лет, в сущности делал только одно — любил Марину...

Нет, конечно, я занимался и другими делами. Ложную идею о любви преподносят нам книги, фильмы, театральные пьесы (ведь она главный «поставщик материала» для них): они описывают любовь как нечто заполняющее весь горизонт жизни и все поле деятельности тех, кого она поразила. Да, она заполняет горизонт, но не стирает его. Я не оставался в неподвижности, лелея в себе страсть, которая, надо признать, полностью захватила меня. Я ездил по миру, писал книги, выпускал газету, но земля для меня не перестала вращаться. Я жил той же жизнью, что и все, подчиненной своей эпохе и своей среде. Но при этом вся она была сосредоточена на Марине...

...Самый прекрасный сон когда-нибудь кончается. Мне нужно было продолжать учебу, Париж призывал нас, и мы все покинули Патмос, где под жарким солнцем и яркими ночными звездами я был так счастлив в компании с Роменом, Beширом и Мэг Эфтимиу. Мы расстались в зале аэропорта так, как это издавна заведено: пообещали друг другу обязательно встретиться. Затем Мэг с дочерью и Ромен сели в большой автомобиль, прибывший за ними, и каждый из нас пошел по жизни своим путем.

...Война уходила в прошлое. Была середина века, пятидесятые годы. Это было время Эйзенхауэра, триумфа Мао-Цзедуна, войны в Корее, смерти Сталина, прихода к власти Хрущева. В кино царили два Бергмана: Ингмар, подаривший нам «Улыбки летней ночи», «Седьмую печать» и «Земляничную поляну», и Ингрид, которая вышла замуж за Росселини после съемок «Stromboli». Во Франции всю театральную сцену заворожил Сартр. Я любил проехаться на автомобиле по холмистым селениям Тосканы и Умбрии, где парни в белых рубашках прогуливались по вечерам с девушками среди этрусских могил или вдоль сельских изгородей. Я поддерживал связь с Роменом. Он часто встречался с Мэг и рассказывал мне о ее американских приключениях; иногда он упоминал о ее маленькой дочери, которая так забавляла меня на террасе Патмоса: она учится читать, у нее выпал зуб, она пошла в школу, она учится ездить верхом со своим отцом, она начала танцевать. Я улыбался.

— А помнишь, — говорил я ему, — нашу первую встречу на террасе, зеленые домики Калимноса, забавные словечки Марины...

Конечно, он помнил.

— Она была чудесным ребенком...

— Да, — говорил Ромен, — чудесным. Как все дети. Интересно, какой она станет...

Мэг Эфтимиу была сильно влюблена в Ромена. Она была первой из известных мне женщин, на кого так действовали чары Ромена. При этом самой красивой и обаятельной. Все остальные, а их было немало, как правило, намного уступали ей. Он мало рассказывал мне об их отношениях. Тогда я еще был менее близок с ним, чем стал потом. Я припоминаю, что в начале наших отношений я даже задавался вопросом, не является ли он отцом Марины. Это было, конечно, глупо, так как она родилась до того, как Ромен первый раз встретился с ее матерью в Нью-Йорке. Я думаю, что Мэг очень хотелось выйти за него замуж, хотя он был значительно моложе ее. Да и сам Ромен, вероятно, вертел эту мысль и так и сяк в своем воображении. Но для него оказалось невозможным пожертвовать тем, что он ценил больше всего на свете, — своей свободой. Они страстно любили друг друга и не связали себя официальными узами; у каждого из них были свои бесчисленные любовные связи, но, покидая друг друга надолго, они никогда мысленно не расставались.

Ромен слишком тяготился любыми официальными церемониями, чтобы участвовать в обрядах, возглавляемых мэром, пастором, раввином или священником. В результате череды замужеств, все менее удачных, Мэг превратилась в Марго. Тед ван Гулип, последний из ее мужей, руководил в Нидерландах и Соединенных Штатах одним из влиятельных каналов телевидения и прессы, который мощно содействовал победе на выборах, с малым отрывом, Джона Кеннеди над Ричардом Никсоном в 1960-м году... В 1956-м году ему посчастливилось уцелеть в крушении лайнера «Андреа Дориа». Зато через лет двенадцать (и через четыре года после женитьбы на Мэг, которую он называл Марго) его личный самолет разбился во Флориде. Марго была в это время в Париже с Роменом.

Я в то время не слишком интересовался Мэг, чья жизнь постепенно двигалась к «периоду Марго», и ее дочерью Мариной тоже. Можно сказать, что их почти не было в моей жизни, ни одной, ни другой. Девочка была пристроена матерью в какую-то швейцарскую школу, возможно, в Розе или Монтессано. Рассказывали, что какой-то журналист или американский банкир на одном из обедов спросил Марго, где учится ее дочь, и нежная мамаша не смогла ответить: она сама толком не помнила, куда ее сплавила. Так что, боюсь, мать не перегружала себя заботами о дочери... Я же в это время работал, катался на лыжах, несколько раз путешествовал по Азии с Роменом. Лишь изредка в разговорах мелькал блистательный и несколько таинственный силуэт нашей хозяйки с Патмоса.

Прошлая жизнь в нашем собственном представлении вовсе не подобна банку данных в компьютере. Это скорее игра зеркал, в которых мы представляем или реконструируем образы такими, какими они нам помнятся.

Сейчас, у могилы Ромена, в моих ушах еще отчетливо звучал его голос. Всякий раз, когда во мне возникало то далекое воспоминание о Патмосе, оно, в свою очередь, вызывало во мне образ Марины-ребенка. Я не видел ее уже столько лет, и мне трудно было представить, слушая Ромена, образ молодой девушки и черты ее лица, измененные временем, более могущественным, чем наше воображение...

...И вот однажды я опять увидел Марину. Она была той же и, конечно, другой. Это было немного до или немного после, точно не помню, событий 68-го года. Возможно, в «Одеоне» или в «Старой голубятне», во всяком случае, в театре. Тогда, кажется, генерал Де Голль был еще у власти. Ей было лет девятнадцать — теперешний возраст ее дочери Изабель, которую я сейчас вижу перед собой.

Марина была почти так же красива, как ее мать. Но, несмотря на сходство с матерью, я бы ее не узнал. Я уже пару раз бросал на нее взгляд

только из-за ее блистательной молодости и жившей в ней радости, которая угадывалась еще в той маленькой девочке с Патмоса и которая стала — я узнаю об этом позже — ее отличительной чертой.

Она подошла ко мне, улыбающаяся, очень прямая, и, чуть наклонив голову, сказала самым естественным тоном, как если бы мы были давно знакомы (впрочем, так оно и было):

— Я Марина.

Я переспросил:

— Марина?..

А потом прошлое налетело на меня вихрем, и я прижал ее к себе.

...Прошло еще какое-то время. На то оно и время, чтобы идти. Несколькими годами позже я опубликовал книгу, в которой упоминал некоторые места Индии, Китая, Афганистана, где побывал вместе с Роменом, — это была моя «Слава Империи». Студенты пригласили меня побеседовать с ними в зале Сорбонны. Вхожу и вижу: в первом ряду — Марина. На этот раз я узнал ее сразу. Она задала мне какой-то вопрос. Я ответил, назвав ее «мадемуазель». Когда все разошлись, я предложил Марине сходить вместе в «Бальзар» или «К Липпу». Она тут же согласилась. Мы заговорили о Греции, о Соединенных Штатах.

Она помнила Патмос, но очень смутно. Я описал ей маленькую девочку, которая гуляла вдоль моря, держа свою ручонку в моей. Я рассказывал, какой она была и как очаровала меня на террасе под южными звездами. Она смеялась. В тот вечер она смеялась, как прежде — на острове...

Я расспрашивал Марину о Швейцарии, где она долгое время жила, об Америке, где ее мать проводила часть своей жизни. Я восстанавливал для себя целые пласты ее жизни, неизведанные континенты...

Я поостерегся рассказывать ей то, что знал о ее матери от Ромена и чего она не знала: об отношениях Мэг со Счастливчиком Лючиано и об обстоятельствах ее замужества с адвокатом Малоне. Ее представления о матери оказались столь далекими от того образа, который я сохранил в собственной памяти и от того, что я составил себе по редким рассказам Ромена, что можно было подумать, что речь вообще идет о трех разных женщинах...

Мы вспомнили Бешира, который был для нее чем-то вроде дорогой старинной японской вазы, несколько потертой, или какого-нибудь почтенного социального института. Говорили мы и о Ромене.

Поистине, земля вертится как ей вздумается. Марина мало знала о матери, о которой многие другие сохранили столь яркие впечатления. Конечно, несколько мутное прошлое этой сверкающей звезды не оставляло дочь равнодушной. И когда она заговорила о матери, в воздухе запахло тревогой.

— Скажите, — спросила меня она, — это правда, что она была хорошо знакома с Д'Аннунцио?

Д'Аннунцио! Здесь только не хватало этого пламенного любовника Дузе! Я почти ничего не знал об отношениях Мэг и знаменитого автора книг «Дитя сладострастия» и «Огонь», он был таким старым, что казался частью давно ушедшего мира. Да, о Мэг рассказывали, что она была подругой Арагона до или после Нанси Кюнар; что Д'Аннунцио обожал ее, когда она была моделью знаменитого дома Шанель. Но, в отличие от ее общеизвестной связи с Мальро, что можно было сказать определенного о ее отношениях с Д'Аннунцио?..

— Твоя мать, — говорил я уклончиво, — знала много людей. И ты знаешь, какая она красивая. Когда я увидел ее тогда на Патмосе, она выглядела богиней, спустившейся с Олимпа.

— Да-да, — отвечала Марина, — она такая красивая...

В ее голосе слышалось нежное восхищение и что-то еще, звучавшее как отдаленный упрек.

Она спросила меня:

— Вы очень дружны с Роменом?

Я ответил:

— Я очень люблю его.

— Я тоже, — прошептала девушка.

— Ты часто видишься с ним?

— Не очень, — ответила она. — Он часто видится с мамой.

Было уже поздно. Мы расстались на бульваре Сен-Жермен. Расстались со смешанным чувством радости и печали, которое станет потом на долгие годы лейтмотивом нашей любви...

...Марина уже не плакала. Я неподвижно стоял под бледным солнцем, освещавшим кладбище из-за туч, и смотрел на нее: она тоже неподвижно стояла перед могилой Ромена, опираясь на дочь. Она была почти в самом конце длинной процессии, вот уже более часа топтавшейся на подходе к могиле. Марина... Она неотделима от моей жизни. И от жизни Ромена...

Через несколько дней я обедал с Роменом, Казоттом, Далла Порта и Жераром у Ле Кименеков. Ромен должен был на следующий день улетать в США, где его ждала Марго, поэтому хотел лечь спать пораньше. Мы вдвоем ушли первыми.

Выходя, я рассказал ему, как мы встретились с Мариной.

— А-а, — только и сказал он.

— Мне было так приятно снова увидеть ее. Ты, вероятно, видишься с ней чаще, чем я. Мы с ней случайно столкнулись в театре года два назад, а потом я опять потерял ее из виду. И вот она пришла в Сорбонну на эту мою встречу со студентами. Она очень симпатичная. И вообще очень хороший человек.

— Да, — ответил Ромен, — неплохой.

— Неплохой?!

— Лучше, чем неплохой, если уж тебе так хочется. Но слишком настойчивый.

Я внимательно посмотрел на него:

— Ты не очень-то хорошо настроен к ней, — сказал я ему.

Мы спускались по улице Суффло. Он остановился и закурил сигарету.

— Я очень хорошо к ней отношусь, — сказал он.

— Но?.. — подтолкнул его я.

— Я предпочитаю ее мать.

— Я знаю. И что из этого?

— А то, что она бегает за мной.

В интонации Ромена мне послышался не просто цинизм — это случалось с ним довольно часто — сейчас слова его прозвучали настолько вульгарно, что на моем лице, должно быть, отразилось изумление.

— Приди в себя, — сказал он и хлопнул меня по плечу.

Я расхохотался:

— Так на что же ты жалуешься? В детстве она была такой очаровательной девчушкой. Ты помнишь, какой она была на Патмосе, когда прыгала к нам на колени?

— Помню... — сказал он задумчиво. — Да, она была очаровательной...

— И, я уверен, никто не скажет, что теперь она стала хуже.

Мы пошли дальше и подошли к Люксембургскому саду.

— Она тебе нравится? — спросил Ромен, с сигаретой в зубах, держа руки в карманах.

— Да, конечно, — ответил я. — Очень.

— Тогда будь другом, займись немного ею.

...Говорила ли она мне «позвоните»? Говорил ли я ей «я тебе позвоню»? Не могу сказать. Во всяком случае, я тогда попросил у нее номер ее телефона, и она мне его дала. Был ли я влюблен в нее уже тогда, на бульваре Сен-Жермен, у перекрестка улицы Фур, рядом с баром, где подавали настоящий ром с Мартиники и где на протяжении многих лет назначали друг другу встречи многие наши друзья? Был ли я уже влюблен в нее в тот вечер с Роменом, у Люксембургского сада? Не думаю. Скорее мне стало ее жалко. Те несколько слов, которыми мы обменялись тогда с Роменом, вызвали во мне какое-то щемящее чувство. Возможно, по вине самого Ромена что-то проскользнуло между ним и мной: это «что-то» и была она. У нее было все, или почти все, она ни в чем не нуждалась, но при этом она выглядела потерянной и какой-то заброшенной. Вообще-то, двадцатилетним людям часто свойственно впадать в тоску, но она казалась самим воплощением этой юной тоски...

...Она бросила розу. И я отвел глаза, так и не осмелился посмотреть на нее в это мгновение... Затем она направилась ко мне, и я обнял ее. Изабель подошла к бабушке и отцу, оставив нас с ней вдвоем...

...Я позвонил ей. И мы встретились. Мы стали назначать свидания где-нибудь на углу улицы, у входа в метро. Время от времени мне вспоминались слова, брошенные тогда Роменом после ужина у Ле Кименеков, но я тут же гнал их от себя. Мы с ней часто ходили в кино «Золотая каска», «Рашомон»... Мы пересмотрели все старые фильмы, на которые ее мать и Ромен ходили еще в Нью-Йорке... Нам понравился «Notorious» с его лестницей ужасов; «Магазин за углом» с его сверхизысканностью, там вообще ничего не происходит; «Касабланка», «Сыграй еще, Сэм...»; «Филадельфийская история» с ее парусником и Хепберн, той первой, несравненной; мистический «Великий сон», в котором мы ничего не поняли: возможно, это произошло потому, что во время этого сеанса мы с ней первый раз поцеловались...

...— Вот и все, — сказала она.

— Бог с тобой, — пытался я утешить ее. — Пройдет время — и все забудется.

— Забудется? — возразила она. — Никогда.

— Не спорь — забудется. У тебя еще вся жизнь впереди.

— Да у меня дочь уже взрослая, — ответила она.

В нескольких шагах от нас Изабель разговаривала с Жераром и бабушкой.

— Тебе было столько лет, сколько ей сейчас, когда — помнишь? — Мы с тобой смотрели «Великий сон».

Что-то вроде улыбки мелькнуло на ее несчастном лице.

— Ты помнишь это? — спросила она.

— Никогда не забуду, — ответил я.

Но мы говорили не об одном и том же...

...Я уже не был мальчиком. Мне было тридцать три или тридцать четыре года. Когда голова Марины лежала у меня на плече или на коленях, мы часто подсчитывали эту разницу: она была на пятнадцать лет, три месяца и двадцать два дня моложе меня. К этому времени я уже написал несколько книг. Это были далеко не шедевры, но они все же не прошли незамеченными. Через несколько лет у меня появятся некие общественные функции, выполнять которые и при этом вести себя как мальчишка было несовмести-

мо. А я дал вихрю наших с ней чувств увлечь себя как восемнадцатилетнего. Счастье и несчастье, все демоны и ангелы нашей любви в сущности, это самые прекрасные воспоминания моей жизни. И сейчас, когда жизнь уже прожита, мне кажется, что только это и было в ней прекрасным.

Как ни странно, я никак не мог задать Марине два мучивших меня вопроса, во всяком случае, в первое время нашей сумбурной связи. Первый — насчет Ромена. Он говорил мне о ней, но я не осмеливался спросить ее о нем. Второй вопрос касался ее и меня. Очень скоро я признался Марине, как сильно нуждаюсь в ней. Но я никогда не спрашивал, нужен ли я ей. Я боялся услышать ответы...

Это были, во всяком случае для меня, незабываемые дни и бредовые ночи. Мне казалось, что Марина всегда была рядом со мной с той далекой встречи на Патмосе, когда она была еще ребенком. То, что было в ее отсутствие, не существовало. Она была сладостью, забвением, нежностью. Для жизни мне было достаточно ее присутствия, простого и очевидного.

Мы мало разговаривали. Я говорил ей:

— Я так счастлив с тобой.

Она смотрела на меня и говорила в ответ:

— Обними меня.

И бросалась в мои объятия. И я, словно с повязкой на глазах, больше не видел ничего...

...Она бросилась в мои объятия. Траурная процессия заканчивалась. Толпа понемногу рассеивалась. Слышался шум отъезжающих машин. Напряжение спало, повседневная жизнь вступала в свои права. Смерть уже не держала так плотно всех нас в единой охапке. Работники кладбища и похоронной службы возвращались в свою среду обитания, которая на несколько часов была отдана друзьям Ромена. Гроба не было видно. Он был усыпан розами, и сейчас его должны были засыпать землей. И я уводил Марину, уводил от смерти и от прошлого. Я увлекал ее за собой к ее матери и дочери, к Жерару и Беширу...

Я уговаривал ее:

— Уходим...

...И мы с ней уходили. Покидали Париж и отправлялись куда-нибудь. Все равно куда. В Рим, Флоренцию, Венецию, где — чудо совпадения — ни она, ни я еще не бывали; в Лондон, в Зальцбург... Мы много ездили. Мы убегали... От чего? От обыденности. От кого? Ото всех, и в первую очередь, от самых близких: Марго и Ромена... Был период — в семидесятые годы, — когда мы путешествовали непрерывно. Часто через два-три уикенда, иногда — каждый уикенд. Все авторские гонорары за мои первые книги уходили на эти поездки. Марина была абсолютно свободна, даже слишком, и в этом была ее драма: отец отсутствовал, мать тоже зачастую находилась где-то далеко. Ромен ею не интересовался. Ее занятия историей искусств, весьма необременительные, позволяли ей отсутствовать почти всегда, когда ей вздумается. Вследствие таких частых отлучек моя работа, конечно, страдала. К изумлению многих, я отказался от нескольких должностей только для того, чтобы иметь больше свободного времени и посвятить его Марине. И еще: в эти годы две из написанных мною книг явно нуждались в более тщательной проработке, некоторые критики не преминули указать мне на это, и они были правы.

А мне было на это наплевать. Мы уезжали, и это было счастье! Чаще всего на юг, и там так светило солнце! Мы побывали на берегах Средиземного моря во все времена года. Капри, Портофино, Трани, Отранто, Палермо, Корфу, Чанте... Чаще всего летом, но также весной и осенью мы

устраивались там на две-три недели, иногда даже на месяц или два. Когда я бросаю взгляд в прошлое, я вижу там Марину в солнечном свете...

...Ко мне подошел Бешир: возникли кое-какие проблемы. Нужно было помочь организовать людям отъезд. «Большое предместье» (они приехали сюда в машине Королевы Марго) были уже пристроены. Бешир усадил их обоих — «Королевское местечко» и «Выбери короля» — вместе с Виктором Лацло в миникар, который он предусмотрительно заказал до начала траурной церемонии. Генерал Дьелефи согласился подвезти в своей машине с кокардой белокурую парикмахершу и даже не заставил долго себя упрашивать. У Альбена и Лизбет Цвингли, прибывших сюда на такси, не было на чем вернуться. Казотт потерял очки, ухаживая за Марго. Многие, кто приехал издалека, ввиду того что приближалось время обеда, спрашивали, есть ли где-нибудь поблизости бистро, где можно было бы поесть... Марина все время держалась возле меня...

...Мы с ней прогуливались на Авентинском холме, таком спокойном со стороны Сент-Сабины, и возле виллы кавалеров Мальтийского ордена в толпе тысяч туристов, таких же, как мы. Мы пытались рассмотреть собор Святого Петра через замочную скважину. Мы прогуливались вдоль Арно, в садах Боболи и у подножия Сан-Миниато. Мы побывали в Вероне у бронзовых дверей Сен-Зенона, под балконом Джульетты... Ради взгляда Марины, ее улыбки, ее руки в моей руке я был готов дарить ей весь мир...

Вероятно, оттого что я любил ее и она была так молода, у меня остались волшебные воспоминания о том времени. Меня не раздирали мрачные страсти, которые обычно отравляют нашу жизнь: жадность до денег, скупость, тщеславие, погоня за почестями, зависть, ревность. Я равнодушно взирал издали на карьерные успехи людей моего возраста. Одни становились депутатами, а затем министрами или государственными секретарями; другие писали книги, выходившие большими тиражами, и получали за них премии; третьи занимали важные посты или зарабатывали большие деньги, с которыми не знали что делать. Чужие успехи — наказание лентяям. Я же был так счастлив с Мариной, что они были мне безразличны. Эти люди скорее забавляли меня. Мне даже было их жаль. Мы наслаждались кофе на террасах, залитых солнцем... Мы вели жизнь эгоистичную и легкомысленную. Нас редко раздражали события и люди, потому что мы их игнорировали. И мир прекрасно обходился без нас...

Два или три лета подряд мы жертвовали нашей любимой Италией ради одного из греческих островов. Мы снимали недорого домик где-нибудь в удалении от деревни, на самом берегу моря. Автомобили, газеты, разнообразные факты, налоги, политические дебаты и учреждения, — мы оставляли позади себя все это, а заодно и Марго с Роменом. В Наксосе наше окно выходило прямо на поле лаванды. В Сими посреди нашего сада росло фиговое дерево. В его тени я писал книгу о своем детстве, потом я назвал ее «На радость Богу». Мы с Мариной когда-то прочли это изречение в Риме в одной круглой часовенке...

Мы бродили по песку, много спали, ни с кем не виделись, купались везде, где только можно; мы питались помидорами, голубцами в виноградных листьях, «цациками». Раз в неделю в порт прибывали парижские газеты, мы не ходили их покупать. Когда я потом однажды утром случайно встретил Жерара на бульваре Сен-Мишель, он спросил меня чуть ли не изумленно:

— И не скучно вам бывает там вдвоем?

Нет, нам не было скучно. Мы почти ничего не делали. И мы любили друг друга.

Мы с ней избегали говорить о Ромене. Слова, которые он бросил мне тогда, на улице Суффло, не выходили у меня из головы. Я лишь старался загнать их в самый дальний угол памяти. Но и там они упрямо просились на волю. Я бил их по макушкам — они успокаивались, но не исчезали. Я доходил до того, что спрашивал себя, не встречаются ли Марина и Ромен за моей спиной. Но эту мысль я тоже немедленно гнал прочь. Между нами тремя установилась своя система умолчаний. Ромен больше ни разу не произнес передо мной имени Марины. Ни Марина, ни я никогда не упоминали о Ромене, хотя его тень довлела над нами даже в его отсутствие. Только от него я знал о тех невидимых нитях, что связывали их двоих. Она не догадывалась, что Ромен говорил мне о ней с таким усталым пренебрежением. Все это стало нашим «великим молчанием»...

...Я пожимал чьи-то руки. Белокурая парикмахерша поцеловала меня, и я обещал посещать ее. Супруги Цвингли, которых Бешир «утрамбовал» в машину посла в отставке, приглашали меня в свой шале в Гризоне погулять по горным тропкам, послушать Баха и вспомнить Ромена. Отец-иезуит убеждал меня вполголоса, что в доме Отца нашего Небесного есть много обителей. Я ответил ему, что уже где-то слышал это... Раввин-друг Ромена рассказывал мне, что два-три года назад принимал его в своей синагоге по случаю «бармицвы» одного из племянников. Раввин, бывший сефардом, спросил тогда у Ромена, не относит ли он себя, в память о матери, к иудейской конфессии.

— О, — сказал ему тогда Ромен, — я далек от какой бы то ни было религии. Если бы мне вдруг вздумалось присоединиться, то я, вероятно, счел бы себя «ашкенази», как моя мать.

— Но тогда, — ответил ему раввин с бледной улыбкой, — вы дважды чужой в этом Божьем доме.

...Наше с Мариной «великое молчание» взорвалось в то знаменательное майское утро в комнате номер семнадцать отеля «Карузо-Бельведер» в Равелло.

Долгое время я любил отели. Приезжаешь, уезжаешь, ничто тебя не стесняет: ни книги, ни привычки, ни мертвящая рутина. Никто не знает, где ты: ни любопытная тетушка, ни налоговый инспектор, ни главный редактор, ни школьный товарищ, который обязательно хочет отпраздновать с тобой тридцатилетие своей семейной жизни, — все они, к счастью, потеряли твой след. Не надо заботиться об отоплении и питании. Останавливаясь в скромных, но добротных заведениях, можешь держаться каким-нибудь герцогом, если оплачиваешь все услуги разом.

Посетив в Италии, особенно в стороне Сиенны, Монтепульчиано, Тоди, Орвието, добрый десяток прекрасных отелей, мы с Мариной задумали составить что-то вроде справочника в форме путевых заметок, где был бы дан обзор музеев, церквей, магазинов одежды и обуви, исторических событий и литературных воспоминаний, виноградников и кипарисов, тратторий, отелей, семейных пансионов и комнат, сдаваемых внаем. Мы таким образом уже «сняли пенку» с Тосканы и Умбрии, где изъездили все дороги и чувствовали себя как дома. Мы отметили даже несколько «белых пятен» — грунтовых дорог, которые еще там оставались.

После Тосканы мы исследовали Марчи, Абруццо, Пуйи, эти незабываемые Пуйи. Все-таки жизнь сильнее смерти: даже возле могилы Ромена я вспоминал Пуйи как обещание счастья на всю жизнь...

Потом мы отправились в Неаполь. На побережье между Позитано и Амальфи было слишком много народа, и мы направились вглубь, через долину Дракона, к Равелло.

Легендарный Равелло спокоен и величествен. И он оставил свой благородный след в искусстве. Роман Стирона «Жертва пламени» открывается описанием Самбуко. Его Самбуко — это Равелло. Вагнер писал свою оперу «Парсифаль» в садах виллы Руфоло, и с тех пор они навсегда стали садом карлика Клингзора. На вилле Чимброне, великолепной сопернице виллы Руфоло, Грета Гарбо и Стоковский пережили за три дня историю своей вечной любви. Мы выбрали в Равелло отель «Карузо-Бельведер» возможно из-за его комичного двойного названия, в котором почему-то объединились представитель культуры и частица природы...

...Марго возвращалась ко мне, опираясь на Казотта, который наконец нашел свои очки; супруги Цвингли махали мне на прощание за стеклами дипломатического автомобиля; Бешир пожимал руку раввину из Нью-Йорка... вот мелькнули заснеженные украинские степи; затем возник в Касабланке генерал Де Голль, сопровождаемый супругой адвоката Счастливчика Лючиано... комнатный слуга Гитлера по имени Гейнц Линге... рука Марины в моей на пляже Патмоса... успех Ле Кименека, как производное его печалей, и наоборот... Тамара в Туле и английская Молли под бомбами... безжизненное тело Ахмеда перед Дар-аль-Мизаном с животом, набитым камнями... месса итальянцев у Симеона-Столпника... «белая лошадь» Мишеля Полякова в салоне у Карбоне... надежды и горести любви... розы... все закружилось вдруг вихрем вокруг меня...

Целый мир возникал из одной-единственной реплики Бешира, фразы, сказанной когда-то Роменом, взгляда Марины, образа оливы из Равелло... Не было ничего в пространстве и времени и во всех его глубинах, что не отсылало бы, в свою очередь, к чему-то еще... Ничто не существует само по себе. Ничто не является конечным. Все течет, все перемешивается. Инь и ян, заполненность и пустота, грязь и звезды...

...Я вернул себя в тот день в Равелло: вокзал, поезд стоит сорок секунд, буфет, корреспонденция, отель «Карузо-Бельведер»...

Я открыл ставни. Солнце хлынуло в комнату номер семнадцать; она была совсем простой, но осталась в памяти навсегда. Всего несколькими днями ранее, в Париже, терявшая силы зима еще топала в теплых калошах по улицам, а здесь, в долине Дракона, зацветали лимонные деревья. Оливы благодарно вздымали руки к небу, они освободились от зимы. Вдали, за виноградниками и кипарисами, виднелось море.

Я смотрел на мир: он был прекрасен. Я повернулся, чтобы позвать Марину. Она еще спала. Ее голова, в облаке светло-каштановых, почти светлых волос, покоилась на согнутой руке. Простыня наполовину укрывала и в то же время обнажала ее. Линии ее тела были так чисты, что казались воплощением земного совершенства. Эта очаровательная картина удержала меня, и я молча вновь обернулся к окну.

Слышалось пение птиц. Детский голос. И больше ничего. Небесная синева поглотила все вокруг. Неподвижная, тихая долина сверкала под солнцем. Перспектива звала вдаль к морю сирен, по которому плыл Одиссей... От всего этого зрелища перехватывало дыхание...

Я вернулся в постель, где спала Марина. Она проснулась. Я обнял ее. Почувствовал на губах ее дыхание. Ее дыхание, ее руки, ее стройные длинные ноги... Все остальное исчезло, весь мир стал ею... Ее ртом, животом, ее нежными круглыми грудями... Самое глубокое у человека — это его кожа. И мы задержались на этом самом глубоком... Мы обменивались нашими дарами. Она возвращала мне то, что я дарил ей. На самом-самом краю страдания, всего за мгновение, счастье опередило его и накрыло меня с головой...

Мы долго лежали вытянувшись рядом. И ничего не говорили. Наши руки касались. Ее голова лежала на моей груди, и я слушал ее дыхание. В такую минуту нельзя лукавить, произносить пустые красивые слова. Я сказал только:

— Мне так хорошо.

Она сказала:

— Мне тоже.

Я поднялся. Подошел к окну и позвал ее:

— Вставай. Посмотри, какое солнце.

Она подошла. Я прижал ее к себе. Мы вместе любовались виноградниками, оливами, кипарисами. Ну-ка, а что это там вдали? О-о, да там море...

Мы вернулись в комнату. Я бросил ее на кровать. Мы со смехом поцеловались. Она хотела встать. Я не пускал. Она подчинилась. Положив руки ей на плечи, я сказал:

— Ты красивая.

Она погладила меня по щеке. Мне показалось, как-то поспешно. Я сказал:

— Не покидай меня.

Она засмеялась. Тогда я взял ее за запястья, за ее тонкие, нежные запястья, и сказал:

— Я люблю тебя.

Она долго смотрела на меня, без улыбки, как будто видела сквозь меня что-то совсем другое...

— Я люблю Ромена, — сказала она мне...

...Вот и все. Ромена похоронили. Все разошлись и разъехались. В Соединенные Штаты, в Англию, в Россию, в Прованс и Нормандию, в 18-й округ Парижа или в Нейи. Осталась только «когорта верных» Ромена, всегда одни и те же. Могильщики делали свое дело: бросали лопатами землю на гроб Ромена. Вот на гроб упали первые камни, звук их показался зловещим. Но затем слышался лишь струящийся шорох земли, он словно укрывал собой прошлое. Бешир и я, Казотт и Далла Порта старались увести от могилы, заполняемой землей, Марго ван Гулип и Марину...

...Эти ее слова были для меня... но я продержался три недели. За это время я не сказал Марине ни слова о Ромене. Время от времени я встречался с ним. Мы никогда не говорили о том, что встало между нами. Наша с Мариной жизнь продолжалась. Это при том, что после того... она стала невозможной. Слова материализуют чувства. То, что не сказано, не существует в полной мере. Но стоит назвать страсть словом, и она словно с цепи срывается. То, чего я не хотел видеть, но о чем знали все, поскольку об этом уже не раз упоминалось при случае, было простым и ужасным. Ромен, который был любовником Марго и которого Марго любила, не любил Марину. Но Марина любила его, а я любил Марину. Это была трагедия в духе Расина, только перенесенная в 20-й век, во времена холодной войны...

Нам всем было плохо. Мать и дочь желали одного и того же человека. Марина спала со мной, потому что не могла делать этого с Роменом. Шоры упали с моих глаз. Мир, который кажется таким сложным и непонятным, становится таким простым и понятным, когда узнаешь о его скрытых движущих силах! Раньше мне была непонятной сдержанность Марины в отношениях со мной, тогда как она явно во мне нуждалась. А теперь вот она, правда: она бросилась ко мне, чтобы я защитил ее от Ромена, но в конце концов убедила себя, что это я разделил их с Роменом! Она любила меня вместо Ромена, и упрекала меня за то, что я сжимал ее в своих объятиях, тогда как она хотела, чтобы это был Ромен...

Это были страшные дни. Через три недели, доведенный до крайности этой мукой, я решил разделить ее с Мариной. Мы отдыхали, сидя на стульях

в Люксембургском саду. Иногда мяч, с которым играли дети, подкатывался к нашим ногам, мы толчком отсылали его обратно, принужденно смеясь, и наш разговор медленно и постепенно подошел к тому, о чем я должен был и хотел молчать: что Ромен не только был любовником ее матери, но что он прямо уполномочил меня «заняться» ею, чтобы отвлечь ее от него, Ромена. Когда я говорил об этом, два чувства постепенно овладевали нами, погребали нас в своих складках, вырастали до размеров Люксембургского сада, целого города, целой страны, целой Вселенной, несуществующие и неуничтожимые, запечатленные неизвестно где и сметающие все на своем пути, — это были мой стыд и ее отчаяние...

...Сейчас, на кладбище, она плакала у меня на руках. Она всегда плакала у меня на руках. Еще на Патмосе, в тот день, когда волна опрокинула ее и выбросила на песок (она тогда воскликнула, с мокрыми волосами, облепленная мокрым платьем: «Что теперь со мною будет?», — а мы все весело смеялись над этим), она бросилась мне на руки, и я утешал ее. Вот и теперь: мы уходили прочь от могилы, остававшейся в прошлом, и она плакала у меня на руках...

...Тогда-то и наступил настоящий ад. Оказалось, что до тех пор я имел о нем лишь бледное представление. Все же она долго хранила в глубине своей печали усталую привязанность ко мне. И вот я не решался признаться себе в этом, но приходилось считаться с очевидностью: тогда, в чудесном Люксембургском саду, забавляясь с играющими детьми, она вдруг постигла, что на свете существуют презрение и ненависть. Она презирала меня и, через меня, презирала себя. Она любила Ромена и ненавидела его за то, что он ее не любил. Она любила свою мать и ненавидела ее за то, что ее мать любила Ромена. Она думала, что любит меня, потому что я любил ее, а она нуждалась хоть в чьей-нибудь любви, но теперь ненавидела меня за то, что я оторвал от нее Ромена, рассказав ей о ловушке, которую он ей подстроил и в которую я ее завлек.

Прежде она отдавалась мне с безразличием, замаскированным под нежность и страсть. После этого она могла еще отдаваться мне, но уже с отчаянием, смешанным с презрением. Быть презираемым тем, кого любишь, — это одно из самых жестоких страданий. И хотя мы по-прежнему много путешествовали, теперь даже в самых волшебных местах наши ночи были ужасны...

...— Месье, — обращался ко мне Бешир, — уже пора уходить...

Марго забирала у меня свою дочь. Она забирала ее из моих рук в свои. Марина шептала:

— Мама, о мама!

Они обе сотрясались от рыданий. И мы все — Бешир, Казотт, Далла Порта и я — в растерянности не знали, что делать...

...Что здесь можно было поделать? И я решил повидаться с Роменом. Как он поживает? Спасибо, очень хорошо. Он был спокоен, как всегда. Он сообщил мне, что недавно потерял деньги, но, как обычно, и не думал переживать по этому поводу. Он ни на чем не задерживался, он любил жизнь всякой. Я рассказал ему, что по моей вине, или нашей с ним, или по ее собственной, так как она была слишком чувствительной, Марина оказалась на грани тоски и помешательства. Я сказал ему, что мы с ней очень славно пожили, но всему свое время. Как сказал некто, есть время жить — и время умирать, время смеяться — и время плакать... И если мы хотим, чтобы она жила и перестала плакать, надо что-то делать.

— Что-то делать? — переспросил Ромен, подняв бровь.
— Да, что-то делать, — подтвердил я. — Но я не знаю что...

...И мы пошли прочь с кладбища. Я обернулся в последний раз. Кладбищенские рабочие, завершив свое дело, отставляли лопаты и утирали потные лбы...

...Мне было страшно. Страшно за Марину. Страшно и за себя тоже. И еще был страх, что на этот раз Ромен может не справиться с положением...
— А как твои дела? — спросил он у меня.
Я пожал плечами. Определенно, бывали моменты, когда я его ненавидел.
— Да ладно тебе, — он широко улыбнулся мне. — Что-нибудь придумаем. По порции виски?
И он отправился купить лимонов...

...Сейчас все это было уже в прошлом. Ушедшая жизнь... Нужно только подождать, и все пройдет. Мы меняемся, умираем; проходит время, и мы уже с улыбкой вспоминаем то, что заставляло нас страдать, над чем мы рыдали до потери сознания. Мы уже спокойно смотрим, как под нашими окнами проходят чередой тени наши прошлых страданий...

...Все постепенно перестраивалось на другой лад. Так, даже в смерти Генерала — то поколение помнит — находили много положительного. От конца «битлов» и восхождения Франсуа Миттерана, через «Звездные войны» и «Механический апельсин», «Imagine» Джона Леннона, моду на «Peace and Love» и от длинных плащей до миниюбок и шортов — все семидесятые годы были пропитаны для меня любовью к Марине.

Мы, конечно, следили, но несколько отстраненно, за тем, что происходило в мире... Но малейшее движение Марины, ее слово, взгляд, рука в моей руке, манера отбрасывать назад волосы, были в моих глазах важнее, чем все пертурбации, сотрясавшие нашу планету. Когда я вспоминаю, чем была моя жизнь «во времена Марины», я прихожу к тому, что история — это лишь пена на поверхности подлинных событий и что на самом деле существует только то, что волнует наши сердца.

То, что происходит в наших сердцах... Долгое время я думал, что там ничего особенного не происходит. А то, что происходит, окрашено лишь в белое или черное. Любят — не любят — больше не любят — любят другого: все обезоруживающе просто. И все оказалось не так. Сначала я удалился от Ромена, чтобы приблизиться к Марине. Но это были «еще цветочки». Я думал, что любовь к Марине заполнит пустоту, образовавшуюся на месте моей прежней дружбы с Роменом. Как гром среди ясного неба грянуло на меня открытие, что Марина любит Ромена, и оно не просто превращало друга в чужака, оно делало его противником. Все становилось с ног на голову. Правила игры менялись, но сама игра никуда не делась. Я уже примерял к себе другую идею, далеко не приятную, но хотя бы понятную: считать Ромена своим врагом. Однако я не принял в расчет неисчерпаемые запасы чувств в нашем сердце...

...Далее события развивались оригинальным образом. Можно, конечно, было заподозрить Ромена в том, что он повел себя в этой ситуации как стратег, который взвешивает сильные и слабые стороны армии противника, а затем принимает выгодное для себя решение. То есть можно было обвинить его — многие так и сделали — в чудовищном цинизме. Но можно было объяснить его поведение совершенно иначе — я сразу так и сделал — и понять, что он вовсе не думал интриговать, не преследовал ника-

кой корыстной цели, а просто отдался на волю своего природного здравого смысла. Он позвонил Марине и пригласил ее пообедать вместе.

— Ты же этого хотел? — уточнил он у меня.

Хотел ли я этого?.. Но, в любом случае, этого хотела Марина. Великолепная Марина, капризная, упрямая, переменчивая, беспокойная... И вот она наконец получала то, чего хотела. Она могла отомстить, — только кому и за что? Может быть, своей матери? Ее тень постоянно витала где-то в отдалении. Что касается меня... Я не совсем понимал свое место в той игре, которую вел Ромен и суть которой была мне пока неясна. Все происходило помимо меня, не считаясь с моими ограниченными понятиями и личными желаниями. Я лишь присутствовал при дальнейших событиях. Марго с ними соглашалась. Ромен ими управлял. При этом не исключено — и это был бы верх изысканности и неосознанной жестокости, — что он лишь по-королевски снисходил до всего этого.

Они встретились. Я продолжал с ним видеться. С ней я встречался постоянно. Мне хотелось исчезнуть, но я не исчезал. Я уже пережил с Мариной дни счастья на грани преисподней. Теперь мне было страшно опуститься сознанием в те пропасти, которыми были уже и без того населены мои ночные кошмары. По счастью, мы стараемся не давать нашему чувственному воображению заходить слишком далеко, и я пребывал по милосердию Ромена в состоянии блаженной неясности, напоминавшем райское...

В одно прекрасное осеннее утро (во Франции в это время, после двадцатипятилетнего периода Де Голля и постдеголлевского либерализма, готовился прийти к власти союз левых сил на последующие четверть века с некоторыми перерывами) Ромен сказал мне:

— Поехали.

Это «поехали» я и раньше слышал от него много раз. Мы ездили с ним вдвоем в Индию, в Китай, на побережье Турции и привозили оттуда целый ворох незабываемых впечатлений. На сей раз он тоже сказал мне «поехали», и мы поехали, но не вдвоем: с нами была Марина...

...Мы шли медленно. Марго ван Гулип опиралась на дочь и внучку. Все мы — группка в шесть-семь человек — шли молча. Молча мы подошли к воротам кладбища. Мы не знали, о чем можно сейчас говорить. Время от времени кто-нибудь из нас поднимал глаза к небу и отпускал какое-нибудь замечание по поводу погоды в Иль-де-Франсе в пору ранней весны.

Бешир поравнялся со мной и произнес торжественно:

— Мне думается, месье, что все прошло как нельзя лучше.

— Спасибо, мой дорогой Бешир, — ответил я ему. — Все было на высшем уровне. А ты, ты всегда на высоте. Ромен был бы тобою доволен.

— Спасибо, месье, — произнес он.

Решительно, в его манерах иногда проявлялось что-то классически-британское...

...Был конец сентября. И мы опять поехали туда: на Самос, в Сими, где мы вдвоем с Мариной провели столько чудесных часов в тени нашего фигового дерева; на Родос, на Калимнос, с которыми нас тоже связывали воспоминания; потом были Кас, Кастеллоризо. Наше судно называлось «Черный Сванн». Оно принадлежало Спиро Эфтимиу, который каждый год отдавал его в аренду Ромену. Судно имело гордую осадку, а на борту находился моряк по имени Паша, державшийся несколько высокомерно. Он занимался всем. И он хорошо ладил, слава богу, с Роменом, который тоже занимался всем. Начало осени на Средиземном море, как правило, бывает замечательным. И мы провели там двадцать восхитительных дней.

Потом мы совершили втроем много других путешествий. В Испанию, Марокко, Египет, Австрию, еще в Грецию и, конечно, в Италию. Мы вспенивали моря, бороздили снега и исходили много дорог. И, презирая пересуды (далеко не всегда доброжелательные), заставляя их умолкнуть своим непререкаемым авторитетом, к нам часто присоединялась Марго ван Гулип, уже далеко не юная, но все еще прекрасная.

В тот первый раз Марина снова, как тот ребенок на террасе Патмоса, оказалась между Роменом и мной. Она снова смеялась. Она снова была счастлива. Это было естественно. Места, выбранные Роменом, могли служить лекарством от тоски сами по себе. И мы были опять все вместе... Все это вместе взятое действовало как механизм, вырабатывавший сплошное счастье...

Мы с Роменом заранее присмотрели эти места, сработали как разведчики. Это было поверхностное знакомство, чаще всего взгляд со стороны открытого моря. А сейчас, все вместе, мы исследовали каждую бухточку, выходя на берег; мы останавливались в портах, слонялись по лавчонкам, где продавались ковры и поддельные украшения; и еще мы поднимались по рекам, осматривали античные амфитеатры и развалины древних храмов.

«Сванн» Спиро Эфтимиу плавал под панамским флагом, что облегчало нам переходы от турецкого побережья к греческим островам. Так, греческий Сими зажат между двумя полосками турецкой территории, а остров Кастеллоризо, самый удаленный из всех греческих островов (одно его название напоминало мне далекие времена Патмоса), расположен всего в нескольких кабельтовых от турецкого города Кас. Но тогда, во второй половине двадцатого века, заход в порты Сими или Кастеллоризо был для турецкого судна несбыточной мечтой. А для греческого парусника переход от своего острова к расположенным прямо напротив турецким берегам был равносилен двенадцати подвигам Геракла всем сразу. Но мы, на нашем панамском «Сванне», который на самом деле носил имя «Ясмина», переходили из одних владений в другие без особых трудностей...

...Марго ван Гулип передвигалась все с большим трудом. Она сама настояла на том, чтобы дойти до ворот кладбища пешком, но силы покидали ее. Бешир тут же подогнал машину, и она с помощью внучки, уже во второй или третий раз, устроилась на заднем сидении автомобиля. Марина на несколько мгновений осталась наедине со мной. И тут внезапно солнце пробилось сквозь тучи и затопило своим светом все кладбище.

— Смотри-ка, — сказала она мне, силясь улыбнуться, — какое солнце: совсем как в Сими, ты помнишь?

—...Помнил ли я Сими и его солнце!.. Образы Сими проплывали в моем сознании, такие похожие и такие разные. Я был там с Мариной, я был там с Роменом, и я еще раз возвращался туда с Мариной и Роменом. Эпизоды моей жизни проносились вихрем, обрушивались каскадами...

Наши переходы от Сими к Родосу, от Каса до Кастеллоризо... воспоминания обступили меня толпой. Некоторые образы стояли перед глазами как наяву. Вот фиговое дерево в Сими и Марина под ним... Стада коз, спускавшихся с холмов прямо к воротам нашего сада в оглушительном трезвоне колокольчиков... Вид из нашего окна на причудливые изгибы побережья в Педи, мимо которых, как в декорациях огромного театра, медленно проплывали корабли, мечтательные, нереальные... Купание втроем среди трех островков в заливе Фетхие, которое привело нас в такой восторг, что мы просто вопили от радости и распевали во все горло рождественские песенки, и это в разгар жаркого лета, что должно было со стороны выглядеть весьма странным...

И гениальный ход Ромена заключался в самом его присутствии рядом с нами в тех же самых местах: оно помогало нам всем стереть прошлое, придать новый смысл знакомым пейзажам и прежним чувствам...

...— Ах, — шептала Марина, вновь опираясь на мою руку, — как нам будет его не хватать!..

Я посмотрел на Марину. Посмотрел на Марго: ее лицо, совершенно потерянное, виднелось сквозь стекла автомобиля... Это было правдой: он объединял нас всех. В Париже мы довольно редко виделись все вместе. Каждый занимался делами по своему усмотрению. Я иногда завтракал с Роменом. Ромен обедал с Марго и иногда обедал с Мариной. Я встречался с Мариной. Мы распутывали этот клубок как могли... А потом отправлялись все вместе куда-нибудь: в Тоскану или на горный курорт, утонувший в снегу... Это не представляло для нас никаких проблем, и не столько благодаря свободе умов и нравов (Байрон или Рембо в девятнадцатом веке, «либертены» в восемнадцатом, легкомысленные персонажи эпохи Регентства — Виван Денон или Шодерло де Лакло, от которых попахивало серой, — были гораздо раскованнее нас), сколько благодаря современным средствам передвижения, набравшим полную мощь во второй половине ушедшего века: поездам, автомобилям, самолетам. Такая свобода была немыслима в веке предыдущем, который знал столько страстей, но не знал автомобиля и самолета. Наш «Большой тур», наше «Путешествие по Италии», наше «Путешествие по Востоку» не были случайными или уникальными эпизодами, они повторялись, они стали частью нашей жизни. Мы живем уже в другом мире, в том, который прекрасно описал между двумя войнами Моран в своей книге «Всего лишь земля»: «Мальчик спросил у мамы: «Можно мне съездить в Индию?» И мама ответила: «Только захвати с собой полдник».

Весь знакомый Париж гудел, обсуждая наши совместные экспедиции. Были разные пересуды, недоумение, издевки. А потом все прекратилось. Все окружающие поняли, что мы просто открываем для себя наш прекрасный широкий мир, и оставили нас в покое.

Всем заправлял Ромен. Насколько я помню (впрочем, не исключено, что память может меня подвести, причем намеренно), между нами никогда не возникало никаких драматических конфликтов, или даже просто открытых столкновений. Другое дело — что происходило в наших сердцах. Между счастьем и несчастьем, смирением и бунтом, между восторженными воспоминаниями и необходимым забвением — между всем этим установилось в конце концов некое подобие равновесия. В одном потрясающем рассказе Борхеса есть персонаж по имени Фюнес, который никогда ничего не забывает. Он помнит все в мельчайших деталях: дерево, на котором он сидел однажды летним утром; каждую веточку этого дерева; каждый листик на этой ветке; каждую прожилку на этом листике; бог знает что еще в связи с это прожилкой — и кончает тем, что умирает, раздавленный грузом собственной памяти...

Я заставил себя многое забыть. За исключением Ромена (который был всегда доволен своей судьбой, потому что ни за что в жизни не цеплялся), все остальные — Марго, Марина, я сам — старались не думать о том, как по-иному могла бы сложиться наша судьба. И среди стольких воспоминаний, которые сталкивались и боролись одно с другим, только спасительное забвение помогало нам выжить...

Мы мало разговаривали. У нас не было такой необходимости. На палубах наших суденышек в восточном Средиземноморье, проходя вдоль пустынных пляжей, на террасах кафе в маленьких городках Тосканы или Умбрии, среди снегов Тироля или в Доломитах — везде, где мы бывали,

Марина казалась совершенно счастливой. Она ожила. Ее смех был моим несчастьем и счастьем одновременно. Мир для меня был одновременно радостным и печальным. Ромен же был со мной таким, как всегда: простым, прямым, бесхитростным. И еще беспощадным и абсолютно честным. С Мариной он обращался как с принцессой, вырванной из заколдованного царства его просвещенными усилиями. С Марго — как с королевой, почтительно и нежно. В определенном смысле она и была королевой. Но властвовал все же Ромен. Над ней. Затем — над всеми нами. Мы все были его подданными...

...У ворот кладбища нас ждал Жерар. Он уже успел, как я полагал, хорошо пообщаться с журналистами «Пари-матч», «Воскресной газеты» и с газетными фотографами. Ромен всегда интересовал прессу и своим отсутствием (он не любил появляться на публике), и легендой, которая постепенно сложилась вокруг него: известного участника войны (при этом сторонившегося всех официальных учреждений, к которым он принадлежал как участник Сопротивления и Герой Советского Союза), авантюриста, соблазнителя, знатока восточного искусства, мецената многих музеев Франции. Ромен умело обходил этот повышенный интерес к своей особе, а Жерар за его спиной вовсю пользовался, к своей выгоде, этой известностью своего друга, ныне покойного...

...— Ну что, — сказал мне однажды Жерар, когда мы вместе выходили из студии Бернара Пиво, — вы так и спите все вместе, вчетвером: мать, дочь, Ромен и ты?

Он явно хотел что-то из меня выудить.

— Ты преувеличиваешь, — ответил я ему. — Как я ни старался, ни Ромен, ни Марго меня не захотели...

Самым интересным и забавным было то, что этот самый Жерар, дававший мне уроки нравственности, через какое-то время войдет в этот наш круг (как причудлива бывает жизнь!), правда, на короткое время: в эпоху прихода к власти Франсуа Миттерана, в течение каких-нибудь двух с половиной лет, он будет официальным мужем Марины и отцом, столь же официальным, ее дочери Изабель...

...Жерар поцеловал Марину. Поцеловал и свою дочь...

Я думаю, он гордился ими, и не напрасно. Возможно, он также гордился — прости, Господи, если я неправ — самой принадлежностью к нашему кругу. Пусть даже на короткое время и, как говорится, по чистой случайности. История Жерара и Марины была связана с историей Ромена и моей и при этом была отдельной историей. В Париже Марина довольно часто виделась с Жераром и в то же время путешествовала с Роменом и мною (а мы постоянно посмеивались над Жераром). Жерар был невыносим, но очень красив... Ромен и я избрали себе его козлом отпущения, потому что он был невыносим. И еще, может быть, потому — Господи, прости еще раз — что он был очень красив. Он раздражал нас, и на то были основания, а иногда и не было. Не исключено, что Марина решилась выйти за него замуж, чтобы отомстить Ромену, а заодно и мне: так, она спала со мной, чтобы отомстить Ромену, и полюбила Ромена, чтобы отомстить своей матери...

— Дорогой, — говорила мне Марина, — не хочешь ли позавтракать или пообедать вместе в один из ближайших дней — только ты, я, Изабель и ее отец: мы могли бы вместе вспомнить Ромена...

«Всемирная литература» в «Немане»

Мы вышли с кладбища, где Ромен остался наедине с вечностью, в которую он не верил. Все смешалось у меня в голове. Мгновение я колебался, потом вздохнул:

— Даже не знаю, — ответил я ей. — Прости. Я не уверен. Нужно время, чтобы мы все пришли в себя. Может быть, пока лучше каждому из нас остаться наедине со своими воспоминаниями...

...И снова мы все были в восточном Средиземноморье: в очередной раз мы оказались в этом прекрасном уголке мира, о котором я долго и вспоминал, и мечтал. Мы прибыли из Кековы на разболтанном суденышке, на котором, за что ни возмись, ничего не работало и которое было жалким подобием нашего великолепного «Сванна» прежних времен. Мы провели четыре дня на ликийском побережье, среди выступающих из моря развалин византийского дворца и могил. Немного севернее находится залив Фетхие — этот рай моряков, представляющий собой череду бухточек, одна восхитительнее другой, где лес спускается прямо в море. Мы знали уже все его уголки, все деревья, места, где можно было причалить, все якорные стоянки, где можно было остановиться, чтобы полюбоваться восходом солнца, а затем с наслаждением броситься в прозрачную воду. Кекова более таинственна. Это внутреннее море, усеянное маленькими островками и почти полностью отгороженное длинным островом, тянущимся параллельно берегу, на котором находятся руины дворца. Ночью, при луне, Кекова являет собой картину несравненной красоты и очарования.

...Греки, персы, римляне, византийцы, арабы, оттоманские турки — многие народы сменяли и уничтожали друг друга на этих дивных берегах. Надо признать, что в наших путешествиях явления культуры интересовали нас в последнюю очередь. Среди забытых руин мы отыскивали главным образом уютные бухточки, где можно было искупаться у подножья высоких скал, у олив и сосен, спускавшихся к морю...

Покинув Кекову, мы совершили заход в славный маленький порт Кас. Там мы с Роменом опустошили все местные лавчонки, засыпали мать и дочь недорогой красивой бижутерией. После Каса мы направились к острову Кастеллоризо, силуэт которого четко вырисовывался в море.

Когда корабль заходит на рейд Кастеллоризо, перед вашими глазами словно поднимается театральный занавес. Домики старого порта, зажатые плотной дугой между богатыми каменными домами медового цвета, с одной стороны, и, с другой стороны, часовней и охотничьим королевским домиком, совершенно белыми на фоне ярко-синего моря, напоминают мелкую мозаику, в которой перемешаны все цвета радуги: с переходом от красного к синему через все оттенки зеленого и желтого. В начале прошлого века Кастеллоризо был городком с двадцатью тысячами жителей. Война и нищета вынудили почти все население покинуть остров, многие уехали в Австралию. Мы застали там, под жарким солнцем, среди веселого пейзажа фантастической красоты, только нескольких рыбаков, чинящих свои сети, женщин, стирающих белье, и детей, занятых игрой. Там же, когда мы сидели в беседке из винограда за столом в компании малоопрятного священника и некоей девицы в джинсах, но сногсшибательной красоты, Марина и объявила всем нам, что Жерар попросил ее руки.

Это была полная неожиданность для нас всех. Возможно, и для нее самой. Может быть, и для самого Жерара. Угощаясь густым, смолистым вином и местным «узо», мы вопрошали себя, какая муха могла его укусить. К нашему удивлению примешивалось смутное чувство негодования: как это он осмелился? И наконец, вся эта гамма наших чувств завершилась полным недоумением: Марина, похоже, не собиралась энергично отвергнуть это предложение с той едкой иронией, которой оно заслуживало...

— Но ведь его даже не было на Патмосе, — пробормотал я растерянно.

Это вызвало взрыв смеха. А Ромен добавил к нему несколько слов, которые ему лучше было бы оставить при себе:

— Тебе разве плохо с нами?

Конечно, я любил Ромена, а Марина любила его, бесспорно, гораздо больше — так, как никогда не любил его я. Но она не была счастлива. Во всяком случае, она не была так счастлива, как думали мы или как думала, возможно, она сама. Потому что на фоне пейзажа из чудесных разноцветных домиков, которые делали Кастеллоризо едва ли не самым красивым и странным местечком на всей нашей земле, она вдруг разразилась рыданиями.

— Что с тобой? — удивился Ромен.

Марго обняла дочь за плечи и прижала к себе.

— Я жду ребенка, — пробормотала Марина.

Я в изумлении воззрился на Ромена.

— Это в наше-то время, — шепнул он мне.

...Жерар уезжал. Он приехал на кладбище на мотоцикле, и теперь на нем уезжал...

...В определенном смысле я ему завидовал. Ему довелось все-таки быть мужем женщины, которая — какие мы все странные! — не захотела стать моей женой. Женитьба Жерара и Марины на долгое время стала объектом моих кошмаров. Это сейчас мне нужно сделать усилие, чтобы вспомнить, что же меня так раздражало тогда. Я отлично помню все: Сими, Кекову, Фетхие, Кастеллоризо, таверну Алексиса в Родосе, таверну Леонидаса в афинском пригороде Вильямени, ворота Афин, виноградники Кьянти, наше прибытие в Венецию. А вот мрачные картины той брачной церемонии стерлись из моей памяти: очевидно, отсутствие этих воспоминаний милосердно помогло мне выжить...

Я был свидетелем Марины, Ромен был свидетелем Жерара. Я припоминаю, что она сама сделала именно такой выбор и навязала его своему будущему мужу, мне и даже Ромену с безжалостной безмятежностью. Жерар был без ума от своей жены, это я мог понять. Она делала с ним все что хотела. Она таскала его за собой повсюду, как лакея, прихватывая его заодно с чемоданами, перед самым отъездом. И в один прекрасный день, а он наступил достаточно скоро, она отбыла, не захватив его с собой...

...Он надел шлем и завел мотор. Изабель устроилась позади него. Все же она была его дочь: в то время дети обязательно носили фамилию своего официального отца, вот и она носила фамилию Жерара. Она обернулась ко мне и крикнула:

— До свидания, дядя Жан!

Она называла меня «дядя Жан»...

Я ответил:

— До свидания, Изабель.

Склонясь в мою сторону, она напомнила:

— Так мы поедем с вами в Италию?

Я, смеясь, ответил ей:

— Не торопись. Обдумай все спокойно. Я уверен, что ты найдешь лучшего спутника.

Они уехали вдвоем. Она была в шлеме, который надел ей Жерар, и обхватила отца руками. Мы махали им вслед... Изабель мчалась и улыбалась нам и свежему ветру в лицо...

Появились Казотт и Далла Порта, которые отправились было прогуляться по аллеям кладбища — благо выглянуло солнышко, — как раз вовремя, чтобы попрощаться с уезжавшими Марго и Мариной. Все вместе мы смотрели вслед мотоциклу, умчавшему Изабель...

— Интересно, — пробормотал я про себя, — что с нею будет?

...Что с нею будет? Да все то же. Но и что-то другое, конечно. Мир не стоит на месте. История идет вперед. Будущее вольет в новые мехи, о которых мы не имеем сейчас никакого представления, старое вино извечных чувств, страстей и надежд. Эти «новые мехи» сначала повергнут в ужас нас с нашими-то старыми привычками: ведь каждому поколению кажется, что мир остановился на нем и никуда дальше не двинется. А потом все молодое и новое поставит в тупик перед их будущим наших теперешних потомков и, в свою очередь, состарится...

Казотт и Далла Порта продолжали между тем свою нескончаемую дискуссию о том, что даст нам наука и технология в ближайшие тридцать лет... Они предрекали ослабление интеллекта. И при этом небывалый прогресс, конечно. Катастрофы, без сомнения... Мы ждем наступления этого будущего с болью, восторгом, нетерпением и страхом одновременно. Впрочем, мы боялись всегда, и это не мешало нам быть счастливыми...

Мы так и стояли все вместе, «последняя когорта»: Марго, ее дочь, Бешир, Далла Порта, Казотт, Андре Щвейцер и я. Стояли, не желая расставаться и не зная, что сказать друг другу...

— Пора возвращаться, — сказал Швейцер, обращаясь к Марго.

— Да, — сказала она, — поедем...

...Сколько раз мы говорили себе это «поедем!» ...Возможно, перемена мест — это современная форма извечного человеческого беспокойства. Мы уезжали, потому что не могли оставаться наедине с самими собой. Уезжали, потому что боялись. Самих себя, прежде всего. Боялись жизни и мира вокруг нас. И мы бросались в широкий мир как в океан, чтобы не бояться его...

...Андре Швейцер поддерживал под руку Королеву Марго. Казотт и Далла Порта поддерживали Марину. На мгновение я закрыл глаза. У ворот кладбища, где теперь покоился Ромен, времени как бы не существовало. Оно растворялось в датах, запечатленных на кладбищенских плитах и в сердцах живущих, склоняющихся над своим прошлым. Но вот мы вышли за ворота кладбища — и время вернулось в нас.

...Бесполезно жаловаться на смерть, потому что она неизбежна. Скорее можно пожалеть многих живых. Ромен прожил свою жизнь лучше очень многих из них. Он умел вернуть яркие краски жизни, когда ей доводилось блекнуть. Он умел возвращать очарование разочарованному миру. Вот потому-то и было так много нас, пришедших проститься с ним, и потому-то нам было так грустно...

Меня не оставляли мысли о Ромене. Его образы, такие разные, смешались в моем сознании. Я видел его среди снегов и на борту корабля; в автомобиле, который он водил очень быстро и уверенно; на террасе кафе, где он мог крепко выпить и закурить сигару, которую почти тут же бросал; в каком-нибудь незначительном месте, которое он тут же преображал своей энергией и весельем: помню, мы с ним прекрасно провели время в скучнейшем крошечном домике, отрезанном снегами от всего мира; с ним было интересно даже ничего не делать, просто оставаясь в своей комнате; он был гением по части умения пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет жизнь...

То, что я видел сам и слышал от него самого, перемешалось с тем, что другие рассказывали мне о нем. Не все было таким уж замечательным

и приятным. Многие, бесспорно, имели основания строго судить его. Я сам часто осуждал его и даже ненавидел. Но он сумел придать своей жизни, и нашей тоже, неповторимый вкус...

...Он прекрасно сочетал в себе бесчисленные противоречия. В каждое мгновение своей жизни он был скептиком и энтузиастом одновременно. Он мог не верить ни во что, считать себя евреем и быть христианином. Всякие долгие рассуждения его просто утомляли. Он обожал мир и не был привязан к нему...

...— Он ведь покончил с собой, не так ли? — прошептал мне Андре Швейцер, отведя меня в сторону.

— О, — ответил я, — думаю, что скорее он просто перестал хотеть жить...

Время шло, Ромен становился стариком и, не признавая эвфемизмов, которые так любит наше время, признал этот факт. Это самый банальный и самый удивительный феномен нашей жизни: молодой человек, полный сил, превратился в старика, который извлек из жизни все, что она могла ему дать. Пару раз он говорил мне со смехом:

— Честное слово, это было хорошо...

Употребление им прошедшего времени, совершенно ему несвойственное, прозвучало для меня сигналом тревоги: у него никогда не было привычки заглядывать в прошлое.

Наверное, какие-то мелочи, собравшись вместе, начали удалять его от мира, в котором ему было так хорошо. Так, он признался мне со смущением, почти стыдом, что побывал на приеме у врача и тот порекомендовал ему уже не подниматься три раза в день в горы на высоту от четырехсот до трех тысяч метров, не нырять на спор в море за морскими ежами, кораллами или обломками затонувшего корабля... Были и более серьезные признаки. Он пролистал роман, который произвел много шума, и этот роман ему очень не понравился. Когда я начал убеждать его, что книга не лишена таланта и что в ней хорошо показано, к чему мы все идем, он пробормотал в ответ:

— Ну, значит, я просто старею...

Я горячо возражал. Тогда он пояснил мне:

— Неудачи в политике, искусстве, житейские неурядицы — не в них дело. Вышибает из седла другое: когда ты чувствуешь, что все вокруг тебя начинает складываться как-то по-иному, что все смещается, а ты даже не понимаешь, что происходит... Возникает ощущение, что ты вытолкнут из мира самим ходом истории...

Я засмеялся:

— Такие дни случаются у всех.

— А у некоторых бывают годы.

— Это всего лишь проблемы печени.

— А точнее — веры. Бывают моменты, когда хочется просто предоставить людям и событиям идти своим чередом. Наверное, подобное могли чувствовать византийцы во время падения Константинополя; последние феодалы; последние светские салоны, в которых собирались чудаки, намеренно вырядившиеся, чтобы побеседовать на каком-то малопонятном для других языке; последние любители псовой охоты (я еще застал их с их рожками, веселыми «ритуалами смерти», красными и голубыми костюмами) или последние приверженцы Сталина или Гитлера (хотя об этих я нисколько не сожалею). Я всегда думал, что мир постоянно обновляется. Но не исключено, что время от времени, чтобы иметь возможность обновиться, мир должен заканчиваться.

— А я всегда думал, что ты не склонен принимать в расчет превратности истории.

— Я и не принимаю. Только вот воздух становится каким-то разреженным.

Чтобы Ромену не хватало воздуха, — это было что-то новое. И еще была история со статейкой Жерара. Дело было настолько пустячным, что я уже почти забыл о нем. В каких-то периодических изданиях: «Экспресс» или «Новый обозреватель», точно не помню, — он затеял публикацию целой серии анонимных очерков-портретов современного общества. Здесь были представлены в прозрачной форме различные его типажи: дама от политики (все узнали Мартин Обри), владелец предприятия (Мессье), синдикалистка (Николь Нота), певец, спортсменка, писатель, военный, крупный буржуа, пенсионер... В этом был весь Жерар, блестящий, искусственный, интеллектуальный и бесполезный. Именно то, что презирал Ромен. И вот, под названием «Обольститель», он набросал портрет Ромена, скорее отталкивающий, в виде записного героя-любовника, но уже уставшего...

— Я принес тебе кое-что, чтобы тебя позабавить, — объявил я тогда Ромену, явившись к нему с журналом под мышкой.

Ничуть не бывало. Ромен, хотя это было на него непохоже (и возможно потому, что Жерар раздражал его как своей натурой, так и родом деятельности), воспринял этот выпад всерьез. Тем более всерьез, что в это время в его жизнь вошла некая молодая девушка, которую я никогда не видел и не знал даже ее имени. Вполне возможно, что и она была в толпе на кладбище, но я не располагал никакими данными, чтобы узнать ее в веренице молодых женщин, прошедших перед гробом. Ромен тогда признался мне только, что первый раз в своей жизни привязался к ней (более, чем к Марго, Молли или Тамаре и уж подавно — к Марине, которая была для него, боюсь, чем-то вроде хорошо сделанной вещи, к которой ее создатель в конце концов привязывается) с таким нежным и волнующим чувством, что его собственная жизнь отступила на второй план. Считается, что подобные слова мужчины обычно говорят «просто так» тем женщинам, которые их серьезно занимают. Я думаю, что они говорят их и себе самим. И если они лгут, что вполне возможно, объекту своего желания, то они лгут и себе...

Я ничего не знал об этом. Была ли эта привязанность настоящей любовью, была ли она счастливой или несчастной, длилась ли она дольше, чем несколько вместе проведенных вечеров? И вот единственный вывод, к которому я пришел: если это была любовь счастливая и долгая, то ничто не могло быть серьезнее для Ромена такого, каким я его знал: немедленно уклоняющегося от всего, что его не устраивало или что не бросалось само ему навстречу; возможно жестокий парадокс заключался в том, что эта любовь была первым признаком и первым следствием его возраста...

...— Никто не убивает себя из-за нескольких глупых строчек, — говорил я Андре Швейцеру, — или из-за недовольства ходом истории, который непосредственно тебя не касается. Ни из-за «плюс-минус» еще одной любовной связи после немалого их количества. Особенно если это Ромен, который — мы с вами это хорошо знаем — был воплощением уравновешенности и абсолютного безразличия. И никто не убивает себя от раздражения.

— А от избытка счастья? — спросил Андре.

Мгновение я колебался.

— А-а, — начал я, — вероятно...

Те, кто оставался рядом с Марго и Мариной, уже начинали на нас поглядывать.

— Но что произошло такого, что мог вообще возникнуть подобный вопрос? — спросил я быстро Андре Швейцера.

— Да почти ничего, — шепнул он мне в ответ. — Две таблетки, не принятые вовремя, и три другие, проглоченные намеренно или нечаянно. Возможно, случай. Неосторожность. Досадное совпадение. Вопрос не стоит так серьезно, есть лишь тень сомнения. В сущности, любая смерть — тайна, потому что любая жизнь — тайна...

— Он любил жизнь.

— Он любил ее настолько, что боялся видеть, как она от него уходит. А он начинал стареть, знаете ли. Он привык быть хозяином себе и, соответственно, возвышаться над другими и вообще над всем окружающим миром, пусть даже не с таким блеском и уверенностью. А тут его ожидало присоединение к общей массе, именно этого он всю жизнь избегал. Мы все неравны при рождении. Нас уравнивает только приближение смерти. Должно быть, он начинал чувствовать, как говорится, груз своих лет. Будущее тускнело, а прошлое становилось все более ярким. Он (как и Марго, кстати) был из тех, кто не выносит, когда их тело, да и вся жизнь, не работают в полном режиме... Их заставляет жить...

— Знаю, — перебил я, — только сама любовь к жизни.

И я опять увидел его, торжествующего, на борту корабля; у подножия горы Сервен, стоящим на лыжах, опершись на палки, когда мы перевалили через нее и оглядывались, восхищенные ее красотой; перед восьмигранной глыбой Кастель-дель-Монте; под сенью небоскребов Пятой авеню рядом с красавицей Мэг Эфтимиу... Он был таким живым. И вот умер...

Марго ван Гулип знаками подзывала меня к себе. Какой красивой была она когда-то! Мне вспомнился Патмос, дорога вдоль моря и я, стоящий на коленях у ее ног. Теперь от ее красоты осталась лишь тень воспоминаний. Не сон ли вообще вся эта жизнь? И кто знает, будет ли пробуждение в его конце?

— Мой маленький Жан, вы обязательно должны навестить меня.

— Я обещаю вам, — ответил я ей.

— Нам есть о чем поговорить, — сказала она.

Да, мы еще поговорим. О ее прошлом, о ее любви, о Ромене, о ее жизни. В жизни есть два счастья. Первое — сама жизнь. Второе — менее сильное, но более тонкое — это грустные воспоминания о счастье жить...

Ромен посмеялся бы над этими бесполезными размышлениями. Он был тем, чем был. Он не оставлял в своей жизни ни малейшей лазейки, куда могли бы просочиться сожаления, угрызения, возврат в прошлое. Он всегда совпадал с самим собой. Его несокрушимое здоровье напрочь отвергало все эти рефлексии больного животного, которыми подпитывается метафизика и современная литература. Я и сейчас как будто слышу его:

— Когда вы закончите свои интеллектуальные упражнения и отгоните мух, мы можем пойти искупаться.

Он терпеть не мог всех этих рассуждений о прошлом и будущем, в которых я с наслаждением увязал. Прав он был или нет, но он был твердо убежден, что прошлое уже мертво, что оно ничем нам не поможет и поэтому бесполезно думать о нем, а будущее, оно никогда не оправдывает наших ожиданий.

— Конечно, будет что-то другое. Но мы не знаем что. Наши потомки, лет через тысячу, просто посмеются над нашими предвидениями... Лекарства, большей частью, оказываются хуже, чем сама болезнь. Вечность, с которой только и стоит считаться, это настоящий момент. И что мне в нем больше всего нравится — это что он не длится долго...

Как-то раз меня в очередной раз посетило искушение написать что-нибудь о Ромене. Это было вечером, на террасе за Капитолием, откуда

открывался вид на Форум и Курию, где Юлий Цезарь был заколот Брутом и его сообщниками, на колонны разрушенных храмов и триумфальных арок имперского Рима: именно в этом месте вид процессии монахов, движущейся между останками империи, навел Гиббона на мысль о написании его знаменитого «Заката и падения Римской империи». Я сказал Ромену об идее, смутно копошившейся в моей голове. Естественно, мое честолюбие не простиралось так далеко, как у английского историка, и все же оно показалось Ромену чрезмерным. Он окинул меня странным взглядом и, к моему изумлению, продекламировал мне стих, которого я не знал:

Настало время мне развлечься
И порезвиться от души...
О Боже, разве не смешны
Те, что за книгой длят свой век,
Забывши истину простую:
Для жизни создан человек.

Что пользы книгу изучать —
Над нею без толку скучать?
Найди нам, Коридон, местечко,
Где добрым блюдом угостят,
Вина бутылку охладят —
В беседке с розами потом
Забудемся мы сладким сном...

Опустим розы мы в вино,
Вином же окропим мы розы,
И выпьем мы его до дна:
Пусть испарятся грусть и слезы
С парами доброго вина!

(Перев. Е. Чижевской)

— Что это? — спросил я его, несколько ошеломленный.

— Ронсар, — ответил он. — Брось ты эти свои глупости. Книг стало так много, что их время подошло к концу. Рембо, Валери, Андре Жид — все они забросили книги, а иногда даже — можешь такое себе представить? — и свои собственные...

— Боже! — воскликнул я. — В какое время мы живем!

— Лейтесь, потоки бессмыслицы!.. Пойдем чего-нибудь выпьем.

Я не переставал удивляться ему. Он — неверующий, насмешливый — знал гораздо больше, чем можно было в нем предположить...

В другой вечер (воспоминания, воспоминания... что вам нужно от меня?) на закате солнца, на борту корабля, на котором мы вчетвером — Марго, Марина, Ромен и я, — проходили через Киклады, я услышал, как он что-то проговаривает про себя. Я спросил, что это.

— Да почти ничего, — отмахнулся он от меня.

— И все же мне кажется, что...

— Да, это песенка, — признался он.

Мы помечтаем, как во снах:
Взяв ты — меня, а я — тебя,
Ускачем вместе на конях
Под пенье соловья.

Мой конь пусть будет радость,
А твой — любовь сама.

Сегодня вечер счастья,
Я — твой властитель и слуга...

Иди ко мне, я пьян слегка,
И будь нежна со мной.
На этой просеке лесной
Дыханье легкое твое
Нежнее мотылька...

Так мы помчимся в час заката...
В лицо нам будет бить заря,
И я — велик, а ты — богата,
Коль мы живем любя.

Здесь я — твой рыцарь, ты мне — Дама:
Открою душу я тебе!
И мы расскажем эту сказку
Сверкающей ночной звезде.

(Перев. Е. Чижевской)

— Эвираднус! — воскликнул я.

— Браво, наконец-то, — поддел он меня. — Можете зайти на следующей неделе.

Вдали уже можно было различить темную громаду Санторина. Жизнь с этим циником и чудовищным эгоистом, презирающим книги, оказывалась, однако, весьма поэтичной...

...Марго ван Гулип поцеловала свою дочь под растроганными взглядами Казотта и Далла Порта.

— Он был далеко не праведником, — сказал Андре Швейцер, словно прочтя мои мысли.

— Нет, конечно, и все же...

— И все же мы его любили...

Я воздел руки к небу:

— Да, — признал я, — несмотря ни на что, мы его любили...

— Непонятно, — продолжал он рассуждать о Ромене, — почему так везет только негодникам?

— «Негодник» — это слишком сильно сказано. Вам не кажется?

— Я хочу сказать: его привлекательность была привлекательностью плохого парня... И потому...

На его глазах показались слезы. Я положил руку ему на плечо.

—...и потому — да упокоит его Господь в мире, по милосердию Своему...

— Аминь, — пробормотал я.

Андре Швейцер был добрым христанином.

— Вы не против, — спросил я его, — если мы поедем вместе?

Он приехал на кладбище с Беширом. С отъездом все получалось иначе: Бешир увозил Марину и Королеву Марго. Я уже предлложил Казотту и Далла Порта подвезти их. Оставалось место и для Андре.

Бешир подошел ко мне:

— Я подвезу мадам Мэг и ее дочь, — сказал он.

— Отлично, — ответил я. — С отъездом все устроилось как нельзя лучше. Мадам Полякова — на своей машине. Цвингли уехали с посланником. «Большое предместье» и Виктор Лацло уместились в микроавтобусе, который ты догадался заказать. Великий канцлер увез парикмахершу в своей машине с кокардой. Изабель приехала с матерью, а уехала с отцом...

— Чтоб ему пусто было, — проворчал Бешир.

— Помилосердствуй, — осадил я его. — Сейчас не время сводить счеты. Жерар — славный парень. А физически он в лучшей форме, чем все мы.

— Да, — заявил Бешир, — я предпочел бы быть на его месте, чем видеть его перед собой.

Я не мог удержаться от смеха.

— Так мог бы выразиться Ромен. Теперь, когда его нет с нами, не возьмешься ли ты нам его заменить?

— О нет, месье, я не осмелился бы.

Я пожал ему руку.

— Он тебя очень любил.

— Да, месье, — ответил Бешир и как-то сразу отвернулся...

Я подвел к машине обеих дам, поддерживавших одна другую. Бешир, как всегда прямой, держал открытой дверцу автомобиля. Марго обняла меня на прощание, бормоча что-то свое, и там проскользнуло слово «Патмос». Я поцеловал Марину.

— До встречи, — сказала мне она.

Я склонил голову. Автомобиль тронулся с места... Все-таки забавно и непредсказуемо устроен наш мир. Машину вел ветеран вермахта и дивизии «Шарлемань», бывший в том последнем кругу ада одним из самых близких к Гитлеру людей; в этой же машине бывшая любовница счастливчика Лючиано, под тогдашним именем Мэг Эфтимиу, вместе со своей дочерью Мариной оплакивали в объятиях друг друга единственного человека, которого по-настоящему любили обе: Героя Советского Союза, «субъекта без чести и совести», «реакционера-обольстителя», который после войны встретился на их пути однажды в Нью-Йорке, у входа в музей «Метрополитен»...

Бесчисленные тени вставали передо мной в обителях мертвых. Вот немецкие танки, палимые солнцем в степях Украины; руины Сталинграда под снегом; всемогущая мафия, простершаяся от холмов Сицилии до небокребов Нью-Йорка и Чикаго; советский маршал Жуков, чья грудь увешана орденами, по дороге на Бретань... И еще Тамара и Молли, о которых не помнил теперь никто, кроме меня и нескольких стариков, доживавших свой век где-нибудь в английской деревушке и в какой-нибудь русской деревянной «izba,» которые тихо плакали в своем углу...

...Мы несем на своих плечах все прошлое нашего мира. Ромен присоединился к компании гораздо более многочисленной, чем живущие на земле, — к мертвым, ушедшим в вечность. Он нашел там Молли, убитую бомбой среди школьников, жертв Сталинграда, своих товарищей по «Нормандии-Неман» и все восемьдесят миллиардов человеческих существ, прошедших по этой земле. Многие верят, что наша судьба определяется расположением светил при нашем рождении. Гораздо вероятнее другое (Виктор Лацло, конечно, шут гороховый, но в этом он прав): она связана прежде всего с событиями нашей истории. Люди моего поколения были бы совсем другими, не выпади им на долю двойная катастрофа, две мировые войны. Они не были бы такими, не будь в их истории двух «братьев-близнецов»: Гитлера и Сталина... Разве французы стали бы тем, что они есть, без поражения в 40-м, без славы и падения Наполеона, без Великой Революции? Англичане — без своих индийских колоний и своего законодательного акта «habeas corpus»? Немцы — без Гогенштауфенов, Геббельса, но и без Гейне, Гегеля, Лютера? Африканцы — без работорговли и вывоза их в Новый Свет? Иудеи — без Вавилона, Титуса, разрушения иерусалимского храма, инквизиции и холокоста? Американцы — без Христофора Колумба и войны за независимость?

Ромен был неправ: прошлое значит для нас не меньше, чем настоящее. Мы вышли из своего прошлого. И, может быть, мы отчасти то, чем хотели бы стать в посмертии? Все прошлое и те, кто ушел от нас, влияют на нас не менее, чем та среда, в которой мы живем сейчас. И тот образ будущего, который мы создаем в своем воображении, имеет большее значение для нашего настоящего, чем само настоящее. В сущности, настоящее — это лишь воспоминание и предвидение.

— Вы едете? — спросил меня Андре.

Казотт и Далла Порта тоже ждали.

И мы вчетвером направились к моей машине, ожидавшей в нескольких шагах от ворот. Это был старенький «мерседес»: ему было более двадцати лет, он побывал на всех дорогах Европы и дальше — в Турции, Афганистане, Индии. Ромен раньше часто устраивался на его сидениях; сейчас они стали уже совсем потертыми. Мы, все четверо, шли медленно, с каким-то смутным чувством неловкости и вины, вероятно, за то, что вот он умер, а мы живы... И целый рой воспоминаний тянулся за нами шлейфом...

Наш прекрасный мир — это приключение, в котором абсурдное и возвышенное постоянно спорят друг с другом. Всякий раз, когда мы делаем упор на его абсурдность, он отвечает красотой. И каждый раз, когда мы настаиваем на веселье и радости в нем (как это делал Ромен), — он отвечает страданием и смертью.

— Хотите — я поведу машину? — спросил Андре.

— Да, пожалуйста, — ответил я ему.

Я чувствовал себя уставшим.

Казотт и Далла Порта устроились на задних сидениях. Усевшись рядом с Андре Щвейцером, я вставил кассету в магнитолу. Это была кантата Баха, опус 147 — «Сердце, уста, деяния и жизнь».

— Бог... — начал было Швейцер...

— Да, — прервал я, — мы все знаем: в этом названии баховской кантаты — «перечень долгов Всемогущего художнику»... Ромена это очень забавляло...

Мы ехали в Париж по дороге, идущей через предместье.

— Я спрашиваю себя, — говорил Андре, — видит ли и слышит ли он нас сейчас?

— Вот этот вопрос, — сказал Далла Порта, — он бы никогда не задал.

— Я знаю, — возразил Андре, — но он напрашивается сам собой.

Мы слушали мелодии Баха, такие прекрасные, умиротворяющие, возвышающие душу, похожие одна на другую своей умной простотой — и потому так легко узнаваемые. Я хотел, чтобы они звучали у могилы Ромена... Сейчас, когда я уже не был связан его запретом, я мысленно посвящал ему эту музыку, это разрывающее душу счастье...

Целые комья любви образовывались везде: в горле, в сердце, в воздухе парков, в просветах между домами... И все было покрыто тайной...

— Вы должны, — говорил сзади Казотт, положив мне руку на плечо, — написать что-нибудь о нашем друге...

Минуту я молчал: я вспоминал тот наш с ним разговор в виду Форума и то, что он думал о книгах.

— Я не уверен, — заговорил я, — что это ему бы понравилось. Он не любил книг: он считал, что их развелось слишком много.

— И он не был неправ, — сказал Далла Порта.

— Ле Кименек как-то рассказывал мне, что на его адрес приходит пять-шесть книг каждый день. И чуть ли не по два десятка ежедневно в «горячее время», то есть весной и особенно осенью, когда они валятся на него ворохом, как осенние листья с деревьев. Он провел интересные

наблюдения за тем, как они упакованы. Он утверждает, что самые плохие всегда упакованы лучше всех в специальную клеящую бумагу и их труднее всего извлечь из этой упаковки. В конце концов он их возненавидел и стал вывозить целыми тачками. Нужно ли впутывать Ромена в эту круговерть вопреки его желанию?

— Да, — сказал Андре, — он предпочитал молчание.

И мы замолчали все четверо. Это правда: он не любил шума, криков, слов. Он терпеть не мог всяких глоссариев и комментариев, столь характерных для нашего времени. Он чаще молчал.

— Теперь он замолчал навсегда, — сказал Казотт. — Я полагаю, что ангелы не болтливы.

— Менее, чем мы, — в любом случае.

— Боже мой! Да там царит тишина.

— Возможно, музыка? — сказал Андре. — Музыка ангелов. Музыка сфер. Великий концерт миров. Он любил музыку.

— А не существует ли что-нибудь такое, вроде гула Вселенной? — спросил я.

— Конечно, — ответил Далла Порта, — это изначальный гул, идущий еще со времен «большого взрыва». Вселенная — это звучащее зрелище.

— Вопрос не столько в том, — сказал Андре Швейцер, — чтобы знать точно, бессмертна ли наша душа и продолжает ли она жить после смерти как личность. Что мы живем в посмертии так, как мы жили при жизни, — это маловероятно. Вопрос в другом: существует ли она — эта тайна Вселенной — и не существуем ли мы для того, чтобы ее познать.

— А разве есть какая-то тайна? — спросил я.

— Да, конечно, тайна есть, — ответил Далла Порта. — Есть целый ворох тайн. Наука сплошь состоит из загадок, которые мы бесконечно разгадываем одну за другой.

— Я говорю об одной тайне — единственной, — которая заключает в себе все остальные, — уточнил я.

Далла Порта запнулся в нерешительности.

— Ньютон так считал. И Лаплас. И Эйнштейн. Все гении науки верили, что мир устроен очень просто. Очень сложно и очень просто. Что мир построен очень изящно и являет собой образец гармонии. Что он не развивается неизвестно куда и неизвестно как и что Бог, выражаясь кратко и понятно всем, не играл в «орла и решку», создавая его. Эйнштейн, в конце своей жизни, отчаянно искал эту единственную формулу, которая объединила бы в себе квантовую теорию Планка, Гейзенберга, Бора и его собственную теорию относительности. Объединение всех областей науки стало у него навязчивой идеей.

— Единственную формулу?

— Да, единственную формулу.

— Но в вашем представлении, насколько я понимаю, — сказал Казотт, — раскрытие тайны Вселенной — в противоположность тому, что думает об этом Андре Швейцер, — это дело не мертвых, а живых.

Некоторое время в нашей машине слышалась лишь кантата 147, словно ответ на все наши вопросы, даже еще незаданные.

— Вот в этом-то и суть, — проговорил я. — Кто может разгадать эту тайну, живые или мертвые?

— Это вопрос почти абсурдный, — сказал Далла Порта, — потому что ответ на него слишком очевиден. Живые существуют, мертвые не существуют.

— А вот в этом уверенности нет, — возразил Андре.

...Музыка Баха. Солнце светит вовсю в прояснившемся небе. Мы в потоке машин. Вот и перекресток.

— Здесь мне повернуть направо? — спросил Швейцер.

— Нет, — ответил Казотт, — сначала налево, это короче, а потом — направо.

— Не кажется ли вам, — вернулся к разговору Швейцер, — что Ромен сейчас, так или иначе, знает больше, чем живые?..

— Ромена больше нет, — отрезал Далла Порта.

— Может быть, он просто в другом состоянии?

— В другом состоянии? Да, конечно, он обратился в прах. Кстати, он сам именно так и думал. Вы же знаете: он ни на мгновение не допускал мысли, что от него что-нибудь останется. Он был убежден, что исчезнет полностью и навсегда.

— А живые, — спросил Казотт, — вы верите, что живые когда-нибудь раскроют эту тайну?

— Да, верю, — ответил Далла Порта.

Мы опять замолчали. Наша машина казалась ковчегом, в котором мы спасались от окружавшего нас мира.

— Вполне возможно, — ответил я ему. — И даже желательно. Но мы, люди, такие хитроумные, ученые, уверенные в себе, этакие хозяева жизни, не исчезнем ли мы когда-нибудь все до одного, как в свое время исчезли динозавры?

— Несомненно, — ответил Далла Порта. — Человечество не вечно. Оно исчезнет, как и все остальное. Это, как говорится, написано у него на лбу.

— Но тогда, — спросил я, — что будет со вселенской тайной, если она принадлежит только живым? Когда не будет Солнца, когда Земля умрет, когда исчезнут люди, кто будет знать эту тайну?

Мы въехали в пригород. Поток машин стал еще более плотным. Повсюду было много людей, общественного транспорта; вот и рекламные щиты на перекрестках, афиши на стенах — карусель современной жизни.

— Может быть, компьютер? — предположил Казотт.

— Никогда не поверю, — сказал Андре Швейцер, — что ключ к тайне Вселенной может принадлежать компьютеру.

— Ба! — возразил Далла Порта. — Ключи иногда теряются. И тайны тоже исчезают. Мы узнаем все о Вселенной и пойдем на дно вместе с ней.

Здесь я не удержался и процитировал:

В порту мы, от бурь и штормов отдыхая,
О море житейских тревог рассуждаем...

— Чьи это стихи? — спросил у меня Казотт.

— Не знаю, — ответил я. — Это Ромен мне их читал:

...Оливки — в давильне, а в бочке — вино,
Ребенок, смеясь, нам вино наливает —
Вербеной и мятой пропахло оно,
Судьбы милосердием нас омывает.
В порту мы, от бурь и штормов отдыхая,
О море житейских тревог рассуждаем...

(Перев. Е. Чижевской)

— А когда вся Вселенная исчезнет и станет только воспоминанием, кто будет вспоминать о Вселенной?

— Конец Вселенной — это отдаленная гипотеза, — сказал Далла Порта.

— Гипотеза? — переспросил я.

— Уверенность, если вам угодно, — но далекая. Очень далекая.

— Но бесконечное расширение и охлаждение «Большого взрыва» или, наоборот, его обратное движение и завершение огненным «Большим крахом» — это все-таки когда-то произойдет?

— Похоже, что да, — ответил Далла Порта.

— И вы думаете, что все, абсолютно все: Земля, люди, наш мир с его историей, мысль, сама Вселенная — все это исчезнет без следа, как сон, который никому уже не может сниться?

— Понятия об этом не имею, — ответил Далла Порта.

— Ага! Вы, знающий почти все, на самом деле знаете не так уж много.

— Когда-нибудь мы будем знать все.

— Мы никогда не будем знать всего, — возразил Казотт. — Люди никогда не узнают тайну Вселенной. Они будут лишь все больше узнавать о ее «механизмах».

Они узнают «Как?», но не узнают «Зачем?» Цивилизации сменяли одна другую; каждая из них мнила, что знает больше предыдущей и что приблизилась наконец к последней истине... И все они...

— И все они были правы, — отрезал Далла Порта. — Они были этапами на этом пути к истине, через прогресс и все его превратности. Человек непрестанно расширяет свои познания, и настанет день, когда мы будем знать все обо всем.

— Я верю в науку так же, как вы, — сказал Андре Швейцер, — но она ставит гораздо больше вопросов, чем может дать ответов. И никогда наука не исчерпает Вселенной, которая гораздо больше, чем она, и тайна которой находится вне ее.

— Вне ее? — переспросил Далла Порта.

— Да, вне ее.

— Нет никакого «вне». Есть человеческое знание. Наука пока не знает всего, но она может знать все.

— Есть нечто иное, кроме нашей жизни, кроме нашего мира. Есть Разум над человеческой мыслью. Мы ничего не знаем о Нем, мы не можем говорить о Нем, но мы чувствуем, что есть Что-то над нами...

— Если о чем-то нельзя говорить, то лучше об этом помолчать, — сказал Далла Порта.

— Есть иная реальность. Ромен уже вошел туда, и мы все войдем.

— Нет иной реальности, и мы никуда не войдем.

— Ладно вам, — примиряюще сказал я, — нам остается лишь немного подождать.

И мы расхохотались, все четверо, в этой машине, увозившей нас от кладбища с могилой Ромена, усыпанной розами.

...Мы ехали. И всю дорогу Ромен незримо присутствовал рядом с нами. Он сидел то рядом со мной, то сзади, между Казоттом и Далла Порта. Я поворачивался, чтобы ему ответить. Я его видел, слышал. Его голос. Его смех. Ощущал его властное присутствие, его силу убеждения. Все, что так много значило для нас. Может быть, это его душа была рядом с нами?..

Я воскрешал в памяти мимолетные мгновения и обреченные на исчезновение, но такие прекрасные места, которые мы с ним особенно любили. Это было как молитва, обращенная к нему в его отсутствие, теперь вечное...

Конечно, мы с ним не исчерпали мир! Может быть... может быть... лучше было бы и не начинать его исследовать? Другие делали историю, развивали бурную деятельность, сражались в Бангладеш или в Афганистане, получали Нобелевские и Пулитцеровские премии, писали гениальные

книги, снимали фильмы, поднимали за собой целые толпы, становились министрами чего-нибудь, будучи избранными где-то... А мы довольствовались тем, что просто были счастливы...

Ромен сумел передать мне свой жадный вкус к жизни — это редкость в наше время, измученное разного рода катастрофами. Меланхолия, тоска, да и посредственность, тоже заразны, как болотная лихорадка. И было что-то очень заразительное в той радости жизни, которую исповедовал Ромен вопреки моде своего века. Его тупому бычьему упрямству Ромен умел противопоставить радость жизни и защищал эту радость, как осажденную крепость... он научил меня быть счастливым...

Мне выпал счастливый шанс жить. С ним. Или без него. Прогуляться по Понте-Веккио и у подножья Сан-Миниато... Любоваться озером Палас с балкона огромной комнаты отеля в Удайпуре... Ходить по песку, скользить по снегу... Слушать кантаты и народные песни. Увидеть, как Артур Рубинштейн подражает Чарли Чаплину. Просто сидеть рядом с Роменом и вместе молчать... Жизнь стоит того, чтобы потом умереть. Она — вечное сокровище...

...— О чем ты думаешь? — спросил меня Андре.

О чем я мог думать в такой день? Конечно, о Ромене. О мире, который он любил. О долгой истории своей жизни, центром которой он был, о своей вечной разбитой и вечно возрождавшейся мечте... Об Ахмеде (он навсегда занял свое место в жизни Андре, который сейчас вел машину, время от времени поглядывая на меня сбоку) и его животе, набитом камнями... Об Айше, которую я никогда не знал... О больших кораблях, за неделю пересекавших Атлантику от Гавра до Нью-Йорка... О Сталинграде, Алжире, Берлине в мае сорок пятого... О Маранцано, убитом еврейскими гангстерами в день, который не был субботой... О святом Симеоне-Столпнике, который наставлял императора и папу с высоты своей колонны... О двух Еленах, забытых всеми и вами, читатель, в том числе: жене префекта полиции Марселя, которая так хотела удержать возле себя Ромена, и Элен Тенье, на которой женился один из клана Швейцеров в Алжире... О генерале Де Голле и маршале Жукове, с которыми связал свою жизнь юный удачливый авиатор...

Бесчисленные нити связывают нас со всем на свете. В пространстве и во времени. Я воевал в «Нормандии-Неман», проникал в среду докеров с сицилийской мафией, пересекал Атлантику в платьях от Шанель на пакеботе «Иль-де-Франс»... Все, что произошло с Роменом, Марго, Мариной, со всеми другими — произошло со мной... Мир и я были едины. В малом пространстве этой машины, в которой я ехал вместе со Швейцером, Казоттом и Далла Порта, мне показалось вдруг, что я разрастаюсь до размеров всего мира, который принадлежит мне так же, как я принадлежу ему. Я был всеми, я был даже последним нищим, спящим в метро... Я был целым миром, потому что я мог думать о нем...

— А теперь куда? — спросил Швейцер.

— Все время прямо, — ответил Казотт.

...Все проходит, но и все остается. Ведь все, что было (и в этих нескольких словах содержится вся Вселенная), не может перестать быть. Миллиарды человеческих жизней, исчезнувшие цивилизации, умершие дети и ушедшие весны — вся некогда бурлившая жизнь, а ныне как бы исчезнувшая, останется навсегда, потому что это было. То, что только притворяется существующим, обязательно уйдет. Но то, что было по-настоящему, не может быть уничтожено. Все, что мы сделали достойного или постыдного, записано в прошлом. А рай и ад, может быть, не что иное, как воспоминание о том, что сделано нами...

— Мы прибыли, — сказал Андре Швейцер.

...Мы всегда куда-то прибываем. Вопрос только — куда? Страданий и смертей всегда хватало с избытком, куда же больше? И все же мир прекрасен, и в нем живут молодые люди, которые ждут от будущего всего. Наша история всегда была скверной до безобразия. И все же в ней были-таки чудесные мгновения, если мы продолжаем любить эту жизнь, жестокую и полную разочарований... Если бы мы рассказали ее разумным существам, пришедшим из других миров, которые ничего не знают о нашем реальном мире, то изумление и ужас отразились бы у них на том, что должно быть лицом...

Существует что-то иное, кроме этой нашей реальности, которая, может быть, всего лишь сон. Существует что-то иное, кроме этой жизни и этого земного счастья, которые проходят. И это — не небытие. Это — противоположность небытию. Оно прячется за обманчивыми земными формами, оно творит время, держит этот мир, дает способность Ромену смеяться, и оно длится вечно...

— Смотри-ка, — выругался Казотт, — еще одна сумасшедшая!

Нам под колеса чуть не попала высокая девица в плаще, с рыжими, очень коротко стриженными волосами, в наушниках, настолько погруженная в какие-то свои мечты, что, не видя ничего вокруг, переходила дорогу прямо наперерез мчащимся автомобилям. Она шла и улыбалась солнцу...

Перевод с французского Елены ЧИЖЕВСКОЙ.



ГРИГОРИЙ КЛОЧЕК

Тарас Шевченко — поэт элитарный



В одной из первых статей своей конгениальной Шевченкианы Евгений Маланюк писал, что «по большому счету, единственным спасением против всех [...] национальных болезней является именно огненная, вулканическая, страшная в своем национальном демонизме поэзия Шевченко — и до сих пор — только она одна и никакая другая». И тут же продолжил: «Между гением и современностью всегда конфликт. Гений отдает всего себя, но современность берет от него то, что она способна взять. Это касается как отдельных людей, так и поколений, общества, определенной эпохи, ее стремлений, ее духа.

Бессмертные произведения великих творцов, которые живут в веках, претерпевают в сознании современников неустанную эволюцию».

О том, что каждое новое поколение по-новому открывает для себя слово Шевченко, уже сказано не единожды. Маланюк в характерной для него манере лишь придал выразительность данному концепту. И подчеркнул при этом одну важную мысль: «Между гением и современностью всегда конфликт».

Нам чаще стоило бы задумываться над конфликтом: «Шевченко и настоящее». Он разноаспектный и весьма неоднозначный.

Об этом конфликте думаешь, наблюдая за ритуалами возложения венков к памятнику поэту. Тогда чаще всплывает вопрос, насколько руководящие лица разных рангов, которые чинно подходят с венками к памятнику или даже произносят речи на митингах или различных собраниях, посвященных очередной годовщине поэта, понимают, кем в действительности является Шевченко для нации? Этот конфликт напоминает о себе, когда, например, приходится наблюдать, как сегодняшние пятиклассники городских школ воспринимают «Вишневый садик возле хаты», — они, например, не знают, что такое «хрущи», не понимают, почему семья ужинает возле дома, а не в доме, почему в семье несколько детей, а не один ребенок («У них что, в доме детский сад?»); удивляются тому, что дети вместе с матерью собираются ночевать возле дома, и на объяснение, что, мол, им там спать было приятнее, потому что в доме душно, спрашивают, почему у них не было кондиционера.

Можно понять и тех старшеклассников и даже студентов, которых не волнует шевченковское слово, потому что его изучение в школе является довольно серьезной проблемой, вызванной как нелепо составленной программой, (считать, например, что старшеклассник способен воспринять архисложные смыслы «Большого погреба», — это проявлять педагогический непрофессионализм), так и отсутствием

качественной сопроводительной методической литературы, которая не пересказывала бы казенным словом стандартные, несчетное число раз повторяющиеся положения, а по-новому открывала бы как учителю, так и ученику глубокую содержательность и красоту шевченковского слова.

Не нужно думать, что во второй половине XIX — первой половине XX века, когда во многих крестьянских избах рядом с иконами висел убранный вышитым рушником портрет Шевченко, его поэзию воспринимали достаточно глубоко. Борис Гринченко в брошюре «“Кобзарь” в деревне» (1906) убедительно доказал, что крестьяне довольно поверхностно воспринимали большинство его стихов. Но у них была еще не нарушена национальная «матрица рецепции», благодаря чему архетипическая шевченковская образность была легко узнаваема тогдашним крестьянином. И такой «поверхностности» в восприятии «Кобзаря» было достаточно для того, чтобы поднялась всенародная волна любви к поэту — той любви, которая, несмотря на все, была фактором, который формировал национальную идентичность, творил нацию.

Характеризуя историю рецепции Шевченко, отдельно надо говорить о случаях «бунтов» против него, они были во все времена. О них писал Евгений Маланюк: «Бунтарские нотки еще в пору Шевченко звучали в зигзагообразных взглядах неистового Кулиша. Косо смотрело на Шевченко поколение «Украинской хаты», в котором молодой Евшан, со свойственным его возрасту пылом, бросался с какими-то требованиями на не слишком низкий пьедестал национального пророка. Мое поколение, — продолжает Маланюк, — знавало громкие, но совершенно бесплодные высказывания футуристических невежд, которые с профессиональным усердием старались, по московским образцам, «сбросить с парохода современности» этого ранее «некультурного», а позднее «классово-бессознательного мужика».

Особая линия неприятия Шевченко, идущая от Виссариона Белинского и завершающаяся современными... (нет, не будем называть их фамилии из чисто этических соображений) — ее лучше назвать украинофобской. Замечательный анализ этого направления сделал Иван Дзюба в статье «Аллергия на Шевченко».

Можно подумать, что, называя все эти «бунты» против Шевченко, осуществляемые по разным причинам, мы подводим к мысли о необходимости каким-то образом защищать его. Нет, совсем нет! Шевченко не нуждается в защите, потому что он велик в своей самодостаточности. Но он нуждается в понимании, ему нужен читатель, способный подняться до него.

Для того чтобы обозначить, сделать более понятным конфликт «Шевченко и настоящее», необходимо прямо заявить: Тарас Шевченко — элитарный художник. «Мужик», «крестьянский поэт» и другие подобные определения отпали от него как заскорузлые оболочки.

Обладающая феноменальной способностью обновляться с течением времени и поэтому становящаяся в каждой новой эпохе остро актуальной, его поэзия превратилась в своеобразную проверку для нации, народа, власти, которую народ выбирает, для каждого гражданина, духовный и интеллектуальный уровень которого определяется способностью подниматься до Шевченко. И чтобы не вспоминать больше «бунтов против Шевченко» и «аллергий на Шевченко», надо сказать откровенно: каждое проявление подобных «бунтов» и «аллергий» в наше время рекомендуется диагностировать как факт моральной и интеллектуальной деградации или сознательно осуществляемой провокации с достаточно понятным политическим подтекстом.

Какие есть основания утверждать, что поэзия Шевченко приобрела признаки элитарной, то есть такой, которая требует хорошо подготовленного, избранного, или, прибегая к современной терминологии, имплицитного читателя?

Благодаря способности поэзии Шевченко обновляться с течением времени обрели большую выразительность и рельефность приоритетные для мировой литературы содержательные художественные концепты. Например, теперь о поэме «Кавказ» можно говорить как о первом масштабном в мировой литературе произведении антиколониальной направленности. В поэме «Сон» («У всякого своя судьба...») впервые осуществлен художественно-системный анализ российской самодержавной или — шире — тоталитарной политической системы.

Особый вопрос — прозорливость Шевченко. Двадцать лет украинской независимости актуализировали извечные национальные проблемы — те, которые пророчески были высказаны во многих стихах, и наиболее сконцентрированы в завещании «И мертвым, и живым...»

Необходимо признать, что именно в последние годы, как никогда ранее, мы почувствовали, насколько современной является поэзия Шевченко. Может, кому-то это утверждение и покажется преувеличенным и недостаточно корректным, однако следует сказать, что сейчас у нас нет ни одного художника, мыслителя, ни одного политика, который бы объяснил сегодняшние наши проблемы глубже Шевченко. Шевченковская национальная идея объясняет нам нас самих, обнаруживает нашу силу и красоту в той же мере, в какой с беспощадной откровенностью она выявляет и темные стороны нашей «национальной души». Шевченковская национальная идея — это та смысловая глыба, которая еще не осмыслена как целостность, не сконцентрирована в каком-либо одном исследовании и неизвестно, будет ли это когда-нибудь сделано вообще. Написаны тысячи статей и сотни книг, освещающие какую-то частицу этой глыбы, в лучших случаях — какие-то отдельные фрагменты. Объясняется это, на наш взгляд, очень просто: каждый, кто хочет углубиться в какую-то одну проблему, то есть пытается осветить какую-то частицу этой глыбы, при условии, если он обладает достаточной проницательностью, начинает погружаться в нее, втягивается в бездну смысла, что открывается ему, и неумолимо теряет возможность с нужной проницательностью схватить «всего Шевченко». А если появляются намерения не втягиваться в рассмотрение отдельных проблем, а схватить, подвергнуть какому-либо синтезирующему осмыслению «всего Шевченко», то такая попытка, пусть даже ее осуществляет исследователь с мощным интеллектуальным потенциалом, превращается в длинную констатацию идей и смыслов уже более-менее хорошо известных.

С течением времени все более явственными становятся общечеловеческие моральные ценности его поэзии. Здесь прежде всего требует осмысления беспримерный, впечатляющий глубиной и эмоциональной трепетностью гуманизм Шевченко — сквозной, такой, что составляет плоть творимого им поэтического субстрата. Его сострадание является безграничным ко всему, что требует справедливости («правды»!) и защиты, идет ли речь об украинской женщине-покрытке, или о кавказском народе, который вырывается из-под колониального ига.

Его поэзия — пример высокой любви к своему народу. Любви действенной, направленной на достижение результата. Вспомним хотя бы его осуществленное намерение впрячься в «тяжкий плуг», чтобы пахать «целину», готовить народное сознание к переходу на более высокий уровень национального самосознания («Чигрине, Чигрине...»). Любви жертвенной, ведь он, предчувствуя, что придется «низвергнуться в кандалы», все же сделал свой выбор («Проходят дни, проходят ночи...»). Любви, которая не мешала ему быть критичным, вспомним многочисленные примеры его жесткой «национальной самокритики». Здесь речь идет об истинах известных, сотни, а может, и тысячи раз озвученных в разных контекстах и вариациях. Но в контексте конфликта «гений и современность» они нуждаются в обновленном восприятии, требуют читателя элитарного, такого,

который бы озвученные истины воспринимал не как холодные логические положения, а как эстетически заряженные, волнующие смыслы. Именно читателя с высокой культурой художественного восприятия.

Прибегая к современному языку, следует отметить, что поэзия Шевченко имеет различные уровни декодирования: поверхностные, менее поверхностные, глубинные... И эта глубинность, как мы уже знаем, является бесконечной, бездонной и неисчерпаемой. Элитарный читатель должен обладать кодами глубинного, а значит, нового уровня прочтения.

Наивно было бы думать, что эта вулканическая энергия поэзии Шевченко может содержаться в оболочке простого, примитивно обработанного слова. Новейшее ее декодирование невозможно без осмысления секретов огромной энергетической емкости слова Шевченко, тех секретов художественности, раскрытие которых дает не только понимание источников эстетической силы его слова, но и помогает открывать новые нюансы, то есть более тонкие, ранее неуловимые, а значит, и не эксплицированные «на поверхность», подтекстовые смыслы.

Бесспорно, те смысловые приоритеты Шевченко, которые открываются с течением времени, могут находиться, храниться для вечности лишь в некой особенной ценностной форме. Ведь хорошо известен «вечный» закон художественности: даже незначительная фальшь в «содержании» художественного произведения, так же, как и незначительное несовершенство в его «форме» (возьмем эти слова в кавычки, понимая всю условность разъединения формы и содержания), медленно отбирает у него жизненную силу.

В произведениях, принадлежащих вечности, «форма» и «содержание» находятся в абсолютной гармонии. Нам еще нужно подниматься и подниматься к пониманию этой идеальной гармонии «содержания» и «формы» поэзии Шевченко.

Вот почему, учитывая все сказанное, надо решительно менять общественную позицию восприятия Тараса Шевченко и подниматься к нему, понимая высокую элитарность его поэзии.

Перевод с украинского Юлии АЛЕЙЧЕНКО.

ЕВГЕНИЙ СВЕРСТЮК

А что, если бы Шевченко...

Мы склонны верить, что в жизни человека нет случайного. Что судьба проявляется через случай. Мы верим в призвание...

Когда речь идет о великих людях, то их назначение кажется очевидным. Все благоприятные и неблагоприятные условия помогают реализовать их миссию...

А между тем, судьбу великих, а в особенности судьбу Шевченко, склонны переигрывать, исходя то ли из мотивов «помочь» ему, то ли из сострадания, которое особенно проявляется, когда читаешь такие строки:

Свой глупый разум проклинаю,
Что нас позволил с толку сбить,
Свободу в луже утопить.

(Перевод Л. Вышеславского)

И уже потому, что биография нам хорошо известна, мы пробуем разыграть другой вариант жизни того, кто с самого рождения уже имел знаки судьбы на челе.

Особенно привлекательны рассуждения о поездке Шевченко в Рим на учебу. Ведь это, по сути, был вполне реальный план поездки в солнечную столицу, которую Гоголь назвал «родиной души»...

И здесь хочется поиграть в воображаемые сюжеты, чтобы увидеть поэта с другой стороны, чтобы острее ощутить его сопротивление окружению. Действительно, что, если бы не выкупили Тараса из крепостничества?

А что, если бы не донос Петрова?

Кстати, а каков путь самого Петрова?

Случайна ли катастрофа 1847 года?

Допустим, Шевченко отправляется в Рим...

И что же стоит за словами: «Не так недруги твои, как добрые люди — и обкрадут жалеючи и плача осудят» (Перевод Н. Ушакова).

Что ожидало бы Шевченко, если бы его не спасли и не забрали из казармы?

Люди склонны переоценивать влияние обстоятельств и недооценивать сопротивление обстоятельствам.

Шевченко спасло уже то, что судьба забросила его в Петербург, где было наибольшее сосредоточение украинской интеллигенции.

Если бы не знакомство с Сошенко, было бы какое-то другое знакомство с художественным миром. Такая яркая личность не могла разминуться с Академией художеств и с земляками, которые держались тогда вместе, ведь вокруг «Московия, кругом чужие люди...»

Конечно, знакомство с Карлом Брюлловым и его средой — это благоприятная атмосфера для вхождения в мир культуры и ощущения дыхания свободы. Об этом Шевченко писал в автобиографии: «Суровая украинская муза долго избегала моего вкуса, искаженного жизнью в школе, в господской прихожей, на постоялых дворах и квартирах; но когда дыхание свободы вернуло моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогой родительской крышей, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужбине».

Все это так, однако слова «Ревет и стонет Днепр широкий» из «Причинны» написаны за год до выкупа из крепостничества...

Шевченко как личность уже был полностью сформирован, и в памяти его было все то, что мы видим в «Кобзаре» 1840 года.

И встречи с Евгением Гребинкой, и знакомства с Квиткой-Основьяненко было не избежать. Итак, признал Шевченко не только Карл Брюллов. И патриотические настроения, и романтика в атмосфере времени, и интерес к истории Украины в украинских кругах, и неизбежное знакомство с «Историей русов», и память о гайдамацких историях из рассказов деда...

Словом, Шевченко уже был в плену украинской стихии. Но еще «не знал, бедолага, что выросли крылья, что небо достанет, когда полетит...»

Случилось так, что за два года жизни на свободе Шевченко издал книгу «Кобзарь» и был, несмотря на упреки за украинский язык, фактически признан настоящим поэтом, даже «малороссийским Бояном». В Украине ширилась слава народного поэта. Она росла и росла с годами. А особенно доходило до обожествления его имени после перезахоронения.

Итак, говоря о поэте «от Бога» не стоит ставить вопрос, каким бы он был при других обстоятельствах. Он есть.

Из-за доноса Петрова усилилась на Украине жандармская бдительность и активность. Собственно, начались гонения на украинское слово и подозрения украинцев в неблагонадежности.

В доносе Петрова и в материалах следствия откровенно акцентированы национальные обвинения со всей серьезностью.

Обвинения в украинском национализме — по революционной терминологии.

Что же касается самого доносчика, он был обласкан жандармским III отделением. Там тоже понимали, что это за сорт людей... Ходили слухи, что граф Дубельт, управляющий III отделения императорской канцелярии, в прошлом заигравшийся с либерализмом, когда уже стал профессиональным гонителем, то все же доносчикам отмерял гонорары с намеком на 30 сребреников Иуды (то по 30 руб., то по 300).

Алексей Петров за донос получил 300 рублей серебром и еще 300 серебром при отправке в Олонецкую губернию в ссылку.

В следствии над Кирилло-Мефодиевцами Дубельт проявил жандармское коварство и суровость. А о Петрове ходили преувеличенные слухи, что его якобы недооценили. В одной недавней публикации даже была ссылка на отзыв министра Валуева, который похвалил Николая I за немилость к доносчику Петрову...

Между тем, биограф Шевченко Александр Конисский внес ясность в это дело, потому что оно поучительно.

На службе в III отделении Петров похитил некий документ и вместе с доносом на Дубельта отослал его царю как «доказательство, что в III отделении за деньги можно добыть все». Царь велел выследить доносчика, следствие доказало, что донос сделал Петров. Он пришел с повинной и признался, что писал донос, руководствуясь местью. Царь велел бросить его в крепость на год, а затем сослать под надзором полиции в Олонецкую губернию вплоть до 1870 года. Умер Петров в нищете, перебиваясь случайными заработками.

Что же касается поэта, то у него судьба евангельского светильника, который прячут под стол, но все-таки ставят на подсвечник, чтобы он светил всем и чтобы далеко было видно...

Судя по воспоминаниям современников, Тарас Шевченко читал свои произведения даже в присутствии совершенно чужих людей, что в полицейском государстве не могло быть скрыто.

Виктор Аскоченский, профессор и журналист, вспоминает, как он, проживая в доме генерал-губернатора Бибикова, пригласил Шевченко на чай. Между гостями был и жандармский офицер. Поэт прочитал некоторые свои произведения, в частности отрывки из «Еретика».

— Эх, Тарас, — испуганно сказал хозяин, — оставь, а то не доведут тебя до добра эдакие плохие стихи.

— А что же мне сделают? — спросил Шевченко.

— Москалем тебя сделают.

— Пусть, — ответил Тарас и, махнув рукой, начал читать еще более откровенные вещи.

Спасением для молодого поэта и художника было бы уехать за границу. Стипендию молодым художникам предоставляла Академия искусств. Главным образом тем, кто целиком посвятил себя живописи, как, например, приятель Тараса Штернберг.

В 1847 году Шевченко уже готовился к выезду в Италию. На этот раз его выбрали не за талант художника или поэта, а как одаренного певца. О влиянии личности Шевченко часто вспоминали его современники, но тех случайных показаний недостаточно, чтобы составить целостное впечатление о его исключительном свечении во время вдохновения.

Знаток украинской песни, составитель сборника «Украинские народные песни» Михаил Максимович рассказывал, что он упивался шевченковским пением: «Художественная натура Шевченко великолепно проявляла себя и в поэзии, и в живописи, но еще сильнее и лучше проявлялась она в пении украинских народных песен».

Подробное свидетельство об этом пении оставил нам П. Кулиш в описании своей свадьбы, где Шевченко был старшим боярином. Об этом пишет биограф Шевченко А. Конисский: «Свадебные гости после молодых больше всех уважали старшего боярина за свойственные ему песни. Гостей на свадьбе были полны горницы: гудели они по всем углам, словно шмели; кое-где щебетали, словно воробышки, вообще было больно шумно, но вот старший боярин, заложив назад руки, начал ходить по залу и запел:

Ой, сойди, сойди ты, звездочка
вечерняя.
Ой, выйди, выйди, девчоночка
моя верная...

Все гости, услышав, как поет Тарас, затихли так, что было слышно только певца. Да и как он пел! «Такого или равного ему пения не слышал я, — говорил Кулиш, — ни в столице, ни на Украине». От того пения стихал разговор и между старшими, и между молодыми: из всех светлиц гости сходились в зал, словно в церковь. Песню за песней пел наш соловей, словно в темном лугу среди красной калины. Скоро он умолкал, его сейчас же просили петь, и душа поэта обратила свадьбу поклонницы его таланта в национальную оперу, которую, может, еще не скоро можно будет услышать на Украине! «Молодая княгиня» в память того вечера подарила поэту сокровище, самое дорогое из всего, что имела, — свой цветок подвенечный».

Но главное то, что благодаря этому пению на два голоса с невестой Кулиша, Александрой Белозерской, засветилась идея о выезде Шевченко за границу.

«Сам Шевченко и его приятели, и в наибольшей степени такой просвещенный человек, как Кулиш, понимали необходимость поездки Тараса на несколько лет за границу, чтобы там поучиться мастерству художника; увидеть произведения великих мастеров живописи; увидеть красоту природы Италии. Препятствием сей необходимости стояла, прежде всего, нехватка средств, а также затруднения с тогдашним российскими порядками при получении паспорта для выезда...»

Тогда-то Александра Михайловна Кулиш и отозвалась со своей щедрой помощью в деле поездки Шевченко за границу. Она просила, чтобы Шевченко поехал за ее счет. Драгоценности своих предков, что хранились в роде Белозерских, возможно, еще со времен польских разделов: жемчуг, кораллы, ожерелья, кольца и серьги, а также и деньги — три тысячи рублей — все это желала она отдать на поездку Шевченко, чтобы он три года пробыл за границей. Оставалось только уговорить Шевченко, чтобы он согласился принять для счастья Украины этот щедрый подарок.

Хотя Шевченко в отношении подарков, а в особенности денежных, был человеком весьма щепетильным, однако в данном случае не слишком затруднительно было уговорить его сделать выбор в пользу родного края. Рассуждая про ожидаемую учебу в университете и поездку за границу, наш поэт и художник предвидел будущее. Ему виделась уже в Киеве Украинская Академия художеств. Уговорить Шевченко принять подарок Александры Михайловны взялся Кулиш. Он начал внушать ему, что он как поэт и художник будет в Киеве отшельником, а одиночество, дело известное, не ободряет, а угнетает дух человека, и оно не даст ему развить свой художественный вкус в полной мере.

— Жизнь бьет, и все по голове, — сказал Шевченко, нахмурившись, и с силой ударил кулаком по какой-то толстенной книге.

Тогда Кулиш сказал ему, что если он раздобудет себе паспорт для выезда за границу, то деньги ему будут выдаваться три года, а казначеем будет он, Кулиш; пусть только поэт не спрашивает, откуда взялись эти деньги. Услы-

шав это, Шевченко обрадовался, как ребенок. Стали думать о паспорте. Дело хоть и казалось хлопотным, но между господами, говорил Кулиш, тогда было больше похожих на людей, чем после того, как началась украинская мартирология. Поэту меж ними жилось не так плохо, и была надежда уладить дело с паспортом». (А. Конисский. Тарас Шевченко — Грушевский).

Но, как говорит народная пословица, суженого и конем не объедешь.

Здесь можно было бы задать еще один важный вопрос: Шевченко без его креста был бы таким же великим, как с крестом? И мог бы поэт его уровня разминуться со своим крестом?

Но здесь мы выходим за пределы индивидуальной судьбы. А если поставить в ряд великих людей с высоким призванием, то все они разные, но крест им придает величия. И этот источник силы Богом данного таланта и обязанности говорить правду ведет их узкой дорогой к вершинам...

Одна из величайших загадок Шевченко есть загадка его славы, и славы прижизненной. Шевченко любили. Его любила слава. Интересно, что сам он как будто совсем не заботился о ней, как старец в «Невольнике»:

У другого бедолаги
Ни хаты, ни поля,
Лишь сума, а из сумы
Выглядывает доля,
Как дитятко; а он долю
На смерть проклинает.

(Перевод А. Матузовского)

Загадка шевченковской славы — это особая тема. Она множила число и сторонников, и противников. Почему разрастаются полчища врагов, и бывших, и нынешних?

С одной стороны, Шевченко имел много друзей, сторонников и защитников... Только сила их была мала против государственной силы Российской империи.

Еще больше несправедливости было в красной империи, где поэт был признан силой враждебной. Защитников Шевченко, его исследователей и последователей издевательски судили 9 марта 1930 в Харьковском оперном театре! (Речь идет о Процессе СВУ. — Ред.)

Конечно, это было издевательство над Шевченко и шевченковской Украиной. Вместе с тем, Шевченко изучали в школах как поэта-борца против царизма и крепостнического строя, против помещиков и фарисейства. И это также было издевательством над поэтом, которого не любили и которого боялись.

И в царской империи, и в красной империи защитники поэта не имели сил дать отпор. Но он шел странным образом против течения, и правду его не смогли одолеть. Цензура калечила, но не убивала. Фальшивые комментаторы искажали его слово, а оно шло в люди. Сам Шевченко оставался живым и будто неуязвимым.

Удивительно и то, что с самого начала, уже с первого «Кобзаря», ему прощали горькую правду, которую обидно было слышать от народного поэта: «Люди гнутся, как те лозы, // Куда ветет веет»; «Люди б сонце заступили, // Если б была сила»; «А люди хоть видят, но людям не жаль».

«А чтобы тебя не сторонились — потакай им, брат», — говорит поэт Перебенде. Но сам он не потакал.

Рабы, холопы, грязь Москвы,
Варшавский мусор ваши паны,
Ясновельможные гетманы.

(Перевод В. Державина)

Такой позиции не мог позволить себе ни один поэт: ни до Шевченко, ни после. А выступление его и пророчески жесткое:

О род презренный и проклятый,
Когда издохнешь ты? Когда
И мы дождемся Вашингтона
И правды нового закона?
Да, мы дождемся, будем ждать!

(Перевод А. Суркова)

И что характерно: украинское панство, которое поэт бичевал и гладил против шерсти, не защищалось и, кажется, не мстило. Пророческая скорбь усмиряла:

Тяжело мне, только вспомню
Печальные были
Дедов наших. Что мне сделать,
Чтоб о них забыл я?
Я бы отдал за забвенье жизни половину.

(Перевод В. Державина)

Оно поддерживало его право пророка, призванного обращать народ лицом к правде.

Ведь что такое исполнение завещания похоронить на Украине, как не усилия состоятельных людей, которые проводят торжественные акции общественного характера? Они скупают и сохраняют его рисунки и реликвии с пониманием того, что совершают патриотическое и богоугодное дело.

Для стимулирования духовных и материальных усилий многих состоятельных украинцев создано шевченковское завещание, одно из его стихотворений 1845 года. Стихотворение без названия, нигде не опубликованное. Название «Завещание» даст ему профессор Николай Костомаров только в 1867 году. А ход ему даст украинское общество.

Из этого видно, что дух пророка, право пророка и силу пророка чувствовали в Шевченко еще при его жизни, а особенно после смерти. Слова «национальный поэт» и «пророк» у нас говорят как-то неуверенно, опасаясь пафоса и риторики. А между тем, слово это произнес чуть ли не впервые человек весьма критичный и трезвый еще в те времена, когда не было оснований говорить про мученика, гонимого за правду. Это был Пантелеймон Кулиш, а за ним и члены украинского братства, которые чувствовали его необычное влияние.

Потому что пророк — не прорицатель, а тот, кому дано видеть и говорить о закрытом для других, провозглашать великую правду. На правах человека Божия. Конечно, на голову пророка падают камни. Но в данном случае камни падают с той же имперской пращи, а не из рук своего общества. И все же, что стоит за словами:

Не так недруги твои,
Как добрые люди —
И обкрадут жалеючи,
и плача осудят.

(Перевод Н. Ушакова)

Видимо, за этим словом стоит судьба гения, которого опускают с вершин до своего уровня...

Но с этим уж ничего не поделаешь.

Видимо, Шевченко больше всего досталось от верхоглядов. Не говоря уже о заангажированных, о которых пословица: «Кому что, а курице — просо». И везде курица находит свое просо.

Но возьмем даже незаангажированных, а просто недалеких и ленивых верхоглядов, склонных к легким выводам вроде: «У Шевченко своя правда», национальная, а не общечеловеческая:

Сбросьте цепи, станьте снова
Братьями, а где-то
На чужбине не ищите
Того, чего нету
И на небе, а не только
Что на чужом поле...
В своем доме — своя правда
И сила, и воля!

(Перевод В. Державина)

Итак, речь идет о том, что на чужом поле нет универсальной правды, потому что у каждого «в своем доме своя правда».

А неправда на экспорт и для соседей.

Через 70 лет эту «правду» с чужого поля так же импортировали вместе с лозунгом: «пролетарии всех стран...» И для ее торжества измучили голодом свой народ...

Так не лгите ж сами себе, —
Учитесь, читайте —
И чужому поучайтесь
И свое познайте.

(Перевод В. Державина)

Если вдуматься, то даже не национальные акценты воспитания, а трезво-просветительские, вечно актуальные: учитесь и учитесь... Но не забывайте прививать чужое на своей национальной почве, иначе останетесь без почвы. В каждую эпоху некоторые шевченковские строки казались устаревшими. А потом снова «в человеческой душе возобновлялись».

Перевод с украинского Юлии АЛЕЙЧЕНКО.

Редакция благодарит газету «Літературна Україна» за предоставленные материалы.



НИКОЛАЙ ГРИГОРОВИЧ

Мой учитель

Воспоминания о работе с Николаем Александровым

Прошло уже более 30 лет после ухода Николая Николаевича Александрова. Реализовано наше предложение, сделанное в день его смерти: на еженедельной конференции диагностического отдела института мы ходатайствовали о присвоении имени Николая Александрова, Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР созданному им детищу — НИИ онкологии и медицинской радиологии Минздрава БССР.

Наше предложение было вполне обосновано. Белорусский НИИ не был ординарным научно-исследовательским учреждением онкологического профиля, одним из пятнадцати, какие были созданы в 1960 году в союзных республиках СССР. По гамбургскому счету институт занимал третье место в союзе после ОНЦ АМН СССР и НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава СССР. Под руководством Николая Николаевича Александрова, ученого, воспитанного в стенах ленинградской Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и прошедшего четыре войны, Белорусский НИИ онкологии и медицинской радиологии начал строиться с фундамента на пустом месте и стал разрабатывать 5 актуальных направлений в предупреждении и лечении злокачественных новообразований, были реализованы идеи превентивной онкологии.

* * *

Во-первых, была организована единственная в СССР подвижная станция ранней диагностики опухолей. Переезжая по Минскому району из одного врачебного участка на другой, сотрудники станции, оснащенной мобильными рентгеновскими установками, фиброгастро- и колоноэндоскопической аппаратурой, цитологической и клинико-биохимической лабораториями обследовали население для выявления и лечения больных предопухолевыми заболеваниями и злокачественными новообразованиями на ранних стадиях. Выявленные больные направлялись в созданное в институте отделение предопухолевых заболеваний, где получали необходимое лечение. Основной контингент этого клинического подразделения составляли женщины с узловой мастопатией, предопухолевыми заболеваниями гениталий, щитовидной железы, атрофическим гастритом. Оперировали больных по поводу полипоза и калезных язв желудка.

Вторым направлением научных исследований в институте стала разработка методов гормонального лечения женщин с далеко зашедшими формами рака молочной железы. Операция двухсторонней адреналэктомии у этих онкобольных, нуждающихся после нее в пожизненной заместительной кортикостероидной терапии, была заменена разработанной Николаем Александровым и Тихоном Пантюшенко операцией односторонней адреналэктомии с пересадкой другого надпочечника в демукозированный отрезок кишки. После проведения такого вмешательства больные не нуждались в заместительной гормонотерапии, так как эстрогены из надпочечника поступали в печень и там инактивировались, в то же

время кортикостероиды оставались биологически активными. Научная гипотеза, положенная в основу разработки этой оригинальной операции была подтверждена исследованиями гормональной лаборатории, оснащенной современными методами оценки гормонального статуса (руководитель Евгений Конопля).

Третьим оригинальным и новым направлением в разработке клинической онкологии было создание новых методов комбинированного лечения больных раком с применением открытого радиоактивного изотопа золота. Благодаря энергии Николая Александрова, были созданы условия для работы в этом направлении. Построены хранилища для радиоактивного золота, специальный операционный блок, палаты и приборы для введения препарата. Радиоактивное золото вводилось больным в послеоперационном периоде в зону операции, чтобы уничтожить возможно оставшиеся в ней единичные опухолевые клетки и их небольшие комплексы. В СССР появились новые медицинские специальности: радиохирургия, радиопульмонология, радиогинекология и радиопроктология. Было доказано, что увеличить продолжительность жизни онкологических больных можно и за счет внутривенного введения радиоактивного коллоидного золота, которое адсорбируется в печени и облучает циркулирующие в крови опухолевые клетки.

По инициативе Николая Александрова впервые в СССР в Белорусском НИИ онкологии стало разрабатываться еще одно новое направление медицинской радиологии: применение излучений высоких энергий. Впервые в стране начали использовать в клинике отечественный аппарат — линейный ускоритель с энергией электронов 25 МэВ (ЛУЭ-25), а также аппарат бетатрон фирмы «Сименс» с энергией электронов 42 МэВ. Генерируемое ими излучение высоких энергий — электроны и тормозное рентгеновское излучение — позволяло сосредоточить лучевое воздействие преимущественно в области злокачественного новообразования, щадя окружающие здоровые ткани. Николай Николаевич рассказывал, что для «выбивания» первого отечественного линейного ускорителя на 25 МэВ ему пришлось пробиваться через охрану к министру атомной промышленности СССР Ефиму Славскому, в министерство, которое тогда называлось министерством среднего машиностроения. Надев пиджак с орденами и сказав охране: «Стреляйте, если сочтете возможным!», он пришел в приемную министра. Позже они стали добрыми друзьями. Ефим Павлович гордился тем, что Николай Николаевич первым стал использовать для мирных целей в медицине этот оригинальный отечественный аппарат. Была начата разработка методов применения излучения высоких энергий для лечения опухолей разных локализаций. Впервые в Советском Союзе стал изучаться метод так называемого «расщепленного» курса применения излучений высоких энергий, когда общая доза облучения делилась на две части: первая — большая часть излучения и вторая — меньшая часть, дававшаяся на опухоль спустя 3—4 недели после окончания первой. Затем был разработан метод крупно фракционированного предоперационного применения излучения высоких энергий. Эти исследования были высоко оценены на ВДНХ СССР, отмечены серебряными и бронзовыми медалями. В дальнейшем получили развитие новые варианты применения лучевой терапии, в частности, метод концентрического облучения остатка опухолевого очага и комбинации лучевого воздействия на опухоль излучения высоких энергий с введением химиопрепаратов. Была разработана методика однократного облучения опухоли шейки матки сверхвысокими дозами радиации с последующей операцией, а также изучена целесообразность применения новых носителей радиоактивного излучения — радиоактивных бус для лечения опухоли тела матки.

Впервые в СССР под руководством Николая Александрова начались работы по созданию программ применения современной вычислительной техники для учета онкозаболеваний среди населения. Они завершились созданием современного республиканского канцер-регистра.

В конце 1967 года под руководством Александрова была проведена научная конференция института и издан первый сборник научных работ, посвященных разрабатываемым проблемам. Присутствовали гости со всего СССР — веду-



Николай Александров. 1979 г. (фото Владимира Межевича).

щие онкологи страны. По инициативе Николая Николаевича Александрова институт начал проведение совместных исследований с другими научными учреждениями республики, прежде всего, с кафедрой ядерной физики БГУ и Институтом биоорганической химии АН БССР. Университетом проводились работы по оценке на молекулярно-генетическом уровне излучений высоких энергий и действия радиозащитных препаратов. Для этого была создана специальная научная группа, которую позже пришлось возглавить мне. Был синтезирован новый оригинальный алкилирующий противоопухолевый препарат «Бормин» (Боровляны — Минск).

Начались первые защиты диссертационных работ. Авторами первых диссертаций, вышедших из стен института, были Виктор Кухта, Евгений Конопля. Эти работы написаны на материале лабораторных исследований. Следующие две диссертации касались оценки распространенности опухолевого процесса на основе данных, полученных методом прямой лимфографии (Екатерина Вишневская, Василий Гаврук).

Первую докторскую диссертацию в институте защитил Леонид Суковатых, в которой обобщил единственный в стране опыт применения в онкологии радиоактивного золота. Он стал и первым профессором института, воспитанным Александровым. Следующими докторами наук и профессорами стали ученики Николая Николаевича: Н. А. Тищенко, С. З. Фрадкин, Е. Ф. Конопля, Т. А. Пантюшенко и Е. Е. Вишневская.

* * *

Несколько слов о том, как я познакомился с Николаем Николаевичем и попал на работу в НИИ онкологии и медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР. Я работал в Институте экспериментальной патологии и терапии АМН СССР в Сухуми. Собирал материал для докторской диссертации. Изучал молекулярную структуру хроматина клеток-мишеней на разных этапах канцерогенеза. Был руководителем партийной организации института. В июле 1967 года получил письмо из Москвы от профессора Давида Михайловича Спитковского, метод которого я использовал в своих работах. Он писал, что директор Белорусского института онкологии и медицинской радиологии Николай Николаевич Александров ищет кандидатуру на должность своего заместителя по научной работе — онколога-экспериментатора. Заведующий кафедрой ядерной физики БГУ профессор Александр Николаевич Писаревский, работая этим методом, предложил Александрову мою кандидатуру, исходя из того, что метод стал уже использоваться в Белорусском НИИ онкологии для отбора и оценки эффективности радиозащитных препаратов. Мой руководитель рекомендовал мне в письме встретиться с Александровым, который в это время отдыхал на Черноморском

побережье Кавказа, что я и сделал. Очень волновался, потому что об институте и его директоре недавно вышла большая статья в газете «Известия». Попросив рекомендательное письмо от академика АМН СССР Бориса Аркадьевича Лапина, я поехал на встречу.

Я увидел довольно сурового вида невысокого, плотного мужчину с жестким выражением лица, рядом с которым была женщина, поразившая своей добрейшей улыбкой, — его жена Наталья Михайловна. Николай Николаевич сказал, что сейчас время обеда и чтобы я подождал его с полчаса, дав мне свежие газеты. Вся фигура его и лицо были харизматичны, излучали энергию. Поразила интеллигентная русская речь. Во время беседы я рассказал ему о своих научных исследованиях. Он мне, в свою очередь, поведал о научных направлениях работы института — нового, недавно построенного научного центра и предложил мне приехать, познакомиться с работой учреждения. Во время беседы я осторожно высказал мысль, что мне трудно будет помочь ему в руководстве научной работой клинического коллектива и спросил, не может ли он взять меня в институт или на руководимую им кафедру на более скромную должность, например, старшего научного сотрудника или доцента. Спросил его также, нет ли среди сотрудников института лиц, которые могли бы занять рассматриваемую должность. Он ответил, что ему нужен заместитель по науке — онколог-теоретик. Коллектив, хотя и талантлив, но еще очень молод и его ученики должны быть сосредоточены полностью на практической клинической работе.

8 августа 1967 года я приехал в Минск. Николай Николаевич Александров поручил мне познакомиться с руководителями научных подразделений, научными лабораториями, планами и отчетами по научной работе. Мне помогала ученый секретарь института Т. Н. Шестакова. Работа шла сперва в кабинете директора (он в это время оперировал), где стояло кресло, знаменитое своей шириной, и сердясь Николай Николаевич мог энергично ерзать влево и вправо. В моем кабинете зама тоже оказалось такое кресло, но оно было неудобным для меня, и я попросил заменить его на обыкновенный стул. Кресло же это доживало свой век в проходной института, где в нем спал открывавший ворота сторож.

Кабинет от приемной отделяла двойная дверь. Справа стоял длинный стол для совещаний. Тут впервые Николай Александров (1976 год) рассказывал, что в мире появился компьютерный томограф. За этим столом Петр Машеров в течение нескольких часов без перерыва говорил о том, каким видит будущее института онкологии, тесно сотрудничающего с институтами Академии наук, расширяющего свою бытовую инфраструктуру. За этим столом редактировались и рецензировались статьи, диссертации, монографии. Отмечу, что у Николая Николаевича был отличный ровный почерк, за который любили его машинистки. Обычно свои работы он диктовал.

У левой стены стояло несколько застекленных шкафов с текущей информационной литературой, а также диван, рядом с дверью в комнату отдыха.

У противоположной входной двери стены стояло уже описанное выше кресло, большой письменный стол с приставленным к нему столиком для совещаний. Слева от кресла находился огромный пульт телефонной связи. У переднего правого угла стола на специальной подставке стоял большой негатоскоп. Александров прекрасно знал рентгеносемиотику и видел малейшие изменения на демонстрируемых рентгенограммах.

В комнате для отдыха, кажется, стояло два дивана, журнальный столик, холодильник, шкаф для верхней одежды, халатов, хирургической одежды, а также постельное белье, чтобы можно было прикорнуть до рассвета, если ночью был вызов к больному.

Как у заведующего кафедрой, у Николя Николаевича Александрова был еще один кабинет в радиологическом корпусе, уставленный шкафами с книгами, где

он любил работать сам или с командой соавторов, уединяясь, чтобы никто не мешал. Телефон этого кабинета знали немногие.

«Историю» обстановки кабинета я, конечно, узнал позже, а пока, во время моей «инспекции» поочередно приходили руководители научных подразделений для собеседования. Затем я посмотрел лаборатории и установки для лучевой терапии и применения радиоактивного золота. Через несколько дней доложил Николаю Николаевичу о своих впечатлениях от бесед и увиденного. Меня поразила в сравнении с масштабами академического института «скромность» планов клинических научных исследований, отсутствие применения эндоскопических методов при изучении обмена гормонов надпочечников. Хотя лаборатория патофизиологии была хорошо оснащена аппаратурой для функциональной клинической диагностики, ни заведующая, ни сотрудники не могли рассказать, как они будут применять ее при оценке действия излучения высоких энергий. Стало традицией, что аспиранты института, в отличие от аспирантов кафедры онкологии Белорусского государственного института усовершенствования врачей не представляли в срок диссертационных работ. Прохождение клинической ординатуры не строилось на индивидуальных планах. Николай Николаевич все это выслушав, сказал, что сотрудники лаборатории патофизиологии хорошие невропатологи-практики, а не патофизиологи. Позже эта лаборатория была расформирована. Впоследствии, я понял, что Александров использовал метод «проверяющего» с последующим выслушиванием его доклада всегда, когда намеривался пригласить на руководящую должность кого-либо извне института.

В заключение шеф сказал, что я подхожу ему, а опыт работы в должности заместителя директора по науке придет со временем, и он будет помогать мне его приобретать. Вопрос о моем назначении на эту должность должен был быть согласован с министром здравоохранения БССР профессором Савченко.

Вернувшись домой, в Сухуми, я продолжал свои исследования. К концу сентября 1967 года получил телеграмму о том, что Министерство здравоохранения не возражает против моей кандидатуры и можно приезжать, чтобы занять должность, о которой мы говорили. Ответной телеграммой я попросил Николая Николаевича конкретно указать о какой должности идет речь. В следующей телеграмме была указана должность заместителя директора по научной работе. Мне предстояло заменить на этом месте уезжавшего в Америку на усовершенствование Игоря Жакова. 4 октября 1967 года я приступил к исполнению своих новых обязанностей.

Для меня была сформирована научная группа по изучению реологических свойств дезоксирибонуклеопротеидов и действие на них излучений высоких энергий. В 1972 году по предложению Николая Николаевича ученый совет принял решение об организации новой лаборатории клинической иммунологии опухолей. Это научное подразделение я возглавлял с 1972-го до 1986 года. Позже в 1979 году по инициативе Александрова профиль лаборатории несколько изменился. Основным направлением ее деятельности перестало быть изучение иммунологического статуса онкологических больных до начала и в процессе комплексного лечения. Совместно с Институтом фотобиологии АН БССР была начата работа по созданию современных (флуоресцентных) методов скрининга, диагностики и мониторинга рака. При этом, однако, продолжались работы по углубленному изучению влияния методов гипертермии-перекисления на систему иммунитета и разработка методов иммунотерапии больных генерализованной меланомой кожи.

Параллельно проводилась совместная работа с кафедрой урологии, возглавляемой профессором Вячеславом Андреевичем Мохартом. Изучали состояние неспецифической и противоопухолевой иммунологической реактивности больных раком мочевого пузыря и раком почек, а также методы иммунотерапии и иммунореабилитации этих контингентов больных. Исследования вылились в успешно защищенные кандидатские диссертации.

* * *

В конце 1967 года Николай Николаевич Александров круто меняет направление научных исследований коллектива. По инициативе министра здравоохранения БССР — профессора Николая Савченко — институт начал разработку методов комбинированного лечения злокачественных опухолей с применением метода гипертермии-перекисления, разработанного в ГДР в основном в эксперименте профессором фон Ардене. Сотрудники института побывали в его лаборатории, а сам фон Ардене был гостем института. Все лаборатории начали переориентироваться на исследования в этом новом научном направлении. Белорусский институт онкологии приобрел оригинальное научное лицо, неповторимое на территории СССР. Оказались удачными уже первые шаги. Была создана оригинальная конструкция установки для гипертермического воздействия на тело пациента, позволяющая охлаждать головной мозг пациента и тем самым делать процедуру безопасной.

Осенью 1971 года институт посетил первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров. Он ознакомился со всеми научными подразделениями института. Особое впечатление произвели отечественная установка для генерации излучений высоких энергий — ЛУЭ-25 и бетатрон, аппаратура для гипертермии. После обхода состоялась многочасовая беседа с руководством института. Основной смысл беседы — развивать исследования по онкологии в теснейшем сотрудничестве с институтами АН БССР. Было принято соответствующее решение ЦК КПБ по этим вопросам. Начались совместные научные разработки с институтами тепломассообмена, математики, фотобиологии и др. Институту была оказана помощь в решении жилищной проблемы. Началось большое строительство жилых домов, детских садов, новой школы и другой инфраструктуры в поселке Лесной.

Помимо научного вклада в разработку актуальных вопросов клинической онкологии Николай Николаевич Александров внес существенный вклад и в актуальную в то время проблему теоретической онкологии. Речь идет о его докладе в 1975 году на пленуме Всесоюзного научного общества онкологов в Киеве, где им был провозглашен постулат примата биологических свойств опухолевых клеток в детерминации течения опухолевой болезни, а роль реакции защитных систем организма поставлена на второе место. Этот постулат доклада Александрова полностью подтвержден в наши дни, но, к сожалению, об этом моменте биографии ученого нигде не упоминается.

Николай Николаевич создал в институте великолепную фотокинолабораторию. Ее возглавлял большой знаток своего дела, бывший летчик Исаак Рудавский. Здесь делали цветные фотографии злокачественных новообразований до и после операции, фотографировали больных до и после лечения, снимали широкоформатные научно-популярные фильмы об основных направлениях работы института. Тексты к кинофильмам артистично озвучивал, как правило, доктор Борис Билетов. Первый широкоформатный фильм был посвящен опыту применения в институте электронно-оптического преобразователя изображения, внедренного в практику заведующей рентгенодиагностической лабораторией Галиной Голуб.

Летом 1972 года институту была предоставлена возможность продемонстрировать научные достижения коллектива в области профилактики, диагностики и лечения злокачественных опухолей на выставке достижений народного хозяйства БССР. На меня была возложена ответственность за подготовку этого мероприятия. На проходивших семинарах для медицинской общественности с докладами выступили Николай Николаевич Александров и другие ведущие сотрудники института. До открытия выставки в павильоне случайно состоялась встреча и новая краткая беседа Александрова с Машеровым.

* * *

В 1974 году профессор Николай Николаевич Александров был избран членом-корреспондентом АМН СССР. Он пользовался огромнейшим авторитетом среди коллег онкологов-академиков. Академик Напалков как-то образно сказал, что советская современная онкология основывается на трех «Н. Н.» — академике Н. Н. Блохине, Н. Н. Трапезникове и Н. Н. Александрове. О высоком авторитете Николая Николаевича Александрова как онколога свидетельствует и тот факт, что его пригласили в санаторий «Барвиха» принять участие в консилиумах маршалов СССР Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского. Мне приходилось несколько раз бывать с Николаем Николаевичем на сессиях АМН СССР. Его постоянным спутником и собеседником был академик Александр Сергеевич Павлов, их, очевидно, связывали общие интересы в связи с клиническим применением открытых изотопов, разумеется, прежде всего радиоактивного золота. Очень приятно было увидеть академика Бориса Аркадьевича Лапина, беседующего с Александровым. Я подошел к ним, поздоровался и, указывая на Николая Николаевича, сказал Лапину, моему бывшему директору, что это мой учитель и руководитель, к которому он в свое время давал мне рекомендательное письмо. Со свойственной ему приятной улыбкой, Лапин ответил, что он давно уже знаком с Александровым.

* * *

В коллективе Николая Николаевича любовно называли «шеф». Он вникал не только в научную и медицинскую деятельность института, но и во все вопросы его хозяйственной деятельности, включая такие, как работа гаража и котельной, во все вопросы нового строительства (если раньше институт размещался на площади соединенных галереей двух типовых зданий онкологического диспансера, то после принятия решения о возложении на него статуса онкологического диспансера Минской области, было начато строительство нового многоэтажного корпуса с операционным блоком).

Рабочий день Александрова начинался с девяти часов утра и длился, как правило, до десяти часов вечера. Он оставался, прежде всего, ведущим оперирующим хирургом института. Фактически он работал — делал наиболее сложные операции — каждый операционный день, с десяти до двух. Но сначала, с девяти до десяти часов утра, шла беседа с его заместителями о текущих делах.

В последние годы жизни Николая Николаевича в утренние часы начали проводиться общеинститутские ежедневные клинические конференции, во время которых он записывал и комментировал сообщения ответственного дежурного врача и членов дежурной бригады, вносил изменения в тактику дообследования и лечения. Николай Николаевич уже знал состояние оперированных больных из ежедневного вечернего доклада дежурной бригады. Ответственный дежурный начинал свой доклад как правило ближе к полуночи по телефону. Этот вечерний доклад также занимал от 30 минут до часа. От докладчиков требовались детальные знания о больных. При необходимости тут же назначались дополнительные лабораторные или рентгеновские исследования. Ответственный дежурный и вся бригада тщательно готовилась к этому ночному докладу. Когда шеф отсутствовал, сведения о состоянии тяжелых больных принимала его заместитель по лечебной работе Зоя Васильевна Лопаревич. По субботам дежурили с утра поочередно она или заместитель по научной работе. К тяжелым больным мог приехать, несмотря на выходной день, и сам шеф.

На конференциях, при разборе состояния больных, аудитории демонстрировались рентгенограммы, результаты радиоизотопных исследований. Каждый из присутствующих мог принять участие в обсуждении рассматриваемого вопроса. Принималось решение о диагнозе или намечался план дополнительного обследования. Конференция принимала решение о тактике лечения больного. Аккуратно протоколиро-

вались результаты обсуждения состояния пациента и разработанный план лечения. В дискуссиях на клинических конференциях наиболее часто бескомпромиссными оппонентами Александрова выступали женщины: торакальный хирург Ирина Голубович, сотрудник ЛОР-отделения — хирург Лилия Зенькович и врач-уролог Валентина Астромецкая. Реже всего Александров делал замечания в связи с работой отделения онкологии ЛОР-органов. Его возглавлял высококвалифицированный специалист радиолог и блестящий хирург Артур Вакер, ученик ленинградского профессора Николая Алексеевича Карпова, инициативно проводивший методы лучевого и комбинированного лечения опухолей данной локализации.

После окончания клинической конференции Николай Николаевич нередко задерживался, обсуждая вопросы тактики и лечения отдельных тяжелых больных, прежде всего подлежащих комбинированному лечению с применением гипертермии и иммунотерапии.

Николай Николаевич в силу своего характера умел быстро и решительно устранять недостатки, возникающие при лечении больных. Так, в одно время в онкогинекологии участились случаи перерезки мочеточника при экстирпации матки с придатками. Александров тут же распорядился включить в операционную бригаду уролога с целью катетеризировать мочеточники больной, что делало их более видимыми и осязаемыми во время операции. На каждой конференции гинекологи отчитывались о выполнении его распоряжений до тех пор, пока эти осложнения не исчезли.

Особый день в жизни института — четверг. В аудиторию приносили удаленные за неделю опухоли и заслушивался доклад патоморфологической службы об особенностях их гистологического строения. Выставлялись микроскопы, чтобы каждый желающий мог увидеть микроскопическое строение редко встречающейся опухоли своими глазами. Во второй половине конференции, как правило, обсуждались вопросы диагностики и планы лечения больных с неясным диагнозом или обширными опухолями. Основным докладчиком был лечащий врач. Приглашался и сам больной. Сперва его физикально обследовал Николай Николаевич, а затем желающие. Александров в совершенстве владел искусством физикального обследования пациента. Им был предложен новый способ обследования (мы назвали его методом Александрова), когда больной становится на кушетке на локти и колени, а обследующий, стоя сбоку и охватывая его туловище руками, пальпирует через стенку живота провисающие вниз органы брюшной полости. Николай Николаевич прекрасно владел и методами гинекологического обследования. В трудных для диагностики случаях онкогинекологи приглашали его для консультаций.

Раз в квартал или, при необходимости, чаще, по четвергам, проводились и патологоанатомические конференции. На них председательствовал научный руководитель патоморфологического отделения. Докладчики — лечащий врач и прозектор, проводивший вскрытие.

По мере необходимости на четверговых конференциях проводилась и апробация подготовленных к защите диссертационных работ. Клинические конференции, проводимые Александровым, как стало позже понятно бурчащим на потерю времени, являлись на самом деле «университетами» по клинической онкологии. Таким же «университетом знаний» были и регулярно проводимые при Александрове заседания научного общества онкологов. Последние начинались обычно после окончания рабочего дня. Часто практиковались совместные заседания с другими научными обществами: терапевтов, рентгенологов, урологов, гематологов, хирургов. Если заседания общества проходили в конференц-зале института, то гостей привозили институтским автобусом, если в городском онкологическом диспансере, то автобус института отвозил туда сотрудников. Повестка дня заседания общества обязательно включала: демонстрацию интересных клинических случаев из практики с осмотром больных, основной доклад, дискуссии после него и заключительное слово председателя.

Влияние НИИ онкологии и медицинской радиологии, как организатора онкологической службы, при Александрове заключалось в том, что ежемесячно в один из онкодиспансеров республики выезжала на несколько дней бригада сотрудников института. Читались лекции по актуальным вопросам клинической онкологии, сотрудники рассказывали о новых методах диагностики и лечения опухолей, проверяли качество ведения медицинской документации. Выявленные недостатки в практической деятельности диспансера должны были быть устранены немедленно или к следующему приезду бригады. Николай Николаевич Александров обязательно подключался к работе выездной бригады в последний день, принимал участие в обсуждении выявленных недостатков и путей их устранения. Происходили его встречи с руководством областей, следствием которых становилось получение диспансером средств на нужды строительства, ремонта или оснащения современным медицинским оборудованием. Так, были заменены все устаревшие рентгенодиагностические аппараты и внедрены новые установки для лучевой терапии. Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что кадры онкологов и радиологов для республики готовила кафедра онкологии и медицинской радиологии Белорусского государственного института усовершенствования врачей, основателем и руководителем которой являлся Николай Николаевич. Кадры онкологов воспитывались на традициях института. Стиль работы врачей, чувство заботы о больных слушатели курсов усваивали, активно участвуя во всех аспектах жизни института. Они получали возможность овладеть как современными методами диагностики и лечения злокачественных новообразований, так и стилем административного руководства. Помощниками Александрова по кафедре были профессор Н. А. Тищенко, доцент П. М. Леонов, ассистенты А. И. Ковалев, С. К. Рыбалова, аспиранты Н. И. Крутилина и В. А. Безмен. Сам Николай Николаевич не был блестящим лектором, за цикл он обычно прочитывал одну-две лекции. Читал без пафоса и артистичности, но лекции были насыщены важными сведениями. На экзаменах часто спрашивал о путях и этапах метастазирования злокачественных новообразований соответствующих локализаций.

Николай Николаевич Александров придавал также большое значение работе ученого совета института. В его состав входили и ведущие ученые хирурги столицы, например, профессор Владимир Александрович Шот, профессор Олег Северьянович Мишарев, главный врач Минского городского онкодиспансера Виктор Александрович Козлитин. У него были самые дружеские отношения с профессором Наумом Моисеевичем Дразниным, заведовавшим кафедрой эндокринологии, он с глубоким уважением отзывался о мастерстве нейрохирурга профессора Эфраима Исааковича Злотника.

На заседаниях совета обсуждались планы научных исследований, утверждались темы диссертационных работ, заслушивались отчеты о ходе работы над диссертациями, а также о ходе и выполнении научных исследований. В работе ученого совета института, как и в работе научного общества онкологов и клинических конференциях, принимали участие многие сотрудники. Николай Николаевич, в свою очередь, являлся членом других ученых советов, а именно ученого совета Министерства здравоохранения БССР и института повышения квалификации врачей.

На одном из таких заседаний прошла и апробация моей докторской диссертации. Так как институт не занимался вопросами экспериментальной онкологии, то Николай Николаевич обратился с письмом к директору института проблем онкологии АН УССР академику Ростиславу Евгеньевичу Кавецкому с просьбой утвердить на заседании ученого совета тему моей докторской диссертации, что и было сделано.

Возглавляемое Николаем Николаевичем научное общество онкологов БССР регулярно созывало конференции и съезды. Разумеется, в них принимало участие много гостей из Москвы, Ленинграда и институтов союзных республик. Когда Александров председательствовал на пленарном заседании, все с интересом

ожидали его заключительного слова. Он был блестящим полемистом, горячо и бескомпромиссно обосновывал свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, не обращая внимание на авторитет докладчика. Так, я был ошеломлен, когда в декабре 1967 года на Пленуме Всесоюзного общества онкологов, проходившем в аудитории нового теоретического корпуса Киевского медицинского института, он не оставил камня на камне от доклада видного украинского хирурга профессора Дайнеко, в котором обобщался опыт более 1000 операций по поводу рака желудка. Основной недостаток доклада Алексадров увидел в том, что, формулируя результаты наблюдений, докладчик не разделял больных на группы в зависимости от гистотипа опухоли и его распространенности.

Николай Николаевич выступал за развитие методов комбинированного лечения опухолей, был принципиальным противником так называемых органосохранных («экономных») операций. Не стесняясь, называл сторонников этого направления «убийцами в белых халатах».

* * *

Николай Александров искренне заботился о здоровье сотрудников института. Институт имел штатную единицу врача профпатолога. Для консультации больных сотрудников последний всегда мог привлекать ведущих специалистов и даже самого директора. Николай Николаевич предпочитал, чтобы больных сотрудников госпитализировали и лечили в самом институте. Для этого, как правило, выделялись койки в отделении предопухолевых заболеваний, а для лечения заболевших использовали терапевтов, гинекологов и хирургов института.

Все праздники коллектив отмечал в столовой института. Составляли один длинный стол. Присутствовали руководители, научные сотрудники, врачи, старшие медицинские сестры. Приходили с женами и мужьями. Застолья были веселыми и непринужденными. Пели, танцевали. Николай Николаевич обычно задерживался к началу. Это все знали, и торжество, в конце концов, начинали без него. Уходил он так же незаметно, в окружении ближайших помощников. Такая же картина была и на вечерних банкетах, после окончания научных конференций или съездов, только в лучших ресторанах города. Вместе с тем, в гости на семейные торжества Александрова приглашали немногие. Я помню его только на именинах у Леонида Шустера и на «смотринах» родившейся у семьи Белоусовых дочки. Мы его любили, однако стеснялись достаточно большой разницы в возрасте и социальном положении.

Николай Николаевич глубоко разделял горе и печаль коллектива. Первым из жизни ушел его ученик, первый доктор и первый профессор института — Леонид Семенович Суковатых. Александров был потрясен. Второй тяжелой утратой, которая согнула его, была смерть основоположника онкоурологии института Леонида Исааковича Нисенбаума. Впрочем они выпустили оригинальную, не утратившую и сейчас своего значения монографию, посвященную применению изотопной ренографии урологии и оценке операционного риска.

Николай Николаевич Александров заботился о больных, прежде всего, им оперированных. Занимаясь во второй половине дня административной работой, научными документами, материалом для Министерства здравоохранения, редактируя научные статьи, монографии, рецензии научных работ, Николай Николаевич обязательно прерывал эти занятия и поднимался в отделение реанимации, где беседовал с дежурившим реаниматологом, осматривал прооперированных и уточнял назначения. Я часто сопровождал его и оставался с ним во время таких посещений больных, их осмотра и бесед с персоналом. Какие это были уроки клинической практики! Он часто рассказывал об организации ухода за оперированными за рубежом, где он побывал во время и после войны. Особенно он любил рассказывать об участии монахинь в этой работе, которые прежде всего обращали внимание на

гладкость простыней под больным, натягивая и прикрепляя их к матрацу английскими булавками, чтобы предупредить появление пролежней. Шутя, любил повторять притчу о дураке, которого приходилось посылать несколько раз в одно и тоже место, чтобы узнать разные стороны обстоятельства дела. Обычно это случалось тогда, когда дежурный во время доклада не мог ответить на какие-либо вопросы о состоянии больного.

Вспоминал о том, как искренне удивил медицинское начальство фронта, когда застеклил за одну ночь в Вене все выбитые стекла в многоэтажном доме, отведенном под госпиталь, за что был награжден очередным орденом Боевого Красного Знамени.

Александров был азартным человеком. Помню, как в декабре 1967 года, когда мы ехали в институтском автобусе на пленум общества онкологов, он вышел из своего ЗИМа и перешел к нам. Началась игра в карты (подкидного дурака) с молодыми врачами. Ему очень не везло, он ни разу не выиграл. Тогда он бросил карты, остановил автобус, пересел в свою машину и быстро уехал вперед.

Нередко Николай Николаевич сердился и даже страшно гневался, сверкая глазами, чаще всего, когда была допущена какая-нибудь глупость в работе или не выполнено в срок его приказание. Если гнев падал на мою голову, то, став по стойке «смирно», я, выслушав его, поворачивался налево кругом и выходил из кабинета. Если же гневался он на кого-то другого, и я слышал доносившиеся «раскаты грома», а гневающийся шеф меня не видел, то меня разбирал хохот. Я знал, что в таких случаях гнев шефа чаще всего наигран, а в душе он оставался спокойным.

Александров был прекрасный актер! Но однажды он действительно был страшно расстроен и рассержен. Шли выборы его в члены-корреспонденты Академии наук БССР. Его заклятый противник — ректор Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина, физик академик Севченко индивидуально проводил работу с членами общего собрания о неизбрании Александрова, из-за жесткости его характера, который якобы стал причиной преждевременной смерти многих онкологических больных.

Николай Николаевич знал о такой «работе» и взял с собой на общее собрание Академии наук БССР подписанные патологоанатомами и заверенные печатью справки о достоверной причине смерти больных. При выступлении Севченко, он на каждое обвинение передавал в президиум эти подлинные медицинские документы. Тем не менее, по итогам тайного голосования, его не избрали на эту академическую должность. На работу он приехал к концу дня мрачный, страшно расстроенный и злой. Мы утешали его тем, что впереди грядут выборы в АМН СССР, где у него только друзья. Он переоделся в хирургическую робу и пошел в реанимацию смотреть больных. Домой он уехал успокоенный.

Другим психологическим ударом для Николая Николаевича явился отказ комитета по открытиям и изобретениям СССР в выдаче ему и Тихону Антоновичу Пантюшенко авторского свидетельства (патента) на разработанную ими оригинальную операцию пересадки ткани из одного из надпочечников в демукозированный отрезок кишки. Не помню мотива отказа. Вероятно, материалы по этому вопросу хранятся в архиве научной части института. Однако начавшаяся переписка и поездки в Москву не дали положительного результата. Возможно, причиной такого оборота дел стала существовавшая в то время система рецензирования поданных в комитет материалов, когда авторами отзывов, на основании которых принималось решение Комитетом по открытиям и изобретениям о признании изобретения оригинальным, были научные недруги. Впоследствии авторами была издана монография, занявшая достойное место в литературе о лечении запущенного рака молочной железы. Однако очень скоро, после смерти Александрова это направление потеряло свою актуальность в связи с появлением антиароматазных препаратов. Победа над тяжелой болезнью, достигавшаяся сложнейшей операцией, приходила от приема простых таблеток.

* * *

Николай Николаевич был отличным семьянином. Он — глава многодетной семьи, воспитавший со своей женой Натальей Михайловной трех дочерей. Девочки выросли трудолюбивыми, не боящимися жизненных трудностей. Они с отличием закончили среднюю школу. Старшая дочь Ирина и средняя Елена стали научными сотрудниками, работая в области биофизики и радиобиологии. Младшая дочь Саша окончила консерваторию по классу фортепиано. Девочки рассказывали, что примером для них были отец и мать, работавшие не покладая рук. Пример отца вдохновлял их. Они видели, как он, поздно возвратившись с работы, поспав несколько часов на диване в своем кабинете, вновь садился за письменный стол, освещенный приятным светом большого торшера, и продолжал работать, принимая доклады дежурной бригады, читая литературу, подчеркивая нужные места чернилами красного, синего и зеленого цвета (так он готовился к предстоящим клиническим конференциям, редактировал научные статьи, рецензии, диссертации и авторефераты).

Наталия Михайловна, уже после замужества, воспитывая детей, окончила медицинский институт, защитила кандидатскую диссертацию. Будучи гематологом, она разработала оригинальный препарат, стимулирующий образование гемоглобина — гемулен.

У Николая Николаевича Александрова была большая библиотека, занимавшая всю стену в его кабинете. Медицинская часть ее после смерти владельца была передана семьей в Республиканскую медицинскую библиотеку. Каждая книга была подписана его инициалами.

Разумеется, у руководителя такого масштаба и с такой харизмой всегда было немало злобствующих врагов. Они занимались тем, что писали в вышестоящие инстанции анонимные письма, из-за чего в институт приходили с проверкой различные комиссии. Выявлялись несущественные недостатки, которые тут же исправлялись, а основное содержание этих писем оказывалось ложным. Потом авторы анонимок «находились». После разбора их поведения на открытых партийных собраниях им приходилось оставлять коллектив. К сожалению, нужно сказать, что это были люди, стоявшие близко к Николаю Николаевичу Александрову и даже входившие в состав руководства института, которых он до этого уважал и предоставлял возможности для творческого роста.

Будучи по характеру бойцом, Николай Николаевич беспощадно громил своих идейных противников и на посту директора института. Мне пришлось застать лишь «финал битвы», когда Николая Николаевича обвинили в причинении лучевой болезни онкологическому больному вследствие введения радиоактивного золота. Министерство пригласило из Москвы специальную комиссию. Комиссия почти не работала в институте, проводила время в основном в Минске и, разумеется, поддержала сторону министерства. Наступили критические дни. Говорили уже о нескольких возможных преемниках на должность директора института. И вдруг свершилось чудо. Оказалось, что глава комиссии союзного министерства, директор крупного российского онкологического института в прошлом был уголовником. Минздрав СССР прислал новую комиссию во главе с ведущими онкологами и радиологами страны (академик А. И. Серебров, академик А. С. Павлов). Разумеется, ни о какой лучевой болезни пациента не могло быть и речи. Николай Николаевич остался директором института, его деятельность на этом посту была признана пионерской и прогрессивной. Был отправлен в отставку затеявший это дело министр здравоохранения. Институт продолжал идти не только в ногу со временем, но и опережая его. Министром стал очень уважающий Николая Николаевича профессор — уролог Николай Евсеевич Савченко. Начались впоследствии столь успешно завершившиеся работы по внедрению в клинику методов лечения опухолей путем гипертермии — перекисления.

Еще одну тяжелую ситуацию морального стресса Александрову пришлось пережить незадолго до его шестидесятилетия. Институту была присвоена первая категория, что влекло за собой повышение заработной платы сотрудников. Во время зарубежной командировки Николая Николаевича вновь назначенный заместитель по научной работе, оставив после клинической конференции научных сотрудников, объявил во всеуслышание, что за оказанную институту услугу ряд сотрудников министерства необходимо «отблагодарить» дорогими подарками: радиоприемниками, магнитофонами, магнитолами, фотоаппаратами и т. д. Деньги для этой цели должна составить разница между месячным прежним и новым окладами научных сотрудников. Молчание участников «совещания» было воспринято как согласие.

Оставшись наедине с инициатором, я спросил о том, отдает ли он себе отчет о последствиях. Тот ответил, что никаких последствий не будет, поскольку речь идет о простой человеческой благодарности. Однако спустя уже два месяца научных сотрудников института стали поочередно вызывать к следователям областного управления ОБХСС для дачи показаний. В это время Николай Николаевич уже плохо себя чувствовал. Кончилось все тем, что инициатор интриги оставил институт. Созданная комиссия партийного бюро института рассмотрела это дело. Деньги под расписку были возвращены «жертвователям». Праздник по поводу юбилея Николая Николаевича Александрова и присвоения ему звания Героя Социалистического Труда прошел радостно, достойно и торжественно.

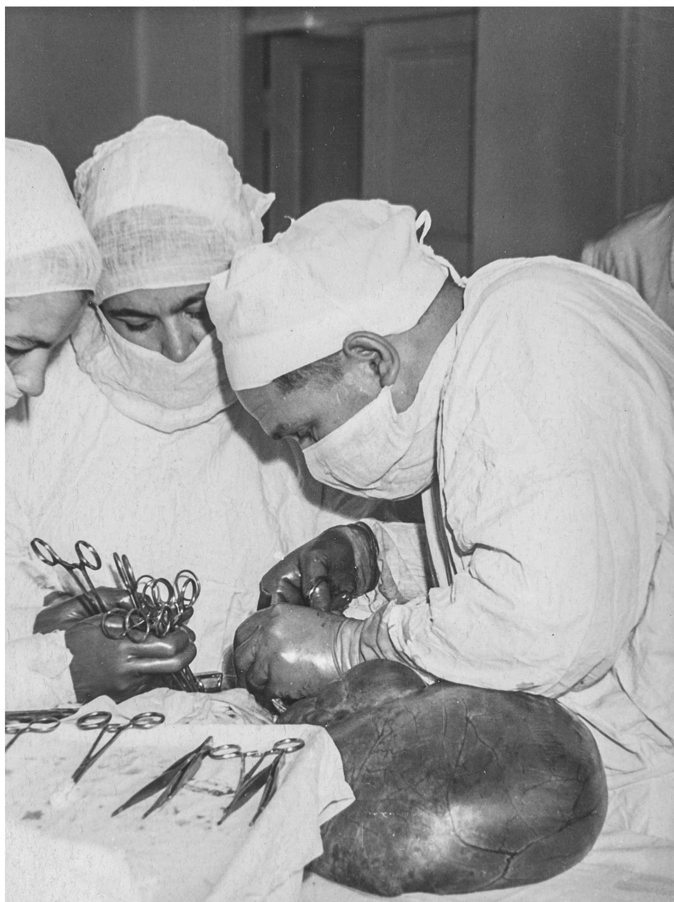
* * *

О юбилее стоит сказать отдельно. В то время в стране было принято отмечать юбилеи ведущих ученых-медиков, работавших в столицах (Москве и Ленинграде), присвоением им звания Героя Социалистического Труда. Раздумывая о предстоящем юбилее, я пришел к выводу, что по результатам научной деятельности Николая Николаевича и руководимого им института, он действительно достоин присвоения ему столь высокого звания и ему однажды об этом сказал: «Николай Николаевич, скоро юбилей». Он удивленно спросил: «Какой?» «Вам исполнится 60 лет. Я думаю, что вы вполне достойны присвоения вам звания Героя Социалистического Труда», — ответил я. Он задумался, затем распорядился вызвать секретаря партийной организации и ученого секретаря, рассказал им о моем мнении. Дальше дело двигалось уже без моего участия.

Ходатайство перед соответствующими партийными и советскими инстанциями было начато. К его 60-летию министр здравоохранения СССР академик Борис Петровский по телефону поздравил Николя Николаевича Александрова с присвоением ему высокого звания Героя Социалистического Труда.

Александров стал фактически единственным руководителем периферийного научного учреждения, удостоенным этого высокого звания. К сожалению, вскоре жизнь выдающегося ученого, стратега клинической онкологии оборвалась из-за редкой неизлечимой болезни нервной системы, возможно, связанной с его активным участием в разработке вопросов медицинского обеспечения войск в условиях ядерной войны. Он рассказывал, что был участником маневров, когда через эпицентр взрыва атомной бомбы прошла стрелковая дивизия на бронетехнике, а во главе колонны ехала командирская машина с развевающимся знаменем. Все участники этого марша погибли через разное время от лучевой болезни. Николай Николаевич Александров скончался в октябре 1981 года.

В последние дни с ним постоянно был заведующий реанимации института Семен Ефимович Нодельсон. Гражданская панихида состоялась в фойе



Николай Александров (справа) оперирует. 1961 г., Минск.

Дома офицеров. Приехали делегации научных обществ онкологов Москвы, Ленинграда, Киева. Похороны состоялись на Московском кладбище.

Вся жизнь Николая Александрова была посвящена Советской Родине. Он прошел, как военный врач, четыре тяжелые войны, стал полным кавалером ордена Боевого Красного Знамени. Это был русский интеллигент, интернационалист в полном смысле этого слова. Николай Николаевич прекрасно изучил методы и стиль руководства военной, партийной советской власти. Отсюда, вероятно, и происходил командный стиль в его руководстве коллективом, требование неукоснительного выполнения его распоряжений, дисциплинированности, порядочности, точности выполнения указаний, а также договоренностей. Вспоминая его, ловлю себя на мысли о том, что это был особый человек — сгусток энергии, снаряд, летящий и сметающий все, мешающее ему на пути. Он уважал квалифицированных, дисциплинированных специалистов. На этих качествах основывалось отношение его как к ведущим специалистам института — ученым и врачам, так и к рядовым врачам, медицинским сестрам и санитаркам, к хозяйственникам и водителям. С Александровым легко работалось тем, кто воспринимал его как военного человека и умел соблюдать должную субординацию.

* * *

О мужестве Александрова свидетельствуют и воспоминания его сотрудников военного времени. В тяжелые дни обороны Ленинграда, в промежутках между боями, в землянке он сосредоточенно продолжал изучать строение вегетативной нервной системы, рисуя нервные узлы и ветви нервов.

О мужестве говорит и его поведение во время последней тяжелой болезни. Я провожал его в Москву, куда он ехал вместе с Натальей Михайловной пройти курс нетрадиционного лечения. Он был спокоен и улыбался. Николай Николаевич продолжал работать, уже потеряв речь. Весной 1981 года состоялось совместное заседание Президиумов АН БССР, АМН СССР и Коллегии Минздрава БССР. Заседание было посвящено координации научных исследований

в области медицины. Александров выступал с ведущим докладом. Начав, он вскоре не смог говорить, и его на трибуне заменил Борис Демьянович Шитиков, ставший к этому времени его заместителем по научной работе, чтобы дочитать доклад до конца. Его последний ученый совет — апробация кандидатской диссертации Александра Фурманчука. Свое несогласие с некоторыми положениями доклада он выражал жестами, стуча ладонью по столу. Его волновал вопрос о ходе защиты диссертации старшей дочери Ирины. Он написал мне записку, в которой просил поехать на защиту. Это было в день его именин. Радость озарила его лицо, когда я, приехав, рассказал ему о ходе защиты и об успехе диссертационной работы — единогласном голосовании ученого совета Института фотобиологии, о присвоении ей степени кандидата биологических наук.

* * *

После смерти Александрова прошло более 30 лет. Из «нерадивых» аспирантов выросли видные ученые: Борис Демьянович Шитиков, став заместителем директора по научной работе, несколько лет исполнял обязанности руководителя учреждения. Затем был назначен заместителем министра здравоохранения БССР. Александр Михайлович Люцко организовал и стал первым директором теперь всемирно известного университета им. Д. А. Сахарова. Борис Владимирович Билетов одним из первых из этой плеяды защитил, работая в Москве, докторскую диссертацию, стал доктором наук Геннадий Николаевич Муравьев и другие. К сожалению, аспирант Анатолий Иванович Струков — автор запатентованной совместно с Александровым в нескольких странах передвижной ренографической установки не смог написать диссертацию и «сгорел» на практической работе. Защитили кандидатские диссертации многие соискатели: М. М. Протасеня, А. А. Машевский, Е. П. Камчатов, И. И. Канус и др. Александров целенаправленно готовил кадры высшей квалификации и в аспирантуре института онкологии им. Н. Н. Петрова: цитологи — Людмила Борисовна Клюкина и Виктор Иванович Новик. Клюкина, по сути, создала в Республике Беларусь отлично функционирующую службу цитологической диагностики опухолей, подготовила для нее кадры высшей квалификации.

Описываемые выше события нашли отражение и в художественной литературе, прежде всего, в книге Михаила Герчика «Обретение надежды» (1976 г.), в повестях и романах Тихона Пантюшенко. Судьба Михаила Герчика, кстати, стала драматичной: прочитав описанные в произведении несколько фривольные отношения главного героя с его аспиранткой, Николай Николаевич серьезно рассорился с писателем.

Именем Николая Николаевича Александрова назван не только созданный им институт, но и улица в новом поселке Зеленый бор, возникшем рядом с поселком Лесным.

За время существования института на посту директора побывало семь человек, впрочем, также сменилось и семь заместителей директора по научной работе. Игорь Жаков открыл «шлюзы» соискателям докторских диссертаций. Сперва появилась возможность для создания при институте специализированного ученого совета для защиты кандидатских, а затем и докторских работ по онкологии и медицинской радиологии.

Иосиф Залуцкий внедрил в институте новое клиническое направление — микрохирургию. Он был избран членом-корреспондентом Национальной Академии наук РБ. По его инициативе были перестроены здания института и прилегающие территории. Появился новый лабораторный корпус. Профессор Эдвард Жаврид и профессор Олег Суконко с сотрудниками разработали в эксперименте и стали использовать в клинической практике методы фотодинамической диагностики и терапии злокачественных новообразований.

В центре внедрены методы интенсивной химиотерапии, внутриартериального введения химиопрепаратов. Сейчас идет строительство лаборатории молекулярно-генетического профиля, что позволит широко использовать полимеразную цепную реакцию для сверхранней диагностики рака и оценки его излеченности. Началось строительство здания для получения позитронизлучающих препаратов и установки позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной томографии.

Но все еще отсутствует ультразвуковая аппаратура для исследования полостных органов бронхов, пищевода, желудочно-кишечного тракта. Мало внимания стало уделяться основному детищу института — методу гипертермии-перекисления. Речь идет о его повсеместном обязательном применении при лечении опухолей всех, без исключения, локализаций. Почти не используются современные методы эндоскопической хирургии. Слабо внедряются в Республике методы фотодинамической диагностики и терапии опухолей. Хочется надеяться, что в недалеком будущем Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова достигнет того высокого уровня, к которому стремился его основатель — Герой Социалистического Труда Николай Николаевич Александров.

Фотографии из собрания Национального исторического музея Республики Беларусь.



ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

*Романтика советской науки**

Удивительные посланники небес

1

Когда я училась в младших и средних классах школы, то любила читать в популярных газетах, детских журналах или даже в учебниках по природоведению и географии о различных удивительных случаях из жизни растений и живых существ, вообще о чудесах природы. Например, о том, что падает с неба. Вдруг в какой-то местности небо проливается дождем из рыб или из лягушек. Например, в любимой тогда пионерами «Лесной газете» Виталия Бианки сообщалось: «Небесный слон набежал на маленький городишко — и повис над ним. Вдруг из него хлынул дождь. Но какой дождь — настоящий волшебный ливень! По крышам домов, по поднятым над головами зонтикам забарабанили — кто бы ты думал? — головастики, лягушата, маленькие рыбки! Забились, зашныряли в уличных лужах». Однако чаще небо посылало какой-то один вид предметов или живности. Скажем, в Калифорнии в 1870 г. с неба сваливались ящерицы. А в 1940 году над Мещерой в Рязанской области во время грозового ливня сверху падали монеты.

Популяризаторы науки, писатели и учителя объясняли нам, что все это проделки смерча. Пролетая, скажем, над прудом, он захватывает его содержимое, а, распадаясь, часто через десятки километров, неизбежно изливает захваченное на землю. Сила его так велика, что он может выхватить из грунта зарытый там в древности клад — вот откуда монеты. То ли родители, то ли старшая сестра так доходчиво объяснили мне механизм образования и действия смерча, что я его хорошо представляла, хотя никогда не видела. И, конечно же, безоговорочно верила в объяснение о необыкновенном явлении природы.

Уже через несколько лет, в старших классах школы, меня стала все больше интриговать странная избирательность смерчей и необычность их, так сказать, поведения, хотя они и сами по себе необычны. В 1968 г. монеты падали над графством Дарем в Англии, но все они аккуратненько были согнуты пополам. В анналах науки встречались упоминания о падении с неба «стрел» и «топоров» над Китаем, Бирмой и Японией, причем якобы это происходило, согласно летописям, неоднократно. 21 марта 1922 г. снег в Альпах сопровождался падением гусениц и гигантских муравьев. А над Гибралтаром дождь из лягушек проливался дважды: в 1914 и в 1921 гг. Какая все же поразительная случайность, что над одним и тем же местом падают живехонькие, скачущие лягушки, и почему-то только лягушки, словно в пруду или озерце, захваченном смерчем, не водится иная живность! Мое недоумение, видимо, разделяли и популяризаторы науки, поскольку такого рода сообщений становилось в советских научно-популярных книгах все меньше. Но журналисты отнюдь не смущались парадоксами природы и продолжали публиковать шокирующие факты. Так, 21 июля 1979 г. над

---

* Продолжение. Начало в № 12, 2013 и № 1, 2014.

туркменской деревней Дарган-Ата прошел очередной ливень из живых лягушек. А 31 мая 1981 г. авторитетная лондонская газета «Sunday Express» сообщила о дожде из тысяч бодреньких лягушек над Нарплионом в Греции.

Серьезных ученых на протяжении почти всего XX века чрезвычайно раздражал один чудак — Чарльз Форт, который всю жизнь собирал необычные, не укладывающиеся в привычные научные схемы факты, опубликовав, в конце концов, свою курьезную коллекцию в огромном четырехтомнике «Труды Чарльза Форта». Он написал о более чем трехстах случаях падения с неба живых организмов. Пусть половину он выдумал. Пусть даже он выдумал 90 %. Но все равно какая-то часть сообщений правдива. Не верить абсолютно всем журналистам также нет оснований. Даже если отдельные издания печатают подобную информацию ради поднятия тиража, то как быть с сообщениями из летописей?

Кроме того, уже в наше время об одних и тех же явлениях пишут самые разные СМИ и интернет, причем с публикацией фотографий. Например, пару лет назад в Индии вдруг часто стали идти красные, очень похожие на кровавые, дожди. Исследователи долго ломали голову над феноменом. В конце концов, пришли к выводу, что какие-то микроорганизмы окрашивают снег в Гималаях, и снова-таки смерчи и ветра переносят его на равнины тропической Индии. Правда, никто из местных жителей и альпинистов красный снег в Гималаях не видел, но ученые подобную невнимательность простых людей высокомерно игнорируют.

В сущности, любому явлению можно найти вполне приемлемое рациональное объяснение в *рамках современной научной парадигмы*. А нас в советское время воспитывали как раз в обязательности поиска такого разумного, причем обязательно материалистического, объяснения всего и вся, вера в паранауку, в чудо, то есть в то, что не укладывалось в *известные* законы природы, категорически отрицалась. В западных христианских странах, конечно, царила свобода, можно было печатать что угодно. Но вот странно: в западной науке, так сказать, на выходе, как и в советской, господствовала та же материалистическая доктрина и отвергался идеализм, тоже всему находили рациональные обоснования. Скажем, в 1980-е и 1990-е гг. не раз писали о падении с неба глыб льда. Естественно, объяснение быстро нашлось, и очень логичное: высоко в воздухе обледеневают крылья самолетов, а при снижении летательных аппаратов или от прогрева их солнцем лед время от времени отваливается. Однако известный, но, надо сказать, таинственный автор (я думаю, что он был розенкрейцером высоких степеней посвящения) — французский астроном Камилл Фламмарион — в своей научно-популярной книге «Чудеса атмосферы» писал, что в 1802 г. глыба льда величиной с метр на метр упала над Венгрией, в 1829 г. с неба над Испанией свалился кусок льда весом в полтора килограмма, а в 1844 г. над Францией — весом три с половиной килограмма. В начале XIX века самолеты, как известно, еще не летали. Однако я, познакомившись с удивительными фактами, в очередной раз лишь подивилась творческой силе природы, способной создавать такие огромные градины. Ни о чем другом не подумала.

Тем не менее газеты, журналы, книги советской эпохи все же приучали нас с вниманием относиться к небесным явлениям — ведь они позволяли видеть дальше своего носа. А тем более началась эра космоса. В наше время в 10-м классе школы (я кончала одиннадцатилетку) преподавалась дисциплина «астрономия». Нас учили астрономии, а значит, расширяли горизонты видения. Я очень любила этот предмет, хотя преподавали его предметники-физики, а физика мне давалась с трудом.

Лет через десять, будучи уже кандидатом филологических наук, я, занявшись хронотопом в литературе, заинтересовалась универсальными категориями: пространством и временем, вообще физикой. И поняла, какая это увлекательная и красивая наука. Да только преподавали нам ее в школе неправильно. Вернее, учебную программу методисты составили как-то однобоко. Слишком физика в школе оказалась математизированной — ну зачем мы решали такое большое количество задач, которые, в сущности, не проецировались на реальные законы природы,

не давали конкретного представления о них, а ведь мышление подростка еще достаточно конкретно. Стоило бы больше говорить об этих законах, представляя их красочнее и образнее. Осудив школьный предмет, я совсем не случайно, занимаясь хронотопом в фольклоре и литературе, стала писать о мировом древе как коде для обозначения пространственно-временных отношений, которые невозможно выразить на языке евклидовой геометрии. Сам же трехмерный (объемный) или двухмерный (изобразительный) образ мирового древа — яркий символ, опорный образ мысли, помогающий человеку проникнуть в суть законов природы. Этот образ, созданный почти во всех развитых мифологических системах, восхищает своей красотой, стройностью, многозначностью. Но с прискорбием должна признать, что *современные* студенты его совершенно не понимают, несмотря на то, что я, зная их привычку к картинке, показываю многочисленные слайды с изображениями мирового древа в разных культурах. Тщетно — в нынешней школе не развивают образное мышление детей, наоборот, подавляют его.

В среднем возрасте я поняла свою возможную неправоту в апологетике школярски понятых законов природы, ведь эти законы вообщем-то могут оказаться совсем иными, чем представляет крайне скудная во всех смыслах наука. Любая наука, и в том числе современная физика, очень ограничена и никакой полной картины мира не дает. Даже самый знаменитый в XX веке физик Альберт Эйнштейн говорил: «Вся наша наука является примитивной и детской по сравнению с реальностью, но вместе с тем она самое лучшее из всего, что у нас есть». В советское время популярностью пользовался датский физик с мировым именем Нильс Бор. По-моему, он был коммунистом, потому его и пропагандировали в СССР. Однако однажды он заявил: «Считалось, что физика описывает Вселенную, но теперь мы знаем, что она описывает лишь *то, что мы можем сказать* об этой Вселенной» (курсив самого Бора). Великий ученый посмел высказать то, что интуитивно уже ощущали многие думающие люди: реальная Вселенная совсем не такая, как мы о ней мыслим.

Я тогда для себя решила, что только *искусство* способно представлять мир целостно и во всем многообразии связей и отношений. Под влиянием мифологии, которой увлекалась, я стала утверждать, что *миф* — наиболее полный образ мира, хотя и фантазийный, приправленный значительной долей вымысла. Но сама способность человека к вымыслу и его, вымысла, так сказать, содержание является частью этой полноты. Причем все научные гипотезы также представляют собой мифы, впрочем, полезные, необходимые для развития познания. Тем более, что какие-то мифы, то есть гипотезы, таки оказываются истинными, так как проверяются *практикой* — на их основе создаются машины, сооружения, приборы. А вот другие выдвинутые идеи пока испытание практикой не прошли, хотя не исключено, что какие-то также будут востребованы, и тогда откроются новые законы природы. Таким образом, хотя я и приверженец философии монизма, но от важности конкретных наук («лучшего из всего, что у нас есть») не отказалась, к ним апеллировала (достаточно познакомиться с моими работами по мифологии), однако понимала их ограниченность.

В то время я увлеклась идеей Карла Густава Юнга, изложенной в его книге «Синхронистичность», — о взаимосвязи далеких друг от друга объектов и явлений, способных приходить между собой в резонанс. Юнг так и назвал феномен — *резонансом природы*: скажем, атмосферные явления вдруг резонируют с чувствами и настроениями людей, приводя к таким удивительным совпадениям и парадоксам, что они не могут не вызвать жгучего желания поиска хоть какого-то рационального объяснения. В то время, в конце 1980-х—1990-е гг., многие журналисты, вряд ли знавшие об идее Юнга, тем не менее также подметили определенную закономерность в мире и часто о ней писали: всякие природные катаклизмы — наводнения, землетрясения — случаются там, где неспокойно в обществе, где люди враждебны друг к другу, где происходят народные волнения, революции и войны. А я, снова-таки под влиянием изучения древней народной культуры,

решила, что проклинаемая в советское время *магия*, также устанавливавшая связи между далекими явлениями и объектами, не что иное, как древняя эмпирическая наука, физика (либо биофизика), только еще *неизвестная нам физика*. Однако отнюдь не только в СССР она была объявлена лженаукой. Но вот в конце XX века ученые-экспериментаторы открыли *нелокальное взаимодействие* (которое как раз, в сущности, подразумевает магия) и возможное его использование отдельными людьми (шаманами, жрецами вуду, экстрасенсами). Да и философы заговорили о *холистическом* принципе в науке, включавшем в себя *наблюдателя и наблюдаемое*, то есть сам материал изучения и то, что мы ощущаем при проведении наблюдения природы, эксперимента и что, несомненно, воздействует на результат. То есть по существу каждое наблюдение создает *новый факт* в науке, а значит, как пишет Роберт Антон Уилсон, «новый тоннель реальности». Все это расшатывает современную научную парадигму. На наших глазах возникает новая парадигма, но это, по-моему, не просто замена одного знания другим, а расширение знания, поскольку ядро старой парадигмы, как правило, включается в новую.

Так произошло и с моими поисками в науке. Уже в 1990-е гг. я, занимаясь мифологией, обратилась также к восточным религиям и под их воздействием стала думать, что либо *все, о чем только можно помыслить, реально существует, либо вообще ничего не существует* — все иллюзия, майя (как в буддизме); кем-то Высшим мыслится, а мы — внутри этой мысли. Идеи, как известно, носятся в воздухе, появился на ту же тему фильм «Матрица». Я все же больше склоняюсь к первой версии, скорее всего, в силу своей профессии, под влиянием художественной литературы. «Рукописи не горят», — говорил Михаил Булгаков, стало быть, решаю я, они где-то реально существуют, хотя в нашем мире уничтожены. Даниил Андреев в своей «Розе Мира», самой мистической книге XX века, считал, что где-то есть мир литературных героев с их совершенно самостоятельной жизнью. То есть существует *глобальное информационное поле (ноосфера*), в котором фиксируется буквально все, что когда-то происходило, происходит в данный момент и будет происходить в будущем. Собственно, об этом знали еще мудрецы древней Индии, которые ввели понятие *акаши* — первичной субстанции, самой тонкой эфирной сущности, заполнявшей собою все пространство и вибрирующей на определенной частоте. Она вбирает, записывает все, что происходило или происходит во Вселенной, — следы каждого слова или действия, отпечатывающиеся в этом всемирном эфире (оккультисты его называют астралом). Гении обладают способностью подключаться к информационному полю, откуда и черпают идеи и образы. Я думаю, потому большинство гениев из сферы искусства, что информация в ноосфере находится в образном, а не в понятийном виде.

Мысль о все более расширяющемся — вплоть до Божественного — сознании человечества овладела интеллигенцией довольно давно. Еще лет двадцать пять назад я читала созданную в 1930-е гг. книгу французского теолога Тейяра де Шардена «Феномен человека», которая эту мысль утверждала. И тогда же широко стала обсуждаться идея близкого к Шардену русского многогранного ученого, академика Владимира Вернадского, который и ввел понятие ноосферы. Эта идея очень притягательна для интеллигенции, хотя физическая природа информационного поля непонятна. И вообще, определение явления. Что это — информационная, существующая вечно, матрица Вселенной; ментальная совокупная сфера всего земного человечества, его общее психополе; или же своеобразный банк данных Высшего Разума. В любом случае, размышления о ноосфере, а значит, если не о Боге, то как бы о «компьютере» Бога, все же более возвышенны, чем слепая, глупая вера в инопланетян, якобы подаривших людям все возможные знания и даже создавших собственно человека.

Альтернативой будто бы прилетавшим на Землю инопланетянам, бесконечные разговоры о которых уже просто отдают пошлостью, стали пришельцы из *параллельных миров*. И мы, исследователи мифологии, поддались этому поветрию. Я, анализируя мифологические стихи Максима Богдановича, еще в конце 1990-х

годов писала: «Когда лесовик в стихотворении М. Богдановича погиб, поскольку вырубили старый бор, то дух леса оставил после себя озеро-зеркало — вход в иной мир: «Як у нязнаны свет акно, / Ляжыць, халоднае, яно, / Жыццё сабою адбівае / І ўсё, што згінула даўно, / У цёмнай глыбіні хавае». Именно в ином измерении, как видится поэту, теперь живет лесовик, раз для него не оказалось больше места на земле. На дне реки или озера, а значит, в отраженном мире, как бы «мире наоборот», лежит и водяной (стихотворения «Водяной», «Осенней ночью»)».

В наши дни поиском параллельных миров занимается наука *эвереттика*, по имени ее основателя, американского ученого Хью Эверетта. Конечно, модная наука может быть еще одним заблуждением ума, как и «Матрица», как и ноосфера, и многие подобные идеи. Но, возможно, каждая из них в той или иной степени приближает ищущую человеческую мысль к Истине, а стало быть, все необходимы.

Нужно сказать, что в этом вопросе советская наука развивалась совершенно синхронно со всей мировой наукой и отнюдь не отставала. В 1960—1980-е гг. идея многомерности пространства завоевала прочные позиции в квантовой физике по той причине, что многие явления, наблюдаемые в микромире, вообще не объяснимы без привлечения многомерности. А вот относительно макромира существовали и существуют разногласия. Юрий Фомин, известный еще в советское время популяризатор необъяснимых феноменов в науке, писал в своей «Энциклопедии аномальных явлений»: «Многомерность — это не объективная реальность, а форма восприятия объективной реальности. Мир всюду многомерен, но его восприятие ограничивается возможностями наших органов чувств и способностью осознания получаемой информации. Для нас существует предел осознаваемой мерности, через который мы переступить не можем».

Действительно, мозг человека способен воспринимать до 10 в одиннадцатой степени бит в секунду. Для того чтобы воспринимать хотя бы *четвертое пространственное* измерение, в существовании которого никто уже не сомневается, нужно изменить восприятие в переработке информации до 10 в шестнадцатой степени в секунду. И тогда мир для такого человека удивительно преобразится: он одновременно способен будет видеть то, что находится снаружи и внутри зданий, помещений, людей, животных, растений. Все это предстало бы словно в разрезе, сохраняя внешнюю форму. Еще в 1960-е гг. советские научно-популярные журналы часто публиковали парадоксальные рисунки нидерландца Мориса Эшера, а в 1980-е гг. стали выходить и его альбомы. Он, пожалуй, один из самых оригинальных художников, который на двухмерном листе бумаги умудрялся представлять разные оптические иллюзии, неожиданные метаморфозы земных объектов, фактически пребывающих в четырехмерном пространстве: скажем, лестницы у него шли вверх и вниз с одного уровня.

Таким образом, даже в советскую эпоху утверждалась мысль о разных измерениях, а уже в наше время — и о параллельных пространствах. Пишут о том, что трехмерное световое пространство может быть в высших измерениях искривлено или даже при определенных условиях свернуто в трубку либо точку, легко преодолимую, — согласно постулатам советского ученого А. Фридмана. Между тем, такие парадоксы хронотопа давно известны в фольклоре и художественной литературе. В одной из своих статей я, ссылаясь на французского философа Рене Генона, писала: «Тысячи шумерских глиняных табличек, найденных в ниневейской библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала, еще не расшифрованы, но на одной, расшифрованной и переведенной, есть такая загадочная фраза: «Это было давно, когда людям разрешалось переступить через великий порог, по ту сторону которого жили боги, и они могли общаться с богами». Знаменитый английский этнолог Д. Д. Фрезер, анализируя библейские тексты, утверждал, что в Иерусалимском храме были священнослужители, которые назывались «стражами порога». В чем заключались их функции, неизвестно. Пророк Софроний, как сообщается в той же Библии, сказал однажды странную фразу от имени бога Яхве: «Посещу в тот день всех, кто перескакивает через порог». Таким образом,

еще в библейские времена, оказывается, были на Земле люди, владевшие технологией «перескакивания через порог», то есть перехода в другое измерение, иную реальность». Широко известно утверждение самого, пожалуй, знаменитого советского фольклориста Владимира Проппа, что в волшебных сказках герой, пройдя через избушку Бабы-Яги, как через некий *порог*, далее вступал в иной мир. Это что касается видимых перемещений по горизонтали. Были парадоксы и с вертикальным движением. Персонаж любого белорусского или русского заговора, выбираясь через подвал своего дома, оказывался вдруг посреди далекого от дома поля или леса. Герои сказок, спустившись в дупло или в колодец, побывав в тридесятом царстве либо на небе у Мороза, Бабушки Метелицы, чудесным образом попадали, в конце концов, в то же место, откуда выходили, хотя все время двигались, отдаляясь от первоначального пункта.

Я также писала, что русский поэт-пророк начала XX века Велемир Хлебников мечтал о человеке будущего, у которого будет единое, синкретическое, пространственно-временное видение мира. Он считал, что длящиеся пространство и время, которые сегодня воспринимаются сознанием человека по отдельности, рано или поздно будут восприниматься целиком. Это приведет к слиянию пяти чувств, к новому видению мира, ради чего должна работать *поэзия*. Именно поэзия. Таким образом, я в своих философских поисках за всю сознательную жизнь пришла к тому, о чем почти век назад говорил еще совсем молодой Хлебников.

Но, как видим, идея параллельного мира или параллельных миров действительно адресует первоначально к мифологии. Известный еще в СССР исследователь непознанного Владимир Ажажа писал: «Единственным *многомерным образованием* [подчеркнуто мной. — **Т. Ш.**], сосуществующим с трехмерными биологическими структурами (физическими телами), является уникальный информационный комплекс — информационно-распорядительная структура, широко известная в просторечии под названием “душа”». То есть душа сама по себе многомерна. А, кроме того, ведь не только христиане, но и язычники были уверены, что души людей после смерти улетают в другой мир. Значит, вот уже как минимум существует два мира. В Древнем Египте иной мир, который чрезвычайно волновал тамошних жителей, назывался Дуат, у предков славян — Рай. «Рай» — очень древнее слово. А понятия «ада» у наших пращуров не существовало. Впрочем, оно закономерно должно было возникнуть по мере роста личностного начала в человеке и появления злых, недобрых, жадных людей. Причем возникнуть не только в языке, а именно в неком пространстве. Нужно сказать, что даже на уровне обыденного сознания вера в рай и ад, то есть, да простят меня правоверные христиане, в параллельные миры оптимистична: успокоительно думать, что где-то, за далеким-далеким горизонтом, обитают ушедшие от нас близкие, и они, скорее всего, *там* счастливы.

Благодаря моим научным интересам я, нужно сказать, с воодушевлением наблюдаю постепенное сближение между собой религии и науки. Уже то, что мифология стала наукой, — симптоматично. А эвереттика удивительным образом сомкнулась с понятием *свободы воли* в богословии. Сама свобода воли — важнейший постулат христианства — может на первый взгляд показаться парадоксом. Вот как об этом пишет философ Павел Амнуэль: «Богом дана свобода воли. От того, что вы выберите, изменится не только ваша судьба, но и судьба ваших близких. Возникает противоречие. Бог вездесущ. В сущности, он знает, что тот или иной человек выберет. Но тогда свободы воли нет. Вам просто кажется, что вы выбираете сами, это Бог за вас давно выбор сделал, так как знает, как вы поступите».

Часто говорят, что история не знает сослагательного наклонения. Но фантастическая литература такое наклонение знает и культивирует. Недаром на сломе тысячелетия возник *жанр альтернативной истории*. Писатели размышляют о том, как при перемене чего-то в прошлом изменится линия времени, и модели-

руют возникшие при этом реальности. Время в таких произведениях, *по чьей-то воле*, как бы расщепляется, история идет по иному пути. Однако и прежний путь, прежняя Вселенная, как я думаю, никуда не деваются — они продолжат существовать, так как уже однажды возникли, и исчезнуть не могут. *Но поскольку человеческих воль множество, то и вселенных множество.* Это неисчислимое множество физики назвала Мультиверсом.

Как раз идея Мультиверса позволила разрешить парадокс о свободе воли. Да, Бог все знает, и, тем не менее, свобода воли человека тоже существует. В любой ситуации любой из нас может поступить согласно силе обстоятельств, собственной совести, интуиции, подсказке близких, и каждый наш выбор известен Богу, и каждый осуществляется — в *своей Вселенной*. Ежесекундно наша Вселенная расщепляется на непредставимое количество себе подобных, а уже в следующий миг создается снова-таки невообразимое количество копий. Человек со своим выбором пути каждый раз как бы создает свою собственную историю и свою собственную Вселенную.

Миров невероятное множество (Мультиверс), они ветвятся и ветвятся, однако могут и *пересекаться* — вот тогда-то наши предки и встречали лесовика и водяного, а современные люди — чупакабру, НЛО либо же падающих с неба лягушек и глыбы льда. Влияние параллельных миров, видимо, отражается на формировании и структурировании целого ряда геофизических, биологических и других факторов, являющихся причиной многих аномальных образований (мест силы, полтергейста, НЛО, хрономиражей, телепатии).

Мы можем также встретиться и сами с собой в пересекающихся мирах — во *сне*. Да, по общепринятой ныне версии (хотя об этом знали в глубокой древности), мы переносимся в параллельные миры, когда спим. Физическое тело отдыхает от дневных трудов, а душа стремится получать новые впечатления. В это время наше подсознание черпает из параллельного мира какую-то важную информацию. Сошлюсь на историю, которая произошла с моими близкими. В 1932 г. дедушка по маме Филат Азарович работал в управлении железной дороги и потерял какой-то важный документ. Его судили. Через шесть лет моей тете Оле приснился сон, в котором ее умершая мать (ее звали Улита) указала место, где можно найти утерянный документ. Тетя Оля наутро именно там его и нашла. Ольга Филатовна отослала документ вместе с прошением о помиловании Михаилу Калинину. Через неделю дедушку освободили. Я думаю, подобные истории о снах известны почти в любой семье.

Собственно, само представление о путешествиях души после смерти возникло под влиянием сновидений. Однако все чаще в наше время говорят о *физическом переносе* вещей и людей, скажем, когда неожиданно пропадает человек и возникает в другом месте, а то и в другом времени. В последнее время о хронопереносах, хрономиражах пишут часто. По мысли многих энтузиастов, видения небесных битв и невиданных городов (на Крите, на Медвидицкой гряде в Поволжье и других местах) — яркое подтверждение существования параллельных миров. Иногда случаются явления Девы Марии, например, в 1917 г. в португальской деревне Фатиме, в наше время в египетском городке Асьют над коптской церковью Святого Марка, но это не проникновение Богородицы из какого-то параллельного мира. Слишком примитивное объяснение. На самом деле, Христос и Дева Мария — *везде*, могут пребывать одновременно во всем Мультиверсе, в любой из бесчисленных Вселенных.

Таким образом, наше представление об окружающем мире не отражает всего его потрясающего многообразия. Поэтому многое, что происходит вокруг, остается для нас непознанным. Значит, задача стоит в расширении наших каналов восприятия, скажем, с помощью приборов. Уже спектральная чувствительность фотографии отличается от спектральной чувствительности человеческого глаза. Известно множество случаев, когда фотоснимки фиксировали какие-то удивительные вещи, невидимые людям. Помню, еще в годах 70-х в журнале «Вокруг света» была напечатана вызвавшая большой интерес фотография стран-

ной женщины, заглядывающей в окно к обычным людям, которые на самом деле ее не видели, не воспринимали, а всего лишь сфотографировали свое окно. А женщина была мало сказать странная — жуткая. Так что мы уже тогда знали, как несовершенно наше восприятие. Но мы знали и о нейтрино-элементарной частице, открытой в 1953 году, которая почти не взаимодействует с веществом, свободно преодолевает любые расстояния и преграды, для нее не существует экранов. Она вполне могла проникать к нам из другого мира. А там, где просачиваются частицы, возможно, при определенных условиях, и проникновение предметов и объектов (разных, достаточно больших).

Для меня важно, что все подобные теории расширяли наше сознание, давали возможность мыслить неординарно, вот именно в ином канале реальности. А ведь начиналось все с интереса к Космосу, со школьного предмета астрономии. Казалось бы, знания о небе не имели социальных последствий, ничего не давали практически — уже тогда, как и сегодня, практический выход в образовании для чиновников — главное. Но забывают важную вещь: жизнь человеческая состоит не только из рациональных действий, прагматических соображений — ею правят и воображение, мечта, миф. Кем бы мы были без фантазии?

Я не скажу, что мое восторженное отношение к астрономии разделялось многими моими сверстниками. У меня было больше возможностей для получения интересной информации, которая, в свою очередь, подпитывала заинтересованность некоторыми школьными предметами. Конечно, подписные периодические издания тогда стоили копейки, и не было семьи, которая не выписывала бы как минимум три издания, но все же не полтора десятка, как мои родители. Да и папа нередко водил меня в Москве в планетарий, который буквально потряс детское воображение. Но если не астрономией, то физикой, скажем, в нашей школе, одной из центральных в Минске, интересовались очень многие. Как хорошо тогда в БССР готовили физиков, говорит хотя бы такой факт. Брат моего мужа во второй половине 1960-х гг. учился на физмате БГУ. Из их группы в составе 30 человек, пожалуй, он один остался на родине из-за патриотических соображений. Все остальные, даже те, кто учился значительно хуже его, выехали кто в Израиль, кто в Америку, то есть оказались востребованы в мире. Я к этому, кстати, отношусь негативно, особенно переживаю за своих студентов (для кого, для какой страны их учу?), но факт есть факт.

2

Такие школьные дисциплины, как астрономия, расковывали наше, школьников, воображение, приучали *удивляться* миру, его необъятности и таинственности. Астрономию у нас преподавал физик Валентин Иванович, ветеран войны, человек без руки. Однажды он рассказал о неофициальных версиях, связанных с *Тунгусским метеоритом*, и в частности, о догадке писателя Александра Казанцева, обнародованной им в рассказе «Взрыв». Я до того уже не раз читала о Тунгусском метеорите. В то время о нем писали много и охотно, возможно, еще и потому, что с 1957 года в район Подкаменной Тунгуски стали ежегодно отправляться экспедиции, официальные и любительские. Даже академик Сергей Королев, главный Конструктор космической техники, как оказалось уже позже, послал тайную экспедицию с целью найти «осколок марсианского корабля» (вот где романтик от науки!). Однако я не была знакома с художественными произведениями, посвященными Тунгусскому феномену.

После увлекательного рассказа учителя я достала рассказ А. Казанцева, прочитала его. Сейчас перечитала еще раз. Убедилась, прежде всего, что это хорошая литература. Во всяком случае, добротная, не то, что бульварные поделки эпохи рыночной экономики. В рассказе стремительно развивающаяся интрига, неожиданные повороты сюжета, есть психологические детали, тактично приведена научная дискуссия, выписан фактический ряд с насыщенной информацией,

динамичны диалоги. «Взрыв» писался в августе 1945 года, после сброшенных на Хиросиму и Нагасаки американских атомных бомб, а опубликован в № 1 журнала «Вокруг света» за 1946 г.

Повествование в рассказе ведется от первого лица — журналиста, в детстве пережившего Тунгусский взрыв, поэтому он как очевидец задействован в дискуссии. Однако непосредственно в движении сюжета участвуют двое ученых — этнограф и физик, которые для проверки своих, совершенно разных, научных гипотез отправляются в тайгу. Удивительно, что ни автора, ни его читателей не удивляло и не смущало то обстоятельство, что дорогостоящая экспедиция снаряжается после страшной, разрушительной войны с Германией и еще продолжающейся войны с Японией, когда треть страны лежит в руинах. Однако я вспомнила, что и писатель Иван Ефремов, будучи ученым-палеонтологом, сразу после войны участвовал в нескольких экспедициях в Монголию — вышли его дневники того времени о поисках останков древних ящеров. Казалось, до костей ли динозавров тогда было. Оказалось, что и до них...

Однако возвращаюсь к рассказу А. Казанцева. По сюжету ученый-этнограф изучал племена эвенков и прослышал о странной чернокожей женщине — шаманке одного из племен. Он стремится найти эту женщину, уверенный, что она — единственный представитель прежних, чернокожих, аборигенов тайги, населявших ее еще до прихода туда эвенков и якутов. А вот ученый-физик едет изучать Тунгусский феномен, полагая, что над тайгой в воздухе произошел взрыв метеорита из урана, то есть ядерный взрыв, который и вызвал многие странные явления. Оба оказались неправы. Встретившись в лесу с чернокожей шаманкой, они убедились, что она вообще не землянка. Обладающая экстрасенсорными способностями женщина выделялась среди низкорослых эвенков, да и русских людей, буквально гигантским ростом, удивительной внешностью: «незнакомые пропорции смолисто-черного лица были неожиданны и ни с чем не сравнимы». На глазах ученых шаманка умирает в тоске по родной планете — можно думать, Венере. Уже в годы моего знакомства с рассказом «Взрыв» к Венере слетали советские ракеты и передали о планете подробные сведения, оказалось, что жизнь на ней невозможна. Однако это не умалило ценность произведения А. Казанцева, впервые описавшего инопланетянку. Заключение его рассказа следующее: «Не исключена возможность, что взрыв произошел не в урановом метеорите, а в межпланетном корабле, использовавшем атомную энергию. Приземлившиеся в верховьях Подкаменной Тунгуски путешественники могли разойтись для обследования окружающей тайги, когда с их кораблем произошла какая-то авария. Подброшенный на высоту пяти километров, он взорвался. При этом реакция постепенного выделения атомной энергии пришла в реакцию мгновенного распада урана или другого радиоактивного топлива, имеющегося на корабле в количестве, достаточном для его возвращения на неизвестную планету».

Писатель А. Казанцев, инженер по образованию, прожил очень долгую жизнь, был творчески плодовит, а в годы моей юности оказался особо знаменит. Он, как и ранее упоминавшийся мною в неманской публикации минский филолог Вячеслав Зайцев, снялся в мировой сенсации конца 1960-х гг. — документальном фильме Эриха фон Деникена «Воспоминание о будущем», пропагандирующем идею палеоконтакта. В фильме Зайцев сравнивал между собой мусульманские минареты, христианские колокольни и космические ракеты, а Казанцев показывал японские глиняные фигурки *догу*, очень напоминавшие скафандры космонавтов. Сегодня понятно, насколько все это наивно. Но в то время звучало ошеломляюще. Обращаю особое внимание, что Казанцев — советский писатель — написал об инопланетянах за два года до известных событий в Техасе (Розуэлл), где якобы потерпел аварию неопознанный летательный аппарат и были найдены тела погибших инопланетян. А, кроме того, хотя В. Зайцев вынужден был оставить место работы из-за шибко ортодоксальных партийцев в белорусской Академии наук, однако ни Казанцева, ни Зайцева в шпионаже за их участие в фильме капи-

талистического режиссера не обвинили, и в КГБ их никто не вызывал. Наоборот, Казанцев потом издавал романы один за другим.

Еще до Великой Отечественной войны к месту взрыва Тунгусского феномена Академией наук СССР четырежды (в 1927—1930 гг. и в 1938—1939 гг.) отправлялись экспедиции под руководством исследователя метеоритов Леонида Кулика, к сожалению, погибшего на фронте во время Великой Отечественной войны. Именно с его подачи, как главного исследователя, Тунгусское диво и стали называть метеоритом. Публикация «Взрыва» вызвала новый импульс поисков на месте падения неизвестного тела, а после перепечатки рассказа в конце 1950-х гг. заговорили о том, что идея писателя позволяет разрешить многие противоречия, характерные для ряда теорий, связанных с Тунгусским феноменом. Кстати, на гипотезе Казанцева основывались и некоторые другие советские авторы, а также классик мировой фантастики Станислав Лем.

Однако почему так глубок и не затухаем интерес к полету очередного болида, которых на Землю падают тысячи? Дело в том, что взорвавшееся над енисейской тайгой тело не было обычным болидом, то есть метеоритом, но вот чем оно было — над этим и ломают головы сотни ученых и энтузиастов.

Из всех событий, происшедших в XX веке в *природе*, Тунгусский феномен — *событие самое экстраординарное*. Потому к нему такой огромный, не ослабевающий с годами, интерес.

Это случилось 30 июня 1908 года в 7 часов 15 минут утра при ясном небе и тихой погоде в районе реки Подкаменная Тунгуска, притоке Енисея. Летящее тело видели местные жители и пассажиры транссибирского экспресса. Его полет сопровождался звуком, напоминавшим раскаты грома. «После падения болида на тайгу над ней взвился к небу «столб огня», а затем раздались три-четыре мощных удара, слышимых за тысячу километров», — пишет А. Казанцев. Он приводит свидетельство очевидца-рассказчика: «И вдруг страшный удар. <...> Воздух — густой, тяжелый — толчком обрушивается на меня <...> По реке идет высокий вал. <...> Нашу лодку подбрасывает, словно на перекате». Так все и было. Несколько взрывов чудовищной силы повалили лес на площади свыше двух тысяч квадратных километров; ослепительный свет на небе наблюдали в сотнях километров от места взрывов; сотрясение почвы ощущалось в многочисленных пунктах на площади свыше миллиона квадратных километров между Енисеем, Леной и Байкалом. Писатель Вадим Бурлак, на основе скрупулезного изучения свидетельств очевидцев, уже в начале третьего тысячелетия в книге «Гнев планеты» писал: «В селениях на берегах Подкаменной Тунгуски сотрясалась земля, трескались оконные стекла, истошно голосили петухи, рвались с привязи кони, шалели от ужаса коровы, поджав хвосты, бежали прочь от жилья собаки». По воспоминаниям эвенков, оказавшихся в эпицентре катастрофы, у них были сожжены сотни оленей. В более дальних районах животные и люди падали с ног от взрывной волны (или землетрясения). В дальнейшем в этой местности исчезли птицы и животные, да и живой растительности осталось мало. В книге «Огненная слеза Фаэтона. Эхо далекой Тунгуски» известный исследователь Владимир Ромейко пишет, что вода в болотах, в которой умывались эвенки, жгла лица.

На многих геофизических станциях Азии, Европы и Америки зафиксировали воздушные и сейсмические волны, дошедшие от места падения. На некоторых станциях отметили землетрясение. Волна от взрывов дважды обошла вокруг Земли. Практически по всей Евразии, от Енисея до Атлантики, ночное небо после падения тела было исключительно светлым, как белые ночи в Петербурге, так что можно было читать без искусственного освещения. Над Америкой летом 1908 г. резко снизилась прозрачность воздуха.

Специалисты отмечают, что энергия взрыва равнялась мощности примерно двух тысяч американских бомб, сброшенных на Хиросиму, и была сопоставима или даже превышала энергию падения Аризонского метеорита, который образовал огромный кратер диаметром 1200 м. Однако на месте падения Тунгусского

тела никакого кратера Леонид Кулик не обнаружил. Это объясняли так же, как толковал и А. Казанцев: взрыв произошел еще в воздухе, до соприкосновения с землей. Однако что взорвалось? Обычно в современных энциклопедиях приводят теорию ледяной кометы. Кометная гипотеза была выдвинута еще Леонидом Куликом, когда он не нашел остатков метеорита, а развита академиком В. Фесенковым на основе современных данных о природе комет. По расчетам академика, масса Тунгусского тела составляла не менее 1 миллиона тонн, а скорость полета — до 40 км в секунду. Ночное свечение неба могло быть связано с рассеянием солнечного света пылевым хвостом кометы в верхних слоях атмосферы.

Люди всегда очень боялись необычных небесных явлений. Особенно большие несчастья всегда связывались именно с кометами, которые буквально все народы представляли какими-то огромными, страшными ведьмами на помеле. Александр Блок, во всем видящий ужасные знамения, предрекающие беду, о появившейся в 1910 г. комете Галлея писал: «Ты нам грозишь последним часом, // Из синей вечности звезда!» О наступившем XX веке он рассуждал, основываясь на наблюдении небесных знаков — совершенно в духе мифологического мышления: «Пожары дымные заката // (Пророчества о нашем дне), // Кометы грозной и хвостатой // Ужасный призрак в вышине».

Однако были в Тунгусском феномене некоторые особенности, которые кометная теория никак не объясняла, а тем более не имели они отношение к метеоритам. Очевидцы хором утверждали, что падение Тунгусского тела закончилось серией взрывов, причем между ними проходили не секунды, а минуты. Газета «Голос Томска» через две недели после падения писала о землетрясении в Енисейской губернии: «...Был слышен гул, как от отдаленного пушечного выстрела. Минут через 5—7 последовал второй удар, сильнее первого, сопровождавшийся таким же гулом. Через минуту еще удар, но слабее двух первых...»

Тепловой взрыв на земле ядра кометы не мог длиться столь длительное время, да тем более с перерывами в минуты. Все падение кометы ограничивалось бы, по расчетам, не более 20 секундами. Так что, по существу, официальная версия о комете отпадала, хотя о ней и продолжают писать в энциклопедиях и учебниках, выхолащивая все удивительные аспекты этого события. Например, такой: в тот день в небе почти над всем Северным полушарием Земли можно было видеть серебристые облака, гало, шаровые молнии и другие удивительные атмосферные явления. Но особенно меня удивило, что, оказывается, еще *за несколько дней* до Тунгусского дива (то есть комета находилась еще очень далеко) в Европе наблюдали разные световые явления, особенно частые вблизи Балтийского моря. В частности, в нашем Бресте — «северные сияния», в Кенигсберге — яркие ночные облака красноватой окраски. Современные ученые объясняют, что довольно часто световые аномалии возникают *до* землетрясений. Но в нашем районе не было землетрясения! Однако импульс откуда-то пришел.

Вообще, когда я по-настоящему заинтересовалась Тунгусским феноменом, то поразилась, как много любителей-энтузиастов, писателей и ученых, причем из разных областей — от дендрологов до сейсмологов — им занималось; как часто проводились международные научные конференции, особенно начиная с 1990-х гг.; как обширна библиография по проблеме. Причем в царской России никто им особо не заинтересовался. А вот в Советской России уже в 1921 г., о чем мало знают, из Москвы отправили экспедицию для опроса свидетелей. Их насчитывается 809, и их показания собраны в отдельном издании. Именно на основании подробных свидетельств очевидцев, а также на тщательном исследовании местности Л. Куликом выстраивались многочисленные версии о катастрофе. Первоначально — о метеорите и о комете.

Уже после Великой Отечественной войны появились новые яркие гипотезы: о миниатюрной «черной дыре», которая пронзила Землю насквозь и вышла где-то в районе Атлантического океана; о плазмоиде из солнечного водородно-гелиевого вещества; о плазменном шаре, образованном сверхмощным лазерным

лучом, отправленным из Созвездия Лебедя; об информационной «бомбе» инопланетян (мол, разгадывайте, земляне); об облаке космической пыли; о сгустке антивещества; о гигантском электрическом пробое между землей и ионосферой и т. д. К сожалению, ни одна из этих фантастических гипотез не выдерживает критического анализа. А всего на сегодняшний день выдвинуто более ста гипотез. Возможно, какая-то из них истинная. Но какая?

Самая экстравагантная теория возникла, когда в 2008 г. отмечали 100-летие Тунгусского феномена. Отмечали, надо сказать, очень широко: проведены многочисленные форумы, а статьи той или иной степени сенсационности напечатали все научные, научно-популярные и бульварные издания. Итак, современная версия связана с именем самого гениального ученого-изобретателя XX века — Николы Тесла. Тесла, серб по национальности, работал в конце XIX и первой половине XX вв. в Америке. Количество его изобретений огромно — до тысячи. Сначала он был очень известен и почитаем, его финансировал миллиардер Морган. Затем об ученом практически перестали упоминать. Я думаю, сегодня понятно, почему. Он со своими супергениальными изобретениями, способными облагодетельствовать человечество, встал на пути нефтяных и прочих энергетических магнатов. Кстати, и сегодня появляются открытия, которые решили бы проблему получения дешевой и доступной энергии. Но это противоречит интересам транснациональных монополий, а потому ими вся документация об изобретениях или уничтожена, или скуплена и положена под сукно.

Никола Тесла работал над *беспроводной* передачей энергии. Он, видимо, обнаружил особые каналы в Земле, по которым энергия может распространяться на очень большие расстояния. Эти каналы как-то связаны с *леями* — силовыми линиями, пронизывающими всю нашу планету и известные еще нашим предкам, о чем я напишу позже. Оказалось, что Тесла именно в 1908 году затребовал из библиотеки Конгресса США карту Сибири. Он специально выбрал для своего эксперимента самый безлюдный район Евразии и, возбудив электроимпульсами глубинные разломы, направил волну в район дикой тайги, не рассчитывая на особую точность, куда попадет. То есть им впервые было применено геотектоническое оружие с помощью таинственного оборудования на «башне Теслы». Это стало понятно, когда именно в год 100-летия Тунгусского феномена и несколько позже стали поговаривать об американской системе HAARP и о разных видах нетрадиционного оружия, использующего энергию Земли и ионосферы. Возбужденные импульсом Тесла земные недра сбросили избыток энергии к месту «разгрузки» — в район Тунгуски, где, оказывается, находился палеовулкан и, стало быть, сохранились древние «каналы», ведущие от ядра планеты на ее поверхность. Оттого в небо взмыл светящийся столб — мощнейший электрозаряд. Этот столб и приняли за летящий болид.

Согласимся, версия более чем неординарная. Она вынуждает более пристально всмотреться в сопутствующие обстоятельства, в ту эпоху и, так сказать, «контекст».

Экспедиция Л. Кулика установила в 1927 г. гигантскую зону вывала леса на территории, которая по размерам превышает площадь Москвы с пригородами. В этом районе впоследствии работал и сам Л. Кулик, сделав большое количество фотографий, и все последующие экспедиции. Однако еще в 1911 г. инженер-дорожник Вячеслав Шишков, ставший впоследствии известным писателем, автором романа «Угрюм-река», обнаружил аналогичную область вывала леса примерно в 100 км от «куликовского». На сообщение В. Шишкова о странном явлении никто не обратил внимания, так как не связали его с Тунгусским феноменом. Много позже, в 1991 г., охотником В. Вороновым в зоне «шишковского» вывала леса была обнаружена огромная воронка диаметром 200 м с бортами кольцевого кратера высотой 15—20 м. Все упомянутые места, начиная с «куликовского» вывала леса, находятся на одной линии. Если продолжить эту линию на юго-восток, то она через 700 км упирается в так называемый Патомский кратер, многократно изученный и описанный, но не ставший более понятным. Еще одна загадка природы. Кратер находится в глухой тайге и отличается от всех извест-

ных геологам форм рельефа. Внешне он похож на вулкан, но не содержит извергнутых вулканических пород. «Он представляет собой насыпной холм, вершина которого — кольцевой вал с центральной горкой, как у лунных кратеров <...> Поднимающийся над бескрайней тайгой на 40 метров, этот кратер производит на специалиста ошеломляющее впечатление, поскольку ни геологи, ни геоморфолог не могут объяснить причину его возникновения» (Н. Непомнящий). Аналоги Патомскому кратеру не были известны, пока охотник В. Воронов не обнаружил нечто подобное, хотя и поменьше. Возможно, подумалось мне, эти геологические образования как-то связаны с экспериментом Н. Тесла. Интересно также и то, что, как установлено совершенно достоверно, все породы в районе взрыва оказались перемагничены, то есть подверглись во время взрыва воздействию импульса сверхмощного магнитного поля. Ни одна из до 2008 г. существующих гипотез не могла объяснить этого явления.

Продолжая тему изучения феномена именно в его время, обращаю внимание на утверждение популяризатора науки В. Войцеховского, который обнаружил, что в конце июня 1908 г. в данном районе — Подкаменной Тунгуски — работала экспедиция члена Географического общества А. Макаренко. Удалось найти его краткий отчет о работе. Но в нем ни слова не сказано о том, что экспедиция стала свидетельницей необычных явлений. Это кажется невероятным.

Украинский исследователь Александр Кульский комментирует данный удивительный факт в книге «На перекрестках Вселенной». Он, по-видимому, не этнический украинец, а русский, потому что с восторгом расписывает силу, мощь, красоту Российской империи в начале XX века. Позвольте мне с ним не согласиться: ужасающие социальные противоречия в стране нарастали, как снежный ком, а по важнейшим экономическим показателям она катастрофически отставала от стран Запада. Но в чем я согласна с уважаемым автором, так это в оценке высочайшего уровня географической науки России. Я сама интересовалась путешественниками-исследователями того времени. Они были поразительно добросовестны. Невозможно представить, чтобы чего-то не записали в дневниках. А. Кульский отмечает: «Старые дневники экспедиций начала XX века — это просто высокохудожественные произведения. В них отмечалось, зачастую, какого цвета была листва, как блестит излучина реки под лучами утреннего солнца, как было решено за утренней кашей распределить работы на день между членами экспедиционной группы... Что же касается профессиональной части записей, то на географических факультетах профессура и горные инженеры читали пространный курс об *умении записывать события* (отмечено мной — Т. Ш.), не забывая отметить малейшие происшествия, самые малые факты! Авторитет географа мог быть потерян в глазах коллег надолго, если не навсегда, в случае, если оказывалось, что он «забыл» или «счел необязательным» отметить в дневнике какую-то мелочь!» Я привела развернутую цитату главным образом для того, чтобы показать важность именно *филологической образованности* в учебных заведениях старой империи. И совсем не случайно профессиональные записи знаменитых географов (Петра Семенова-Тян-Шанского, Николая Миклухо-Маклая, Ивана Ефремова, Владимира Арсеньева) так интересно читать.

Однако относительно нашей темы А. Кульский уверен: географы той выучки просто не могли не записать знаменательный факт — взрыв над тайгой. Не заметить его также было невозможно. А далее в духе требований массовой литературы капиталистической эры украинский автор делает сенсационный вывод: либо отчет, в котором как раз описывался Тунгусский феномен, был впоследствии подменен, либо сознание членов экспедиции в тот момент оказалось искусственно отключено. Отчет мог быть подменен по требованию армейской контрразведки, а кто отключил сознание — вообще непонятно.

В душе посмеиваясь над украинским автором, я все же признаю, что любой из нас, пишущий о таком таинственном явлении, как Тунгусский феномен, имеет право на собственные версии, как бы фантастично они ни звучали.

В настоящее время все больше утверждается гипотеза кандидата физико-математических наук Андрея Ольховатого. В своей фундаментальной монографии «Тунгусский феномен 1908 года» (2008 г.) он обобщает все выдвинутые до того версии и на основе скрупулезного изучения показаний очевидцев и всех фактов приходит к выводу о случившемся совершенно уникальном взаимодействии метеорологических и геофизических факторов: «К концу июня 1908 года сложилась специфическая геофизическая ситуация, одним из ключевых элементов которой стала крупномасштабная (глобальная?) активизация процессов в недрах Земли. Одним из мест, где активизация тектонических процессов произошла в наиболее сильной степени, была южная часть Сибирской тектонической платформы». И с тех пор те края, бассейн Подкаменной Тунгуски, как пишет А. Ольховатый, — настоящая природная кладовая. Чего там только нет! Достаточно упомянуть месторождения золота и платины. В моем испорченном «теорией заговора» мозгу возникла нехорошая мысль, которая у А. Ольховатого даже не промелькнула: уж не потому ли, что край феноменально богат, так пристален к нему интерес зарубежных исследователей? Но нет, и для науки загадка Тунгусского дива — огромная площадка для тренировок ума. В самом деле, факт исключительный, поразительный. И знать о нем тем более важно, что сами мы в феврале 2013 г. оказались современниками события примерно того же масштаба — падения *Челябинского метеорита*.

3

В отличие от Тунгусского метеорита, свидетелями падения которого стали сотни людей, в 2013 г. Челябинский видели уже сотни тысяч, а зафиксировали на гаджетах тысячи.

15 февраля в 9 часов 20 минут утра в небе над Южным Уралом пронесся сверкающий шар. Снижаясь по довольно странной траектории, он оставлял за собой след, похожий на самолетный. И вдруг над одним из крупнейших городов России — Челябинском — взорвался ослепительной белой вспышкой. Через минуту раздался оглушительный грохот, за ним — несколько раскатов послабее. Далее, как и при Тунгусском падении, пришла взрывная волна. Повылетали стекла в тысяче окон, взревела сигнализация на машинах, посыпалась штукатурка со стен, на дорогах занесло в кюветы десятки автомобилей. Сотни зданий оказались поврежденными, у одного из заводов рухнула стена. К счастью, обошлось без смертей, но более 1600 человек обратились за медицинской помощью, пострадав, главным образом, от порезов разбитых стекол. В этом смысле можно сказать, что количество жертв от метеорита, хотя, к счастью, не роковых, не имеет аналогов в мировой истории. Неоднократно по телевизору показывали снятую учеником на смартфон маленькую сценку, в которой сообразительная учительница уже в момент прихода взрывной волны успевает скомандовать ученикам лечь на пол между столами в классе.

После взрыва вдруг намного увеличилась яркость февральского солнца так, что жители города даже стали ощущать от него жар, а река Миасс начала испаряться. Астрофизики полагают, что в результате взрыва над городом образовалась озоновая дыра.

К достижениям современной цивилизации можно отнести мгновенно разнесшуюся информацию о небесном посланнике, уже в тот же день о нем узнал весь мир. Последовали версии. Самая авторитетная (она сегодня возобладала), как и в случае с Тунгусским феноменом: взорвалась небольшая ледяная комета, которая включала в себя и метеориты. Немало приверженцев оказалось у теории антивещества. Много было высказываний об искусственном происхождении феномена. Но только расходились во мнениях, чья ракета взорвалась над Челябинском: российская или американская. Владимир Жириновский сразу заявил, что американцы испытывали над Челябинском свое новое оружие. А может, это был привет от вездесущих инопланетян? Вновь всплыла версия Александра

Казанцева: потерпел крушение инопланетный корабль. Недаром сразу после события вдруг военные именно под Челябинском провели учения, чего не делали двадцать лет, а МЧС замерял радиационный фон, возможно, предполагая, что над городом взорвался аппарат с ядерным источником питания. Серьезные ученые заговорили о миниатюрной «черной дыре», о мегаскопических квазичастицах: фрадмонах, планкионах, максимонах, предмете интереса академика Моисея Маркова. Верующие люди напоминали о скором Апокалипсисе, вестником которого и стал метеорит (вернее, метеороид — метеоритами называются уже найденные на земле небесные камни, а болид — летящий метеор).

В дальнейшем серьезные люди стали анализировать именно контекст. Интересно, что вечером того же дня — 15 февраля — вблизи Земли пролетел астероид 2012 DA14 массой около 130000 тонн — о нем и белорусские СМИ извещали. Он приблизился к нашей планете на довольно опасное расстояние: 27 тысяч километров. Возможно, эти два редчайших события как-то связаны между собой, может быть, челябинский метеорит входил в «эскорт» астероида.

Далее: где произошла катастрофа? Если в случае Тунгусского феномена — над глухой незаселенной тайгой, то в XXI веке — над миллионным городом и крупнейшим промышленным центром. А это уникальный факт в истории. Более того, именно этот город буквально перенасыщен объектами оборонного значения, в нем сосредоточены колоссальные запасы урана и радиоактивного полония. Многие издания патриотического русского содержания, которые нужно отличать от официальных российских СМИ, прямо утверждали, что в Челябинск, кроме собственно отечественных предприятий, работающих с ядерной энергией, свозятся радиационные отходы из США. Там находится «Хранилище делящихся материалов (Маяк)», куда Америка сбрасывает отходы урановой промышленности. Это хранилище — американская собственность. Технология хранения засекречена. Если бы метеорит размером с шестиэтажный дом упал на город, то произошла бы катастрофа даже почище чернобыльской. Однако объект, мчавшийся со скоростью примерно 20—30 км/с, взорвался, как и Тунгусский, *над* поверхностью Земли, причем дымный след, зафиксированный на снимках метеоспутников, тянулся где-то от Байкала. Поэтому его видели жители многих областей России (Тюменской, Курганской, Свердловской) и севера Казахстана.

Долетело до земли не более 10 % вещества небесного гостя. В дальнейшем осколки метеорита нашли. Самый большой извлекли осенью из озера Чебаркуль, поэтому феномен получил название Чебаркульского метеорита. Подъем огромного камня со дна неоднократно показывали по телевизору, намекая на значительное достижение российских поисковиков и всяческих служб. Но дело в том, что в прошлом веке в этом районе уже падало крупное космическое тело. И самый большой осколок нырнул именно в озеро Чебаркуль. Притом его не нашли. Не нашли, как я подозреваю, до конца 2013 года. У меня появились сомнения: тот ли метеорит извлекли, о котором вещали, который всех интересовал. А может, это был другой, предыдущий, метеорит? Его находка — тоже, конечно, достижение. Но при этом вопросы относительно Челябинского феномена остаются.

В окрестностях Челябинска вообще много удивительных мест. Там нередко видят в небе аномальные объекты, которые в обиходе и в прессе называются НЛО. Как пишет Маргарита Троицина в «Тайнах XX века», «там нередко пропадают люди и встречаются так называемые «блудные» места, где можно проплутать несколько часов, а то и дней». Я помню, что примерно в 1990-х гг. об этом регионе писали в связи с находкой геоглифа, подобного прославленным геоглифам плато Наска в Перу, только изображавшего лося. Предполагают, что огромное изображение на земле было создано примерно в VIII тысячелетии до н. э. Лось в этом регионе, как и вообще в Сибири, — главный мифологический персонаж, возможно, имевший отношение к созвездию Лося, то есть, по-нашему, Большой Медведице.

Складывается впечатление, что регион уже давно избрали для своего соприкосновения с землей небесные гости, — здесь много озер или подозрительно

правильной формы (одно носит название Шайтанки), или отмеченных разными аномалиями: в одних очень часто тонут люди, о других говорят, что в них вообще нет дна, третьи якобы затапливали некогда поселения. Совершенно такие же легенды, кстати, ходят и о многих белорусских озерах. Может, и они, скажем, Браславские озера, — вовсе не остатки растаявшего ледника (закрадывается у меня жутко крамольная мысль), а заполненные водой кратеры от упавшего и разорвавшегося на части крупного небесного тела?

Почему-то земная твердь не любит проникающих в нее космических пришельцев и отвечает разными аномалиями. Ведь не случайно наши славянские предки все падающие метеориты считали огненными змеями. Об этом сказано во многих летописных записях, например, от 1028 г., от 1091 г., от 1556 г., от 1662 г. И всегда, как и в случае с кометами, прилет цмока считался очень дурным знаком. Значит, народ издавна подметил, что падение камня — негативный детерминант последующих событий. Собственно, во всем мире падения метеоритов боялись. Их считали предвестниками эпидемий, пожаров, засухи, войны, голода. Я думаю, потому Земля отвергает чуждое тело, что оно — осколок другой планеты, может быть, мифического Фаэтона, некогда взорвавшегося. А вещество Земли *помнит* все отрицательные последствия этой глобальной катастрофы. Недаром в мифологии мудрых греков богиня Мнемозина отвечала за память не только живых существ, людей, но и вообще любых объектов в мире, всей природы. Гея, словно и вправду живая, отторгает чужеродную ей субстанцию.

Правда, мифологическое мышление парадоксальное, потому иногда в таких небесных посланцах находили и пользу. Если видели падающий камень, пытались отыскать его. В рассказе «Ленька с Малого озера» моего любимого Константина Паустовского рассказчик встретил в глухом мещерском лесу мальчика, который, оказывается, искал «падучую звезду». Маленький романтик доверительно рассказывал писателю: «Стою, слушаю — и вдруг что-то как полыхнет через все небо. Гляжу — метеор. Пролетел низко над лесом и упал где-то тут, за холмищем. Гудел сильно, как самолет». А в районе Урала, то есть именно вблизи Челябинска, найти метеорит считалось такой же удачей, как найти подкову. Может, потому, что метеориты иногда бывают железные, а железо издавна славянами ценилось. Если бросить осколок метеорита в сосуд с водой, то через несколько дней она станет целебной. В народе разработали разные правила поведения и заговоры, связанные с метеоритами. А охотники и рыбаки заметили, что на следующий год после падения метеорита в лесах возрастает количество дичи, а также ягод, грибов, орехов, и в водоемах — рыбы. Почему так происходит — никто из ученых особо не интересовался. Но ведь народ наблюдателен и всегда обращает внимание на важные закономерности. Я убеждена, что практически всем народным приметам стоило бы верить. Даже если какие-то не сбываются, то это или из-за помех нынешней техники, влияния техногенной цивилизации, или из-за изменения положения Земли и всей Солнечной системы в Космосе.

Осколки Чебаркульского метеорита также сразу бросились искать сотни поисковиков в основном из-за коммерческого интереса: на мировом рынке метеориты очень востребованы. Изучением метеоритов занимались академики В. И. Вернадский и А. Е. Ферсман, известные энтузиасты П. Л. Драверт, Л. А. Кулик и многие другие. Академии наук почти всех стран, в том числе и Беларуси, собирают метеориты и составляют их коллекции.

Мелкие метеориты сыплются с неба ежедневно, однако не всегда могут быть обнаружены, так как подавляющее большинство из них падает далеко от населенных пунктов. Вообще Землю ежегодно осыпает более *1000 тонн (!)* метеоритного вещества, но замечены и найдены бывают очень и очень немногие. Я думаю, что они несут в себе заключенные в твердой субстанции разные излучения космоса, а может, и особо живучие бактерии, потому так неординарно и воздействуют на природу Земли.

Правда, как и в случае с Тунгусским феноменом, далеко не все исследователи уверены в метеоритном происхождении Чебаркульского тела. Разные экзотические версии я уже приводила, в том числе, версию об оружии. Однако военные категорически заявили, что ни одна ракета даже половину скорости челябинского метеорита развить сегодня не в состоянии. То есть ракетчики ничего не сбивали. Тем не менее, во многих изданиях, даже достаточно серьезных, таких, как чрезвычайно популярный журнал «Чудеса и приключения», появились статьи на тему «перехват» с интригующими заголовками: «Кто сбил метеорит над Уралом?»

Научный и технический прогресс множит загадки на радость пытливым людям. Огромное количество снятых на цифровые фотоаппараты, кинокамеры, мобильные телефоны материалов показало, что Чебаркульское тело неслось с огромным дымным хвостом *еще до взрыва*. При детальном покадровом рассматривании в интернете хорошо видно, как некий светящийся объект продолговатой формы со скоростью, раза в три превышающей скорость болида, догоняет его сзади, буквально пронизывает насквозь и спокойно продолжает свой путь с первоначальной скоростью. Известнейший популяризатор науки, работающий со многими изданиями, Виталий Правдивцев на этот счет пишет: «...разрушение и взрыв метеорита произошли не за счет взрыва самого «перехватчика», как это принято в ПВО, а самым экологически чистым методом: за счет огромной кинетической энергии атакующего объекта. Последний, раздробив метеорит на куски и не получив видимых повреждений, продолжил свое движение <...> Поразительно, но спустя короткое время (через несколько кадров) таинственный «перехватчик» начал немного подниматься вверх и... исчез, буквально растворившись в воздухе. Кстати, так же из «ничего» он возник и перед атакой».

«Перехват» объясняет сам взрыв, ведь на самом деле космические тела — болиды и ледяные кометы — сами по себе с мощностью десятков атомных бомб в воздухе взорваться не могут. Чтобы произошел такой взрыв — еще до входа в плотные слои атмосферы — тело должно полностью состоять из настоящей взрывчатки! Но наука не знает метеоритов со свойствами ядерной головки. Потому и возникли гипотезы про разные «черные дыры» и антивещество, как и в случае Тунгусского метеорита. Однако относительно Челябинского непонятно, кто же осуществил «перехват», кто атаковал ворвавшееся в земные пределы тело? Американцы писали о «секретном оружии русских». На самом деле, не только сбить, но даже обнаружить такой объект возможностей у военных пока нет. Можно, конечно, российским армейцам не поверить, что, видимо, и стоит сделать: не для того они работают, чтобы раскрывать свои секреты. Однако ясно одно: если бы метеорит не был кем-то взорван на относительно безопасной высоте, а долетел бы целым до поверхности Земли, последствия были бы совершенно катастрофическими.

Вообще с метеоритами всегда связывали что-то либо таинственное, либо ценное. В № 1 журнала «Наука и жизнь» за 2014 г. упомянуто о железных бусах, найденных в древних египетских захоронениях. Только сегодня обнаружено, что железо оказалось метеоритным. Значит, делает вывод журнал, уже в глубокой архаике метеоритное железо приравнивалось к драгоценным металлам.

В связи с этим мне вспомнилась телевизионная передача из цикла «Тайны мира с Анной Чапман», вышедшая в эфир в конце 2013 года. Обычно передачи этого цикла сплошь заполнены инопланетянами и представляют собой абсолютную мифологию. Однако я и изучаю современную мифологию, а потому само направление фантазийного поиска мне интересно. В этой передаче утверждалось, что золото, серебро и платина — неземного происхождения. 3 миллиарда лет назад произошла бомбардировка Земли метеоритами, из которых и возникли месторождения этих металлов. Они уникальны и обладают многими необычными свойствами. Скажем, издавна знали, что золото продлевает жизнь, способно якобы впитываться в тело и из металла в организме трансформироваться в органическое соединение, даже разрушая рак. Кроме того, омолаживает кожу, что уже активно используется в косметологии. А серебро вбирает в себя весь негатив,

о чем священники всех религий тоже знали издавна. Все так, но почему бы удивительным металлам не образоваться в самой Земле? Ведь на месте Тунгусской аномалии, то есть бывшем районе бурной вулканической активности, даже подземные воды насыщены самыми разными растворенными металлами, то есть представляют собой фактически жидкую руду.

В то же время я вряд ли буду отрицать, что священный черный камень Каабы, объект культа всех мусульман в Мекке, представляет собой не земное образование, а именно упавший с неба метеорит. Почитаемый буддистами в Тибете мифический камень Чантомани, о котором много писал Николай Рерих, также, видимо, метеорит с необычными свойствами. В перстень мудрейшего из людей царя Соломона был вставлен камень, выпавший из короны свергнутого с небес Люцифера. В этой мифологеме тоже что-то есть.

Полагают, что самые древние метеориты упали в Мексике, им 4 миллиарда 600 тысяч лет. А Земля якобы образовалась 4 с половиной миллиарда лет назад. То есть метеориты старше нашей планеты, несут в себе не только архаическое вещество Вселенной, но и какую-то удивительную информацию (вспомним богиню Мнемозину). В определенное время, например, в августе в ночном небе можно видеть целые метеоритные дожди. Самый большой из них — из группы Леонидов — зарегистрирован в 1966 году: он был виден на небе между западной частью Северной Америки и восточной частью СССР.

Самый крупный из метеоритов был найден в Африке, он называется Гоба. Это каменный блок, весящий около 60 тонн. Такие большие метеориты, конечно, представляют собой уже явную опасность. А еще большую — *астероиды*, более крупные обломки распавшейся планеты, носящей разные названия в мифологии: у греков Фаэтон, у вавилонян Тиамат. Когда мы в школе изучали астрономию, об астероидной опасности учебники практически не упоминали. В Энциклопедическом словаре юного астронома, изданного в 1980 г., понятия «астероид» как отдельной статьи вообще нет. Однако как раз в 1980-е гг., то есть еще в СССР, об астероидах заговорили довольно активно. Я не думаю, что только для получения соответствующими ведомствами дополнительного финансирования, для этого хватало созданного специально для нашего запугивания американского проекта СОИ. Но вот уже в марте 1989 г. Земля едва избежала катастрофы. Тогда 800-метровый астероид пересек нашу орбиту на расстоянии всего в два раза большем, чем до Луны. В 1996 г. на опасной дистанции от нашей планеты промчался 500-метровый астероид. И в дальнейшем такие опасные сближения продолжались, хотя Высшие Силы пока Землю берегут. Однако именно в 1980-е гг. почти все ученые согласились, что динозавры и еще 70 % живых существ Земли 65 миллионов лет назад вымерли из-за падения на полуостров Юкатан гигантского астероида.

К концу XX века на поверхности планеты было открыто более ста негативных, то есть углубленных в землю, структур, видимо, оставленных упавшими астероидами. Некоторые следы так громадны (Аризонский кратер, кратер на эстонском острове Сааремаа), что наводят на мысль о полном уничтожении человечества в результате такого падения. То есть катастрофы типа гибели Атлантиды случались на Земле не раз. Сейчас эта мысль стала общепринятой. И в наше время, как я полагаю и о чем уже писала в предыдущей публикации, Солнечная система в своем движении вступила в такую зону Галактики (наиболее удаленную от некоего энергетического центра), в которой активизируются разные космические обломки, появляется большое количество космического «мусора». Потому землянам стоило бы задуматься над опасностью и все силы сконцентрировать на поиск защиты от нее. Однако мы занимаемся какими угодно пустяками — бизнесом, политикой, массовой культурой, — но только не жизненно важными для всего человечества проблемами.

Продолжение следует.

Наперекор судьбе

Совсем недавно мы отмечали 100-летие писателя, заслуженного работника культуры БССР Виссариона Степановича Горбука. Первая половина его сознательной жизни прошла на Витебщине. Он родился 24 ноября 1913 года в деревне Шкиляки Полоцкого района в семье бедного крестьянина Степана Леонтьевича Горбука, который был вынужден уехать из деревни на заработки в Петроград, где работал кондуктором трамвая. Отец умер, когда мальчику исполнилось четыре года, и мать с маленьким сыном забрали к себе родные братья матери Прохор и Иосиф Ключенко, которые работали учителями Дворецкой начальной школы Чашникского района. Виссарион или Висса, как его звали родные и близкие, пошел учиться в первый класс местной школы, где сидел за одной партой с моим будущим отцом Петром Евстафьевичем Ващенко. У братьев Ключенко была хорошая библиотека, и мальчики с удовольствием листали тома иллюстрированной истории древней Греции, Рима, России, выпуски журнала «Былое», где печатались воспоминания участников революционной борьбы с самодержавием. Идеи революции о равенстве, братстве и счастье всех народов на всю жизнь определили нравственные идеалы будущего писателя.

Во время учебы в Чашникской семилетней школе крестьянской молодежи под влиянием учителя Феодосия Григорьевича Иванова (кстати, близкого друга Янки Журбы) Виссарион пишет свои первые стихи.

Формирование мировоззрения и активное саморазвитие началось у Горбука во время учебы в Лепельском педагогическом техникуме. Часами он рассматривал репродукции картин известных художников, вслушивался в звучание симфоний, читал и заучивал наизусть стихи Тютчева, Хлебникова, Блока, Брюсова, Маяковского, Богдановича и Купалы, штудировал книги по диалектическому и историческому материализму. Благодаря гимнастике и лыжным прогулкам Виссариону удалось победить туберкулез легких, которым он заболел в начале 1930-х годов.

Окончив педагогический техникум, он возвращается на работу учителем белорусского языка и литературы в Дворецкую неполную среднюю школу. В течение двух лет он учил мою маму Журавскую Нину Антоновну и родного брата отца Александра Евстафьевича Ващенко, погибшего во время Великой Отечественной войны. Мои родители всю жизнь с глубоким уважением и благодарностью вспоминали Виссариона Горбука и вели с ним переписку.

В 1935 году сбылась давняя мечта Виссариона: его перевели на стационарное отделение литфака Минского пединститута. Он знакомится с Михасем Чаротом, Змитроком Бядулей, Миколой Хведаровичем, с волнением всматривается в лица Янки Купалы, Якуба Коласа, Кондрата Крапивы, Тишки Гартного. Казалось, впереди светлое будущее. Однако в апреле 1936 года Горбука арестовывают. Кто-то донес в НКВД, что в студенческом общежитии во время спора с курильщиками на их довод: «И товарищ Сталин курит», — Горбук ответил: «Для меня в подобных вопросах даже сам Сталин не является авторитетом». Этого было достаточно, чтобы отправить будущего писателя на Колыму. Вот что он вспоминал об этом:

«Я обдумывал строфы этого стихотворения, не доверяя их бумаге, в обстановке, немыслимой для поэтического творчества.

Первые строчки сложились сами собой, когда на заре из камер пересыльной тюрьмы <нас вывели> во двор, на январский студеный ветер, построили в длинную колонну и под дулами винтовок повели на станцию, чтобы отправить на Колыму.

Это было в 1937 году в Орше.

Шел мне тогда двадцать четвертый год, когда я должен был окончить литфак Минского педагогического института. Но судьба преподнесла сюрприз: три года исправительно-трудовых лагерей и отправку в тот край, о котором в лагерной частушке, полной отчаянной иронии, пелось так:

Колыма, Колыма,
Новая планета —
Десять месяцев зима,
Остальное лето.

Работа над стихотворением продолжалась на нарах товарных вагонов, везших нас во Владивосток к утробе парохода «Джурма», доставившего нас до бухты Нечаева, и закончилось на этапной дороге, затерянной в сопках возле прииска Штурмовой, под неожиданными выстрелами конвоя и командой: «Ложись! Лицом вниз!»

Оно так и осталось бы никому не прочтенным, немым криком протестующих чувств и смятенного разума в лужице крови на чистом снегу перевала, куда долетала лишь пыль от сгоревших метеоритов.

Случилось иначе. Минут через десять нас, еще не понимавших что к чему, перепуганных, вновь поставили на ноги. Падавшие от усталости, мы совершенно забыли про нее и принялись бодро карабкаться на очередную сопку неизвестной планеты.

Прошли годы исправления. К своему удивлению, которое не исчезло и поныне, я остался жив. Но, все еще сомневаясь в моей благовоспитанности, мне выдали документы, где в одной алгебраической строчке определены и границы моего пребывания и рамки деятельности. Я вернулся на родину и начал метаться из города в город. Где жить? Кем быть?

К моей радости я смог продолжить работу в школе (в начале 1940 года Горбук вернулся на Витебщину и министерством просвещения был направлен учителем в Меховскую среднюю школу. — **А. В.**). *Это были счастливые дни в моей жизни, но они продолжались чуть более года. Грянула война.*

Я предал забвению все свои биографические недоразумения по добрым советам умных фронтовых друзей. Я очистил свои анкеты от излишних признаний и старался честно выполнять свой воинский долг»[1].

С началом войны Виссарион Степанович был призван в армию. Он работал на строительстве оборонительных сооружений в Калининской области, на Дону, в Воронеже, под Орлом, в родной Белоруссии. За это время Горбук освоил профессии топографа, рекогносцировщика, инженера, строителя. Он был награжден четырьмя боевыми медалями и орденом Великой Отечественной войны.

Войну Горбук закончил в Берлине, где торжественно оставил свой автограф на стенах рейхстага. Вместе с друзьями он мечтал вернуться на Родину, но случилось непредвиденное: в начале 1946 года полиартрит на долгие годы приковал Виссариона к госпитальной койке. Горбук перепробовал все методы лечения, побывал в двадцати пяти клиниках и госпиталях, боролся за каждый миллиметр движения. И это принесло свои плоды: в 1960 году Виссариона Степановича выписали из больницы инвалидом Великой Отечественной войны первой группы. В солнечном Пятигорске он получил квартиру, которую превратил в литературную гостиную. Там проходили заседания литературного объединения, туда за советом приходили молодые литераторы. Сам писатель ежедневно продолжал заниматься литературной деятельностью. Он не прерывал связи с родной Бело-

[1] Здесь и далее курсив мой — А. В.

руссией: выписывал практически все литературные журналы и газеты, переписывался с Миколой Хведаровичем, Янкой Брылем, Аленой Василевич, своим одноклассником Григорием Релесом, земляками, учениками школ и студентами. В 1963 году в Минске выходит первый сборник его рассказов «Не шукаю спакою», в том же году он был принят в Союз писателей Белоруссии. Героизм народа в годы войны, трудовые и школьные будни были основными темами его творчества. Много писал он для детей. В 1979 году Горбуку было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры Белоруссии.

Еще при жизни (писателя не стало 8 августа 1986 года) Виссарион Степанович передал часть своего архива в Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Это произведения писателя, черновики, рукописи, письма, фотографии. После смерти Виссариона Степановича его вдова, Людмила Прокофьевна, переслала в музей вторую часть архива. Всего архив Виссариона Горбука насчитывает 540 единиц хранения. Особую ценность, как мне кажется, представляют военные дневники писателя, из которых публиковались только короткие фрагменты. Почти каждый день в тяжелейших прифронтовых условиях Горбук вел дневник, что по законам военного времени, кстати, было запрещено. Поэтому, четыре блокнота, где каждый лист с обеих сторон исписан мельчайшим каллиграфическим почерком — ценный литературный памятник героизма и мужества людей, прошедших войну. В переписке с друзьями Горбук упоминал о своих дневниках, которые он вел до 1964 года, но не делал ни одной попытки для их публикации. Почему? Потому что в них много суровой правды войны, которая тогда была под запретом. Потому что война — это не только сражения. Это голод, болезни, предательство, любовь, философские размышления, чтение любимых книг в короткие минуты отдыха, созерцание природы и фиксирование материала для будущих произведений. Все это есть в дневниках Виссариона Горбука, и тем они интересны современному читателю.

Военные дневники написаны от руки в четырех блокнотах и обозначены знаком «ОЦ» (особо ценные). Первый (ф. 234, о. 2, д. 44), размером 14х9 см из бумаги в клеточку состоит из 87 страниц записей, написанных, скорее всего, перьевой или автоматической ручкой чернилами черного цвета на каждой строчке с обеих сторон листа. Почерк очень мелкий, каллиграфический. Записи на русском языке, кроме нескольких эпизодов на белорусском.

Начинается дневник 27 ноября 1941 года. Записи идут до 6 мая 1942 года, затем под заголовком «Вместо предисловия» автор возвращается к началу войны. Первый блокнот заканчивается записями от 27 сентября 1942 года.

Второй блокнот (ф. 234, о. 2, д. 45) размером 17, 5х13, 5 см в обложке из «Курса теоретической механики. Часть вторая» (Оборонгиз, 1939 год), содержит записи с 1 сентября 1943 года по 27 июля 1945 года. В нем 89 страниц двустороннего рукописного текста с несколькими вложенными листами, вырванными из блокнота меньшего размера.

Третий блокнот (ф. 234, о. 2, д. 46) размером 15х11 см. и четвертый, размером 12х7,5 см содержат военные и послевоенные записи 1944—1948 гг. — 78 стр.

Копирование очень мелкого текста представляло определенную сложность: за 5—6 часов работы с лупой удавалось переписать не более трех-четырех страниц. Однако мне хотелось своей работой отдать дань уважения земляку, фронтовику, писателю, донести его мысли и чувства до нынешнего поколения, и в год 70-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков напомнить, чего стоила наша Победа.

Выражаю благодарность сотрудникам Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства Татьяне Викторовне Кекелевой и Виктории Игоревне Грузд, а также его директору Запартыко Анне Вячеславовне за предоставленные материалы и поддержку в моей работе.

Дневники публикуются с сокращениями.

Александр ВАЩЕНКО

ВИССАРИОН ГОРБУК

Военные дневники

27. XI-41 г.

Сегодня уезжает мой товарищ.

Узнал об этом, и душу охватила грусть, перешедшая в боль.

Мы вместе прошли самый тяжелый путь в жизни — путь отступления.

Общее несчастье и ненависть сблизили нас, разных по характеру.

Пятого июля мы оставили все: работу, семьи, друзей.

Кто-то сказал: «У каждого родина начинается там, где он родился».

Наше поколение редко живет в отцовском доме. Оно живет там, где работает. Где любимая работа — там родина.

Я полюбил школу в деревне Меховое.

Судьба каждого школьника стала моей судьбой. Часто я шагаю по дороге и задаю себе вопросы: «А где сейчас мои ребята, что они делают?»

В моей душе, в моих чувствах для каждого из них есть место, их и моя жизнь слились.

Моя родина — Меховое.

Она потеряна.

Потеря сблизила нас.

Мой товарищ уезжает. Останусь один. И он один, с грузом воспоминаний.

Это очень тяжело: вспоминать одному.

Июльская жара. Песок и пот. Губы потрескались. Во рту пересохло.

Известия, одни других больнее, давят нас, и тяжелый путь становится тяжелее.

— Владимир! А знаешь что? Когда на земле не будет войны, когда вся энергия человека направится на созидательную работу, не будет таких дорог. Каждый километр утонет в цветах, будет покоить и ласкать путника... Коммунизм... Общество творцов.

Прошла колонна машин, обдав облаками пыли, прогрохотали тракторы: скрежет, лязг, удушье.

— Мир будет прекрасным... Владимир, как ты думаешь?

Он молчит. У него осталось четверо малышей. Он думает о них. Бледная пятиминутная фотокарточка лежит в его грудном кармане. На ней в ряд стоят его дети. Сзади он.

В красивый июльский день мы в школьном саду учились фотографировать. Все в прошлом: и жизнь, и мысли.

— Владимир, ты что?

Он раскрывает слипшиеся губы: серые снаружи, вишневые изнутри. Посередине бороздка черной, клейкой грязи. Я смотрю на его худой, страдальческий профиль.

— Я думаю, что сейчас делает Эмма... С детьми...

— Да, все это так, — после паузы отвечает Владимир на мой вопрос, но, кажется, он отвечает на какую-то свою мучительную мысль.

Я вспоминаю его красивых, нарядных детей, его неустанную заботу о них и вздыхаю.

— Да, Владимир, мы работали во имя будущего. Жили недосыпая, впроголодь, глядя в будущее. И вот сейчас нас ведет вера в нашу правоту... Моя странная привычка в тяжелые дни, в трудные минуты создавать красивые картинки будущего счастья, когда меня обманывает мерзавец, провоцирует подлец, унижает, лишает доверия бездушный, грязный, — встают мои любимые образы, проходит боль, восстанавливаются силы.

Я люблю искать хорошее, честное. Я его нахожу, увеличиваю, распространяю на весь мир. Я твердо верю, что это будет так. Мне легче. Я люблю, борюсь и ненавижу.

Владимир молчит. Я знаю, о чем он думает.

Сегодня он уезжает.

И я вспоминаю нашу общую радость.

Усталые, убитые страшным в своей неопределенности горем, мы пришли в одну из многих деревенек Калининской области. На улице стояла маленькая, худенькая девочка. Мы спросили у нее про молоко. Она помогла нам достать кувшин простокваши. Мы сели на траве у дерева и стали ее расспрашивать. Девочка училась в пятом классе и с охотой рассказывала про свою семью, школу, учебу, учителей, показала свои тетради, книги. Она удивительно хорошо знала окружающее, любила учебу и была по-детски мила и не по годам серьезна.

Долго мы с нею беседовали. Не хотелось уходить. Радостно было наблюдать за девочкой. Вот наш труд! Вот они — наши будущие творцы вселенского счастья, воспитанные нами.

Голубоглазая, она просила нас на обратном пути обязательно зайти к ней. И мы вполне серьезно обещали встретиться с ней вновь. Счастливые, мы пошли дальше, на восток. Несколько раз мы оглянулись назад, чтобы запомнить деревню, увидеть ее хрупкую фигурку, провожавшую нас.

Сейчас там враг.

Мой товарищ уехал.

Я пишу эти строчки после отъезда. Я хочу подвести итог нашей дружбы.

Мало мы выражали друг другу свои чувства привязанности. Жизнь не приучила к этому. Чувства раскрываются редко и на мгновение. Мы расстались просто. Ничего особенного не сказали. Наоборот, говорили о незначительном, постороннем, а когда хотелось сказать что-то дорогое, не получалось.

Мы расстались, готовые встретиться через несколько дней и, может быть, никогда.

И я сижу один, у хороших гостеприимных людей в деревне Шумятино... Сижу один и вспоминаю.

На душе — тягость разлуки.

Перечитываю строчки, и мне хочется плакать, а при встрече я ничего не скажу, быть может, теплого, ласкающего своему товарищу, как не сможет и он ничего мне.

<...>

20. XI. 41.

Из июльского блокнота (скорее всего восстановлено из утерянного блокнота. — **А. В.**)

— Не хочется бессмысленно умирать от осколка, вот здесь, во тьме, как он. Скорее бы на фронт. Если суждено, то лучше там.

—

— Деточки, милые мои, гоните вы скорее немца от нас. Господь вас благослови. Пятерых я со своей семьи отправила... Ненаглядные вы мои...

—

Сковывающая усталость. Один, высокий, от боли идет на цыпочках, болезненно сгибаясь.

— Ты кого разбудить боишься? — бросают шутники.

Все смеются. Легче.

—

— Ну, что нового?

— Чай ноньче-то поймешь. Радио врет, газета правды не говорит... Хе, хе, хе... Наши бьют, а морда в крови.

30. XI. 41.

Сегодня передано письмо. Дата — 11 октября. [Пятиноча] — Орча, Дмитровский с/с, Молодотудский р-н. Подпись: Зинаида Силина.

Штаб оборонного строительства помещался в школе. Я работал в штабе. В душе таилась тоска по педагогической работе и наивная надежда скоро уехать в школу. Позже понял: до конца войны нужно быть бойцом.

Письмо возбудило чувство утаенной любви к хорошей девушке. Мне хотелось жить и работать с нею. Но ей не сказал ни слова. Себе сказал: пока нельзя.

Мы были друзьями по несчастью. Она потеряла Родину, семью, была одинока.

Стояла тихая теплая осень.

Деревья роняли желтые листья.

Люди жили сводками информбюро.

— А что же завтра?

И чаще опускали головы молча, в раздумье. Изучали парту.

— А что же завтра?



Виссарион Горбук, 1940-е годы.

Первое октября. Калининская область. Начались занятия в школе.

Зина волновалась. Она усиленно готовилась. Первый урок в жизни.

И чем ближе был день занятий, тем он страшнее казался молодому педагогу. Последнюю ночь Зина не спала.

Я радовался.

— Из тебя будет хороший педагог. Ты любишь детей.

— Я боюсь. Не пойду на урок. Я провалюсь. Ну что я им скажу?

— Зина, даже старый педагог волнуется, приступая к работе. Волнение — хороший признак... Если бы ты знала, как я тебе завидую.

Утром первого я проводил ее в дорогой для меня детский шум, в класс.

Провала не было.

Я провел с Зиною несколько счастливых часов моей жизни. Мы вместе мечтали о будущих счастливцах на нашей угрюмой земле, о работе педагога-творца, о детях, о счастье, молодости, о многом.

Я читал стихи. Маяковский, Пушкин, Блок, Есенин, Пастернак, Бокаччо, Колас, Богданович...

Возбужденный, радостный, я жил.

Я видел перед собою олицетворение молодости, начало творческой жизни, сближался с хорошей спутницей, воспитанницей нашего поколения. Я был счастлив, был гением, любил.

В небе гудели самолеты. Ночью полыхали отсветы пожаров, доносилась канонада орудий. Лихорадочная работа по созданию оборонительного рубежа захватила всех. И сводки, тяжелые вести отступления. Угнетенное состояние души... Странный вопрос: что же будет завтра? Смоленск, Киев, Новгород...

Но были минуты, когда все забывалось. Мы играли, как дети, читали стихи, мечтали, бегали, прятались.

Вот и все.

А сейчас передо мною письмо.

Виссарион!

Завидовал, что мы с Катей работаем. Но вот работа кончилась.

Как жаль. Я полюбила детей.

Может, больше не встретимся. А вдруг...

Я следую в Калинин. Куда кинет нас судьба? На Волгу, Урал, Алтай? А, может, буду боевой подругой бойцов?

Ну, ничего.

Желаю тебе всего хорошего. Прощай. Извини за все.

Я умею быть сдержанным. Я ничего ей не сказал. Мучительно хотелось. Мог. Нашел бы отклик.

Встречу — скажу.

1. XII. 41.

Возвратилась из Москвы группа наших инженеров. Рассказывают.

— 16 октября Гитлер смог бы взять Москву. Рассчитывали рабочих. Жители бросились из города. Захватывали, кто что мог. Дошло до того, что рабочие останавливали машины и сбрасывали нагруженное. Сжигали архивы, книги, ломали и срывали станки, в спешке разбрасывая по составам... Что творилось... Черт знает, почему подымается паника? Калинин преступно зря сдали жалким останкам немецких частей. Панику начинают агенты. Это его тактика.

— Сейчас в Москве спокойно. После 16-го Гитлеру не бывать в столице. А интересно: эвакуировали заводы, и Москву перестал бомбить.

Вспоминается эпизод.

19 октября. Мы отступаем из Калининской области. Дорога — желтое месиво глины. Стучимся с Владимиром в одну избу. Открывает бритый, пожилой, похожий на старый гриб.

— Зачем стучите? Никого нет. Все ушли. Я ничего не могу. Ничего не знаю.

Лицо нервное, даже страшное.

— Чего вы волнуетесь? Разрешите у Вас поесть и погреться.

— Я чужой. Я не хозяин. Я недавно приехал. Не могу. Нельзя.

— А откуда вы?

— Из Москвы.

— Из Москвы?! Давно?

— Два дня тому назад.

— Почему? Ну что там? Как?

— Лучше не спрашивайте.

Мы входим в избу. В беспорядке свалены узлы. Испуганно смотрит десяти лет девочка.

— 16-го в Москве был ад. Всех рабочих уволили. Из Москвы бросились... Я сорок лет прожил в Москве... У меня катар желудка. Я здесь погибну.

— Вы — рабочий?

— Контролер вокзала [БГЖД].

— И вы все бросили и удрали?

— Мой милый, все так делали. Ах, боже мой, что я буду делать?

— Ехать обратно.

— Я не знаю... Я не знаю, — повторял разбитый старик, — у меня катар желудка.

— Неужели так было? Нет, не может быть, — думали мы.

Вчера победа. Ростов наш. Хорошо. Болен. Читал «В людях» Горького. Сколько хороших книг. И все это наше, родное. А какое дело фрицу до Горького?

Что в Ясной Поляне?

<...>

11. XII. 41.

Перерыв. Работа.

Попрощался с милой семьей Марии Абрам. Козловой и Мих. Фед. Приняли и провожали как сына.

Наши русские люди. Трудолюбивые. Честные. Тихие и незаметные труженики. Они — народ, в них — его лучшие качества.

Сестра хозяйки убита. В воскресенье враг сбросил на дорогу, где ехали и шли на рынок колхозники, четыре бомбы. У села Ильинское-Хованское зияют четыре воронки. Четыре малыша не увидят своей матери.

Я рисовал портрет убитой. С дешевенькой карточки смотрело доброе лицо матери. Я передавал его черты ватману. На мгновение ее черты оживлялись, и я видел свою мать. Я отодвигал бумагу, чтобы на ней не было пятен.

Нет чужих матерей. Нет чужих семей. Перед жестоким врагом мы все — одна семья.

Плакала Оля, дочь убитой. Отличница пятого класса, она бросила учебу.

Оля пришла к нам притихшая, грустная. Я старался развлечь ее.

Из походной сумки я достал детские стихи Маяковского.

Крошка сын
к отцу пришел.

И она оживилась.

Мы читали: «У меня растут года».

Она улыбнулась.

Никогда я так глубоко не проникал в сущность этих стихов, как в тот вечер.

Я был горд за поэта, счастлив, видел радостный блеск Олиных глаз.

Мы подружились. Оля Черноглазкина. Глаза у нее голубые.

Она будет учиться.

А я ей пришлю Маяковского.

<...>

23 февраля 1942 года.

Дорогой друг!

Сегодня газеты напечатали указ о присвоении звания Героя партизанке Тане — Зое Космодемьянской, ученице X класса.

Прочитал очерк о ее жизни и конце и был потрясен. Взволнованный, пишу тебе, милый Петр, не зная, где ты, жив ли ты. Ведь мы вместе с тобою стремились дать нашей Родине полноценное поколение молодежи, умное, жизнерадостное, способное творчески работать, рвущееся строить коммунизм.

Я вижу Зою за партой в нашем классе. Вот она предо мною, пытливым умом открывает все новые и новые горизонты. Я с тобой любуюсь, как расширяется ее кругозор, радуюсь вместе с нею счастьем осознанного бытия. Вспыхиваю и горю радостью творца-педагога.

Вспомним наши размышления, друг.

Вот пред тобою застенчивые маленькие бутузы. Крошки девочки, с трепетом вступающие в класс, слезами защищающие себя от маленьких, как они, неприятностей жизни. Они пришли к тебе, творец, сидят, смущенные, за низенькими партами. Тебе поручена одна из самых святых обязанностей на земле — создать их интеллект, характер, волю.

На твоих глазах они растут, развиваются. И вот они пред тобою через семь-десять лет. С трепетом смотришь им в глаза. Их бережешь, их любишь, ими живешь. С горечью прощаешься с ними на выпускных вечерах.

Дорогие, идите в жизнь. Боритесь за счастье на земле. Впереди — тяжелый труд и радость победы. Не забывайте нас.

Мне вспоминается наш последний вечер 20 июня 1941 года.

Да, друг! Вот когда я еще раз понял, какую ответственную роль мы выполняем. Образ Тани указал нам идеал. В каждом нашем ученике мы должны были воспитать Зою.

Петр! Мы с глубоким удовлетворением можем сказать, что мы это делали. Образ Тани сливается в моем сознании с нашими девушками и юношами.

Друг! Я не знаю где ты. Наша милая Беларусь, родимая Витебщина у врага.

Что творится в нашей школе в Меховое, неизвестно. Но мы знаем, что там может твориться. Библиотека, картины, здание разграблено, сожжено. Наш труд оскорблен, загажен...

Не долог час, когда мы будем там. Все восстановим. Но в первую очередь проверим себя, как воспитателей, узнаем судьбу каждого ученика. Испытание войной показало, какова наша молодежь. Мы горды за нее. Скоро, Петр, со священным трепетом в груди, мы примемся воспитывать умных и мужественных борцов за коммунизм.

<...>

3 марта 1942 г.

С 15 февраля в пути. Маршрут: Кулачево—Ростов—Углич—Кимры. До Ростова не доехали. По телеграмме, впредь до особого. 14 дней ожидания в Сулости. Время тратил на политработу, чтение, отдыхал. Пробовал развлечься по традиционным путям холостяков. Неприятно. Эрзац. Нет интеллектуальной жизни в этом. Моя душа слишком искренно жаждет постоянства, честного участия в судьбе другого.

1 марта через Москву в Столбовую, Курской ж. д. строить дорогу.

Вчера был в Москве.

1933, 1937, 1939 и 1942. Разные годы, разные обстоятельства.

Вокруг оборонительные рубежи. На улицах баррикады. Заколоченные фанерой окна. Кое-где развалины домов. Подвалы, превращенные в доты. Лица сдержанные, серьезные.

Кремлевские звезды.

Там работает Сталин.

Будет ли в моей жизни момент, когда он поздравит меня с творческой победой?

Окна ТАСС, плакаты.

Уверенно ждет столица победы.

Когда снова в Москве быть?

<...>

5 апреля.

Почему-то мне сегодня хочется сказать, что все уже перечувствовано, пережито и нового ничего не будет.

«Все испытано». Странно!

Разум понимает: многое неведомо, но в чувствах безразличие.

Усталость? Видимо.

— В чем же просчет Гитлера?

— В оценке силы духа народа. Помните, 28 человек задержали наступление 50 танков. Пусть они погибли, но дело сделано. Только один смалодушничал и то получил должное. А это не единичный случай.

—

Кабинет врача. В приемной женщина. Серпухова, мобилизованная на строительство дороги.

— Вы освобождаетесь от работы, у вас расходится операционный шов. Вы должны ехать домой и лечиться.

— Я не хочу ехать одна. Окончат работу, вместе поедем, тогда буду лечиться.

Вот в чем наша сила.

—

— Вы человек разума, а я чувств.

— Мой разум давно спит. Я не помню, когда связно мыслил. Как-то все опустошено. Боюсь, что будет со мной, — говорит кандидат технических наук Подвиуз.

— С людьми надо уметь жить. Куда попадешь — смотри, и все будет хорошо. Как они, так и ты.

— Я так не могу. Меня нет-нет и взорвет.

— А так нельзя. Пропадешь. Угробят.

— Я не для того кончал институт, чтобы меня на какое-то строительство точки ставили. Возмутительно.

6 апреля 1942 года.

«Белорусская молодежь настолько пропитана советским духом, что нельзя рассчитывать на какие-либо изменения в ее настроениях».

«Дойче цайтунг ин Остланд».

Але гэта так.

Шчыра дзякую табе, мая краіна, за ўсё, што ты мне дала, што ты мяне выхавала такім.

Кім бы я быў без цябе? Батраком у пана, пастухом у пана, бедняком без каня, або папаў бы ў цэпкія лапы ўласніцкай ідэалогіі кулака, гандляра ці загінуў бы ў катарзе барацьбітом за лепшую долю народа.

Хто я цяпер?

Я атрымаў асвету, я атрымаў светапогляд грамадзяніна Зямлі, ведаю як і за што змагацца, ведаю, дзе ляжыць шлях развіцця грамадства, мне з дзіцячых гадоў прывіты лепшыя ідэі чалавецтва, і я сябе, мая дарагая Радзіма, з гордасцю адчуваю прэемнікам і носьбітам культуры чалавецтва. Хто з беларускай моладзі не скажа гэтага? Ці можна разлічваць на змену настрояў людзей майго пакалення, выхаванага піянерскім атрадам, школай, камсамолам, выхаванага партыяй, Радзімай? Нікому не зламаць волі савецкай моладзі, волі да поўнакроўнага творчага жыцця, як нікому не вырваць з памяці піянерскіх кастроў, любімых настаўнікаў, студэнтскіх гутарак, прачытаных кніг, спетых песень, не вырваць з памяці палеткаў роднага калгаса, мітусяніны свайго горада — не вырваць з памяці вобліка сваёй Радзімы — свайго жыцця і шчасця.

<...>

14 апреля 1942 г.

12 лет назад Маяковский поставил точку-пулю в своем конце. Кто ощущает, что «только с этой строчкой развяжись» и солнечный край станет явью, на несколько роковых минут решил: умереть не ново, но сделать жизнь значительно трудней. Он знал, кого петь в этом бешеном зареве трупов, знал, что придется веслами отрубленных рук грести в страну будущего. Жизнелюбец, первый поэт революции, ушел из жизни.

Прошло 12 лет. Трудно жить сегодня. Но к «радости грядущих дней» человечество ближе стоит. Сегодня у Гастелло и Сосновского смерть выполняет социальную функцию. Много не осужден Маяковский. Неприятность спасла его. Прошлое нелегко победить. Оно вырывает годы, иногда жизнь. Рабочего «громады-класса враг» убил поэта. Он враг и мой, отъявленный и давний. Не у меня ли им убито столько сил?

<...>

25 апреля. Можайск — Вяземское — Бели.

Встречен с радостью. Работы много. Настроение хорошее.

— Вот когда мы по-боевому работаем.

Писать некогда. С 7 утра до 8 вечера в лесу. Задания выполняю четко. Глубоко удовлетворен. Бригадам нравлюсь как руководитель. Ежедневно — политбеседы. Работаем хорошо, сплоченно.

Интересное наблюдение.

М. жалуется.

— Пока я с бригадой, она работает. Ушел — стоят.

Первые дни у меня — тоже.

Задумался.

— Надо сблизиться с людьми, не быть работодателем, а чутким руководителем техническим и, в первую очередь, политическим.

После первых же бесед с людьми бригады — поразительная перемена. Я подхожу к ним [—] они улыбаются, разговаривают, как со своим, делятся впечатлениями, сами спрашивают о новостях. Даю задание, ухожу на другой объект. Возвращаюсь и удивляюсь [—] все выполнено точно с неожиданной быстротой. Спрашивают: «А что дальше делать?» Переменились люди. Организовал трудовой процесс. 50 минут работа, 10 — отдых. К лодырям беспощаден, чему все довольны.

<...>

7 января 1943 г.

п. Синенькие.

22 апреля 1942 года я окончил ликвидацию IX строй дистанции, начатую 14 апреля, и по вызову начальника еду в Москву для получения задания и командировки.

Москва. Снова с трепетом вглядываюсь в каждый ее объект: в улицы, в прохожих, здания, вывески, ищу очертания дорогого Кремля. Вот его башни, кремлевские звезды. Как все близко, знакомо и дорого.

Мещанская. Домик Брюсова. Мыслитель, поэт, коммунист.

Захожу на квартиру Гая Григорьевича Меликсетяна, начальника участка. Он в военном, выбрит, подтянут, улыбается. Умные, темные глаза. В комнате тесно. Вещи, книги.

— Вот вам ваши документы: командировочное предписание и литер. В числе нашего актива вы едете на прифронтовой рубеж за Можайском руководить его строительством.

Читаю и не верю.

— Гай Григорьевич! Но вы оформили документы на меня как на инженера. Я же никогда не был...

— Это ничего, — улыбаясь, смотрит на мое беспокойство Гай.

— Но я же попаду в неудобное положение, если не хуже.

— Не волнуйтесь, Виссарион Степанович. Это для проезда. А там все договорено.

— Но...

— Хватит «но», товарищ инженер. А пока возвращайтесь в Столбовую и любым методом вырвите в участке деньги, нашу зарплату, и приезжайте к нам.

— Есть. Хорошо.

Вздохнул. И приятно, и страшновато. Инженер!.. Ну, что ж, война!.. Постараемся справиться, товарищ инженер.

У начальника участка Красильникова я «вырвал» не деньги, а живого кассира с деньгами и обратное путешествие совершаю с ним.

Мой спутник, Иосиф Владимирович Мисевич, 54-х лет, низкого роста, лысый, с настоящей свистящей трубкой-коротышкой во рту. Он крайне медлителен и молчалив.

Оделся Мисевич странно, почти в лохмотья, деньги замаскировал в рваный рюкзак и держит его в руках.

— Что вы курите? — спрашиваю я, обоняя страшный аромат дыма.

— Клевер, — невозмутимо отвечает спутник.

— И он вас удовлетворяет?

— Как сказать... Привычка.

— Почему вы так оделись? — не утерпел я.

— Так удобнее. Да и не осталось ничего. Я уехал, а квартиру в Москве дважды обворовывали.

— А где ваша семья?

— Ее нет у меня.

— Убита?

— Нет. Не было. Я не женат.

— Развелись?

— Нет. Совсем не был женат.

Любопытство мое разгорелось.

— Почему же?

— Просто не успел. Сначала учился. Все стремился быть первым...

Голос его сделался мягче, задушевнее, как у человека, вспоминающего дорогое, невозвратимое.

— Окончил политехнический институт. Поступил на службу. Там все было некогда. Беготня, работа, завертелся белкой в колесе... Все думал успею, строил планы...

Пауза.

— Так и не успел, — окончил он.

— А ведь тяжело одному жить?

— Ко всему привыкаешь.

— Но ведь иногда хочется с кем-то близким поделиться мыслями, чувствовать; ощутить участие так хочется, что говоришь с кем угодно. Что вы тогда делаете?

— К одиночеству я привык, — повторил он. — Ну, я веду дневник.

— Дневник?! И он при вас? Я тоже люблю писать.

— Нет. Не беру в дорогу.

(далее зачеркнуто — А.В.):

[Двойственное чувство боролось во мне. Только что, испытав радость взаимной близости, ласки, участия, только что пережив разлуку с любимой девушкой, я ощутил презрение к человеку, не нашедшему из-за честолюбивых стремлений ничего в жизни. И одновременно вспыхивала жалость и участие к одинокому старику.

— А может, и тебе судьба уготовит подобное.

— Ну, нет, что за глупости. Смешно.

Но молодость победила, и я в течение всего путешествия с Мисевичем не мог отвязаться от внутренней улыбки над ним.]

Для проезда в Можайск нужен специальный пропуск. Я веду кассира в штаб третьей саперной армии в Серебряный Бор.

Без предъявления документа мне один младший лейтенант указывает помещение штаба. Входим в комнату. Капитан, дежурный по штабу, с кем-то разговаривает. Окончив разговор, он подходит к нам и удивленно спрашивает:

— Вас кто сюда впустил?

— Мы сами вошли.

— Как? Через что?

— Через эту дверь.

— Я же вам сказал немедленно ее закрыть, — обращается капитан к связному. — Никого здесь не пускать.

— Извините, мы не знали, — оправдываюсь я.

— Вам кого нужно?

Объясняемся.

— Идите в строевой отдел к товарищу С.

Предъявляю С. документы и объясняюсь.

— Никакого пропуска я вам не дам. Как хотите езжайте. Вы же прибыли с опозданием. Я закрываю на это глаза, как будто ничего не знаю, но через полчаса чтобы вас здесь не было.

— Но, позвольте, мне не одному нужно ехать, а с кассиром. Оформите на него пропуск.

— Не мешайте мне работать.

Я оглянулся на кассира, пожал плечами.

— Странно... Но позвольте, — начинаю снова.

— Я с вами разговор окончил. Никаких денег я вам не дам.

— Мы денег не просим.

— Все! — окончательным тоном заключил товарищ С. и сосредоточился на какой-то таблице.

После ряда расспросов и советов о нас новый дежурный по штабу доложил комиссару, и он вызвал к себе.

— Чье это предписание? — спросил он.

— Мое, — отвечаю и рассматриваю комиссара. Пожилой, серьезный.

— Вы почему здесь?

— Я приехал оформить на кассира, везущего нашей группе зарплату, документы.

— Почему вы не выполнили нашего предписания?

— Я получил задание от своего начальника и его выполняю.

— Никакого начальника группы я не знаю. Я вас арестую.

— Позвольте. Меня предупредили, что обо всем договорено с вами.

— Никакой договоренности не было. Вы откуда? Из ПСа?

— Знаем мы эту шарашкину фабрику. У них вечная путаница.

— В неловкое положение попал я и неожиданно.

— Вы удивительно штатский человек. У вас все такие?

Я рассмеялся и оглянулся на спутника. Улыбнулся комиссар.

К вечеру документы оформили.

Утром 25 апреля я выехал в Можайск.

На вокзале и в вагонах почти одни солдаты.

За окнами дождь.

Сосредотачиваюсь на стуке колес.

Думается об оставшейся в Столбовой близкой девушке. Стало до слез жаль ее. Чтобы разделить тяжесть своей утраты, записываю непрерывные вспышки мыслей и ощущений. Спешу все уловить и передать. Становится легче.

— Здесь проходил фронт, — долетает до меня. Я становлюсь у окна вагона.

Срезанный наполовину лес. Расщепленные стволы деревьев. Разорванные и спутанные провода. Трупы лошадей.

Деревня. Пепелище и одинокие, протянутые кверху, трубы печей. Ни одного домика. Развалины, угли, черные бревна. И так весь путь до Можайска.

Я вспомнил свой дом, деревню, семью. Я пережил в секундах радость домашнего уюта, встречи с родными, детских прогулок по окрестностям, а потом увидел руины, трупы...

Горько, обидно, больно стало внутри, где-то в груди, в сознании, не все ли равно где... Потеряно. Все потеряно.

Только воскрешая в памяти пережитое в детстве, в юности, в близких образах ощущаешь, что ты потерял вот сейчас, здесь... И нет никакой надежды все увидеть вновь.

Воронки, пепелище, руины, трупы — явью встают на пути в прошлое и вызывают то состояние души, что не выразить словами.

Можайск. Станция в развалинах. Идем в Вяземское. На одной из улиц, сбоку гора окровавленных бинтов, перепачканных гноем и кровью гипсовых накладок, конечность руки, измазанное гноем белье. У дорог трупы лошадей, останки сожженных машин, патроны, гильзы снарядов.

У штаба бригады в Вяземском я взял направление в Бели к ближайшей группе товарищей, среди которых были и мои друзья.

Первым я встретил Михаила Алексеевича. Он шел с квартиры.

В бушлате, с палочкой-метром, обветренный. Большие глаза сузились в улыбке.

— А-а-а! Виссарион! Какими... судь...бами.

Говорит он, слегка заикаясь, с короткими паузами после каждого слова.

— Я не один, а с кассиром. Деньги привез. Будьте знакомы.

— Это... уже... блестяще. Ты... где устраиваешься?

— Смотри. К вам.

— Ба! Инженер... Поздравляю.

Он рассмеялся, обнажив недостаток двух передних зубов, и хлопнул меня по плечу.

— Мне не совсем удобно называться не тем, кто я есть. Из учителя в инженеры.

— Ничего. Здесь же... все... свои. Выручим. Иди... ко мне работать. Руководить... нашей группой... Евгений... Михайлович... Мы... договоримся. А пока надо получить продукты. Или... Идем к Владимиру. Он... рад будет.

— Работы много?

— По горло. Ни в какое... сравнение... не идут прежние рубежи... Один... Анатолий имеет столько точек, сколько... весь участок в Калачево имел... Владимир в лесу... Идем.

На полях густо желтеют свеженасыпанные холмы земли. Скоро они превратятся в «точки», в систему мощного огневого рубежа.

В лесу стук топоров, гулкое уханье падающих деревьев, смех девушек. Навстречу, в черной телогрейке, с полевой сумкой, в желтой зимней шапке, в резиновых сапогах идет загоревший, пополневший Владимир. Он рад.

— Не ожидал тебя увидеть. После Столбовой не ожидал. Как хорошо. Ты к нам?

— Увидел в списке твою фамилию и попросился в эту группу.

— Как хорошо. Оставайся у меня работать. В лесу. Поэзия. Здорово, спокойно, соловьи. А работа какая!

— Хорошо, Володя, хорошо.

Мы сели на сруб делиться всем, что придет на память.

В час собралась группа обедать. Лев, остроумный собеседник и добросовестный пунктуальный строитель, кандидат технических наук; Анатолий, здоровый, атлетического сложения, светлолицый белорус, спокойный, сосредоточенный, исключительно выносливый в работе; Евгений Михайлович, руководитель группы, пожилой опытный инженер, весьма интеллигентный, чуткий человек; Михаил, взявший на себя все хозяйственные хлопоты, озабоченный Владимир.

— Общее техническое руководство осуществляет здесь представитель бригады Добрянский, воентехник I ранга. От него зависит твое назначение, — говорит мне Михаил.

С опозданием входит Добрянский, молодой инженер.

— Ну, как с точкой у вас? — первые его слова, обращенные ко Льву.

Знакомимся. За обедом решают мою судьбу.

— Направим его к Анатолию Ив. Помощником, — советует Е. М. Добрянскому.

— Нет, он же инженер, — возражает Д. — Ему нужен самостоятельный участок.

Я открываю рот, чтобы разоблачить себя, но Михаил, угадав мое намерение, толкает меня в бок. Я оглядываюсь на него.

— Молчи, — шепчет он.

— Тогда назначим его диспетчером. Он будет руководить комплектацией и переброской из лесу на точки материалов, — предлагает Е. М.

— Это будет хорошо, тем более, что здесь у нас крайне неблагополучно, — соглашается Добрянский.

Я, настороженный, молчу.

— Итак, В. С., Вы будете у нас связующим звеном, — объясняет мою задачу Е. М. — Вы будете принимать каждый комплект для точки, проверять его полноту согласно спецификации. (Что за термин? — думаю я) и доставлять на соответствующую точку. Так как работы много, а нас мало, я думаю, Вы не откажетесь после обеда приступить к работе. Вы не устали?

Хотя и устал, но от волнения вся усталость исчезла.

— О, нет, конечно смогу. Но... — перехожу на полголоса, — Е. М., вы же меня, как инженера, знаете. Я... справлюсь?

— Я думаю, что да. Ознакомитесь со спецификациями, свяжитесь с прорабами. Они укажут местонахождение своих точек. Выделим Вам несколько взводов и будете работать, — вполголоса инструктирует Е. М. — Следите, чтобы все комплекты были полными. За это Вы с завтрашнего дня несете личную ответственность. А в будущем дадим Вам несколько точек, займетесь строительством.

— Я сегодня пока ознакомлюсь с работой.

— Хорошо.

С боязнью приступаю к ознакомлению.

— Сорвусь... Несете личную ответственность! Людей организовать. Что за взводы? Спецификация? Что за черт? Никогда не слышал... Подведу... Вот будет... Нет, не должен! Неужели будет так трудно? Не найду в себе ума понимать?! Комплекты изучить...

— Пойдем, Виссарион. Ты у меня знакомишься, — зовет Владимир. — Что задумался?

И водит меня Володя по лесу, показывает, где что заготовлено. Много всего! Вручил спецификацию. Там перечень частей комплекта. Сколько технических терминов: разные лаги, ралсы, переборки, жерди!.. Учусь различать их. Нет, все равно сразу не запомнить.

— Как же быть? Надо основное постичь.

— Что я должен сделать завтра? — мелькают мысли, решения.

Узнаю: завтра я должен обеспечить три позиции пятью срубами и комплектами.

Изучаю перечень частей, проверяю наличие заготовленного, просмотрел пути к точкам и, наконец, поздним вечером облегченно вздохнул. Задание освоено. Освоено!

Перебираю в памяти названия частей, переборки, лаги, заборки, представляю их размеры. Пробую представить, как я буду организовывать работу взводов. Трудна новизна! Может, потом смешно будет от своих первых шагов, а пока...

Вечером собираемся в тесный круг за маленький стол ужинать. Все утомлены, но довольны сознанием, что за день сделали очень многое и очень нужное, и никак не могут мысли оторваться от деловых вопросов работы.

— За ужином я запрещаю говорить о работе. Необходим отдых, — тоном приказа с улыбкой объявляет Е. М.

— Правильно. Есть не говорить о работе.

Но Лев, уронивший голову в ладони, поднялся и спрашивает:

— Е. М., а как с точкой 24? Там появилась вода. Не хочется актировать.

— Вода? — забыв о приказе с поднятой ложкой, переспрашивает Е. М.

И все, улыбаясь, молчат и слушают разговор о точке 24, а потом сами предлагают свои мнения. Обсуждение всех вопросов затягивается до двенадцати ночи, или пока не наметится четкий план завтрашней работы.

— Кто первый встанет, будите. Мамаша, разбудите нас в шесть, — обращается Михаил к хозяйке.

Но мне не хочется спать. Я возбужден. Я рад. Наконец я включился в настоящую боевую работу, влился в такой сплоченный и работоспособный коллектив. Меня так хорошо приняли, доверили такую большую работу. Скорее бы завтрашнее утро.

Утром быстро завтракаем и уходим. Я получаю в свое распоряжение сорок человек. Большинство — женщины, мобилизованные из колхозов.

Я вспомнил свою педагогическую работу и, как в начале каждого урока объяснил тему, метод и цель урока, так своей бригаде сообщил задание на день и с любопытством приступил к исполнению своей новой роли.



Ст. техник-строитель Анатолий Свяцкий и ст. техник-рекогносцировщик Виссарион Горбук. Рембертув (Польша), 1944 г.

В километре от леса, на зелени всходов, чуткий к суровой ласке апрельского солнца, празднично желтеет свежий холмик песка. Сюда моя бригада переносит бревна сруба и комплект к гнезду противотанкового ружья. Женщины становятся попарно группами в шесть-восемь человек, кладут на гибкие палки горько пахнущие, оживленные весною, бревна и, покачиваясь в такт шага, медленно, словно торжественно, их переносят. Мелкие части комплекта дружно разбираются, и люди гуськом растягиваются по свежей дорожке, темнеющей то взбитым покровом прошлогодней листвы, то месивом пахоты, среди которой беспомощно утопают нежные зеленые иглы пробудившихся всходов.

Лица женщин сосредоточены и кажутся утомленными. Сколько скрытых забот неотступно мрачными птицами кружат и кружат пред глазами наших матерей. И пение птиц, светлые разливы луж, блеск утра только ощутимее подчеркивают нескончаемое горе войны.

Бригада работала неравномерно. Пожилые женщины очень добросовестно выполняли задание, часть девушек работала с ними, а часть вместе с парнями 15—17 лет старалась уклониться от общего темпа напряжения.

— Мы знаем, что нам надо работать. За нас никто не сделает, — делится со мною мыслями одна женщина. — Никому не охота видеть здесь немца. Хватит. Увидели. Раньше думали: ну, немец так немец, и он человек, а как пожили с ним, теперь все. Лучше в могилу, чем с немцем.

— А знаете ли вы, что сейчас делается на фронтах? — спрашиваю я.

— Родимый, откуда нам знать? Газет мы не читаем. Никто нам не говорит.

И я почувствовал необходимость побеседовать с моей бригадою, этой незаметной группой тружеников, на горьком опыте узнавших необходимость до конца бороться с врагом. В предобеденный перерыв я рассказал им про положение на фронтах, про героизм Красной армии, нарисовал перспективу предстоящего скорого разгрома немцев, оценил значение нашей работы, попросил задавать вопросы всегда, когда будет что-либо неясным, и пообещал каждый день проводить с ними политбеседы.

Слушали внимательно.

Увлекшись организацией работы, я забыл, что есть командир роты, взвода, бригадир, комиссар, но зато результатом работы был доволен. Главное, почувствовал: контакт с людьми был установлен в первые дни работы.

Вся энергия и время уходят на работу. За обедом, вечером, утром мы разговариваем только о точках, только о работе, исключительно по-дружески, без споров, без стремления выехать за счет другого. Слишком мало времени думать об этом. Все поставлены в одинаковые условия.

Нас семеро.

Ответственный за рубеж воентехник I ранга Добрянский. Он любит говорить, что он окончил академию, но практик небольшой. Часто волнуется.

— Ну, как у нас, вы думаете, идет работа? — спрашивает он всех за столом. — Мне кажется, плохо. Точки, точки у нас грубоватые. В соседнем батальоне лучше?! Они нас перегонят.

— Лев Ильич, не беспокойтесь. Не так у нас плохо. Наоборот. Ведь мы раньше строили.

— Да? Знаете, я тоже так думаю, что у нас ничего не получается. Нет, мы выйдем на одно из первых мест. Трактор бы нам...

У каждого свой метод работы.

Анатолий — большой практик. Я с ним часто беседую, и он меня старается научить работать и делиться своим накопленным опытом с такой искренностью, что я начинаю испытывать к нему дружескую любовь.

— Мне говорят, что ты вертишься как белка в колесе? Представь себе, так нужно, иначе ничего не будет. Я всегда делаю все сам, никому не доверяю. По опыту знаю: могут подвести, не сделать, испортить. А знаешь, что это значит в строительном деле?

Я слушаю Анатолия, сопоставляю свой небольшой опыт с его мыслями.

— Да, точно так. Надо учесть.

— Получил задание, имеешь рабочих, весь успех зависит от организации, от личного примера. Всегда надо самому что-нибудь сделать для примера. Это не отнимет времени, а польза — громадная.

— Ого, — скажут, — смотри, сам прораб взялся. Дело серьезное. Надо работать. Плохо работает бригада, не кричи на всех. Бесполезно. Одного, двух возьми под обстрел. Другие сразу отмежуются, побоятся попасть в переплет, проборка принесет пользу.

Я задаю ряд вопросов. Больше всего мне интересен процесс руководства строительством.

— Тебе нужно приобрести профессиональную уверенность и чуткость. Но это дается только опытом. Лет восемь назад я себя тоже чувствовал новичком. Дать указание сделать что-нибудь, и не знаешь, так это или не так получится, когда построят. Вот Лев не строитель, но у него богатое представление, и он на этом выезжает. А рабочим раз дал указание, то изменять его нельзя: потеряешь авторитет. Вот и волнуешься. В тебе я вижу себя. Восемь лет назад меня один прораб учил тоже. Но только после известного опыта научишься определять, что из твоих частных указаний должно в конечном итоге получиться.

Я внимательно изучаю опыт работы каждого. Плохо шла работа у Михаила. <...>

В оставшемся от пожара доме ютятся несколько семей, размещены бойцы. Скученность, грязь, шум. Лица детей бледные, тельца их худые.

Бабушка берет на руки малыша. Он проснулся и начал плакать.

— Привык все время быть на руках, когда стояли немцы. Я боялась, что они его убьют или выбросят на мороз. Он чуть заплачет, немцы к нему, кричат посвоему, автоматом грозят. Унимаешь его, как можешь, а у самой сердце упадет, вот-вот убьют.

Я смотрю на голубоглазого мальчика. Он всматривается в мир доверчивыми глазами и шарит ручками по груди старушки. Полненький, бледный,

он вызывает чувство любви своей беспомощностью, своей детской доверчивостью, своей будущностью. И становится непонятной звериная жестокость немецких солдат.

— Кот забрался к ним на стол, прикоснулся к их объедкам, так застрелили прямо на столе, детей перепугали... Я его, как сынка, берегла... Звери, чистые звери, — передает старушка с приятным украинским акцентом.

— За все, мать, отомстим! — говорю я и смотрю в ее доброе исстрадавшееся лицо.

— Дай бог вам здоровья, детки.

Мы выходим на трассу. <...>

Щеголяя военной выправкой, подошел помощник комбата Журкин, красивый, стройный парень во френче из немецкого сукна и полуавтоматом на плече. Разговорились.

— Вы местный житель?

— Да, я здесь партизанил.

— Партизанили? — я набросился на него. — Расскажите про свою деятельность.

— Я из Можайского района. А во время оккупации по заданию командования я партизанил в городе Можайске.

Говорил он стоя. Мы плотной группой полуокружили его.

— *В городе хорошо партизанить*, — улыбнулся Журкин, — *особенно, если ты вырос в нем, каждый подвал тебе знаком. А немец в незнакомом городе, как в незнакомом лесу без компаса. А тебе все ворота и двери открыты.*

Боишься только своих предателей. Но меня редко кто узнавал. Я щегольнуть люблю, а то надел на себя рвань, оброс бородой... Такая огромная.

Он механически поднял руку к подбородку и пытался погладить бывшую пышную бороду, но засмеялся и махнул рукой.

— *Страху мы немцам нагнали. А пожили как! На своей квартире мы по-немецки надпись сделали: «Помещено столько-то солдат». Квартирьер посмотрит и не заходит.*

А один раз вечером я все-таки нарвался на знакомого. Он в немецком штабе работал. Встретил на улице, взглянул мне в глаза и бегом от меня. «Доносить, гад» — думаю. В гестапо. Я наперехватки через переулки вышел перед гестапо, спрятался, жду. Идет. Пропустил и в затылок очередь.

В Можайске на стрельбу не обращали внимания. Стреляли на каждом шагу. Увидит немец ворону — стреляет, от скуки, от страха — стреляет.

Жил один адвокат-предатель. Мы решили его убрать. Одна наша — хозяйка дома — донесла в комендатуру, что адвокат с немецкого склада воровал муку. А мы ночью под крыльцо спрятали ему мешок муки. Немцы сделали обыск, нашли, а на другой день по городу приказ расклеили: за тайное присвоение — повесить! Вторую сволочь мы тоже без шума убрали. Заметили, что в своем доме немецких офицеров поит, якшается с ними. Донесли, что у него партизаны ночевали. Расстреляли.

— Вот это ловко.

— *Так удобно. Без риска привлечь внимание, без шума убрать, кого следует.*

В комендатуру мы поставили своего человека. Он написал заявление: мол, бывший кулак, страдал при Советской власти, а сейчас горит желанием помочь немцам. Попал он работать в паспортный стол. Все наши друзья имели нужные паспорта. Раз мы заготовили двести паспортов и, сняв часовых, проникли в лагерь военнопленных. Многих провели через фронт к нашим.

Перед занятием города мы захватили бургомистрат, всех взяли, кто предался немцам. Они уже собирались удирать, человек тридцать. А мы втроем их взяли. Чудно. Руководил операцией я. Одного товарища поставил с автоматом во дворе, второго у двери, а сам вскочил в помещение.

— *Ни с места! Руки вверх!*

Они уничтожали бумаги, упаковывались и, не ожидая нас, растерялись. А у входной двери на стенке висели их автоматы. Я сразу к ней стал. Им и схватить ничего нельзя. Один пробовал выхватить револьвер. Я очередью прошелся, человек восемь уложил. Остальные сдались. Как вышли они во двор, так и ахнули. Трое нас.

А сколько мы вина немецкого перепили. Они того не ели, не пили. Что к ним не привезут — захватим, отобьем. Боялись нас — жуть.

(Далее зачеркнуто — А.В.). *[Многие девчонки наши — сволочи — связались с офицерьем. Они их поили, кормили, одевали, ну, они — лишь бы пожить. Один раз вечером иду по улице. В одном доме гремит музыка. Оказывается, офицерье с нашими девчонками гулянку устроили. Хотел я гранаткой их угостить, да пожалел старуху-хозяйку. А свои пришли в город — с нашими стали крутить. Ох, и поиздевался я над ними. Как огня меня боялись... Да...]*

Он помолчал и добавил:

— А снова тянет. Отдохну, подлечусь — уйду опять куда-нибудь.

Мы с восторгом его слушали.

— Вот это парень. Просто свежим ветерком обдало нас. С таким уйти партизанить — многое сделать можно, — делились мы впечатлениями. <...>

Красивый день весны. Овевает теплый ласкающий ветер. Я иду через деревню. Ни одной постройки. Все сожжено. Лишь поднимаются плетни; на одном из них висит забытый глиняный кувшинчик. Сиротливо зеленеют вербы, топольки, обожженная береза бросает тень на скамейку в уцелевшем цветнике. В одном огороде старушка медленно вскапывает лопатой гряды. Я подхожу к ней.

— Здравствуй, мать.

Она устало выпрямляется, ласково смотрит на меня.

— Здравствуй, мой сынок, мой родимый.

— Это была ваша деревня?

— Наша. Ничего не оставил изверг.

— А где сейчас живете?

— В Маслово. Три версты отсюда.

— У родных?

— Все там, сынок, и родные, и чужие. Четыре семьи в одном доме.

— Огородик думаете засеять?

— Надо, может придется.

На одном пепелище копаются двое детей: мальчик пяти и девочка семи лет, худенькие, бледные. Под полом избы был погреб с картофелем и дети ищут уцелевшие от пожара картофелины.

Сердце сжалось от боли.

Родина моя, дорогая моя Родина. Как это случилось?.. Где же мой дом?.. Моя семья?.. Где моя жизнь, мое счастье?..

Я вижу пепелище. На сером слое пепла кровь и... дядя, сестренка... секундное виденье.

Я опустился на траву. Хлынули слезы. Пахли цветы. Пел жаворонок. Теплый родной ветер ласкал меня. Родной ветер мая.

Вверху голубело спокойное небо, высокое небо.

—

Вечерами мы беседуем с местными жителями, с хозяйкой дома Матреной Петровной, умной и хитрой женщиной.

Она своевременно спрятала от немцев свое имущество и продукты и теперь жила в достатке.

Четверо сыновей ее на фронте, и она мужественно переносит свое одиночество. Мы подробно расспрашиваем ее про жизнь при немцах и внимательно слушаем ее рассказы. (Курсив мой — А.В.).

— Часть наших колхозников ждала немцев; а в соседней деревне несколько баб даже с хлебом-солью вышли навстречу, думая, что немцы им прежнюю

жизнь восстановят. А на второй день у той бабы, которая офицеру хлеб подносила, взяли корову, на третий — двое свиней, овец и обобрали дочиста. Вот тогда узнали, что такое немец.

Некоторые думали, что наши уже не вернутся. Раз зашли немцы так далеко, значит, все. Председатель колхоза Борковой сразу пошел помогать немцу. Назначили его старостой, ездил он с ними, забирал коров, свиней, собирал хомуты, фонари, отдал колхозных лошадей, словом все делал как лучше для немца. Говорят ему бабы:

— Что ты делаешь?

Куда там!

— И немец человек, и ему надо, — отвечал он.

Ну, они его сигарой угостят, чарку поднесут, а он старается.

Были у него дети, — рассуждает Матрена Петровна. — Если бы хотел, он мог бы шепнуть им: «Идите к соседям, предупредите: немцы то и то готовятся идти брать, прячьте». Так нет, наоборот. Пришел ко мне.

— Тетка Матрена, давай хомут.

Я ему подаю старенький, рваный.

— Не тот, давай новый.

— Что ты делаешь? — говорю я, — А колхозу что будет?

— Забудь про него, — отвечает.

Ну, раз свой выдает, ничего не сделаешь. А легко было вывернуться. Попрятали бы все, как в соседнем колхозе, и говорили бы: все взяли передовые части, ничего не осталось — и дело с концом.

Из нашего Милятинского сельсовета только один он оказался таким предателем, а так никто больше, — с гордостью добавляет Матрена Петровна.

Мы еще застали Боркового. Я столкнулся с ним, как с председателем колхоза, по оказании нам содействия. Угрюмый, он не смотрел в глаза прямо, и я сразу почувствовал в нем что-то такое, которое вызвало вопрос: «Что за человек? Волк?»

Население требовало арестовать предателя, и его скоро взяли.

— В лесах наших армия попала в окружение. Целый месяц она выходила. Мы всех кормили. Каждая семья взяла по два, по три бойца, кого за сына, кого за брата, за мужа. Переодели их, больше двух месяцев кормили. У меня трое было. Потом стали немцы придираться. Ушли. Семнадцать человек в овине хоронили, по очереди кормили; приблизился фронт, и они перешли к нашим.

— Неужели немцы так бедно живут? — задает она вопрос. — Все подчистую забирают и отсылают в Германию. У меня взяли тарелки, ложки, ножи, даже граненые стаканы, такую дрянь, тфу-у!

— Немцы к населению плохо относились. Вот были французы, поляки, те хорошо с нами жили. Наша деревня только потому и уцелела, что немцы трех поляков оставили поджигать, когда отступали. Поляки нас предупредили:

— Вечером мы зажжем три дома для виду.

Показали какие, сказали, чтобы вещи вынесли. Мы так и сделали. Вот и осталась наша деревня.

Пойдет немец по деревне курей собирать — забирает всех. Пойдет поляк, подойдет к хозяйке:

— Матка, меня послали курей забирать. Дай одну, ну, что ты сделаешь.

Как принесет он мало курей, ну и начнут немцы его ругать, есть не дадут, а он молчит.

Боялись немцы населения просто удивительно. На двор ходят вместе, и ты с ними иди. За водой пошла — с автоматом следят. Измучили вконец.

Ну, когда наши пришли, со слезами все встречали, не верили, что вернулись. Если бы он дальше побыл, погибли бы мы.

Неизменно, каждый день М. П. задает нам вопрос:

— А вы скажите по-правде, вернется немец или нет, нам нужно готовиться уходить или уже сидеть спокойно?

Мы ее успокаивали.

— Верите ли, руки не подымаются у нас работать. Все думаем без пользы, немцу достанется.

Хозяйство колхозов и колхозников Можайского района оккупанты ограбили и разгромили, как только могли. На весь Милятинский сельсовет осталось восемь лошадей, и поля вспахивались лопатой, женщины впрягались в плуги. В один из свободных дней мы вспахали лопатами огород Матрены Петровны, и она нас за это угостила сытным обедом.

Посевного зерна и картофеля далеко не хватало. Многие семьи отказывались от огородов. Сельсовет употреблял все силы, чтобы обеспечить нуждающихся семенами. Половина семей колхозников получала хлеб с кооперации.

Из 60 тысяч ульев уцелело по району 60 пчелосемей

Из продуктов у населения осталось только спрятанное.

Поголовье скота было съедено. На три, четыре деревни оставалась корова, коза.

Кое-где редкая курица, скучая без петуха, одиноко бродила по двору.

Уцелели от разрушений только те деревни, которые немцы при отступлении не успели сжечь или случайно, как Потапово.

Таков итог хозяйничанья немцев.

—

<...>

Четвертого июня, в срок, задание Московского областного комитета партии выполнено. Мы возвращаемся в Москву. Пока идет оформление документов, отдыхаем.

Майский вечер.

Мы вышли на улицу и сели на скамейку под липы.

На улице гулянье. Прошла группа празднично одетых девушек. С гармонью прошла толпа школьников 9—14 лет. Парней нет. Война.

— Вот после войны раздолье будет тем, кто останется из мужчин. Тебе повезло, — шутит Михаил.

— Его не так легко женить. Он все равно не найдет себе пары. Ну, где растет такая, как он сам. Целый день пишет, читает стихи, философствует и хочет, чтобы девушки тоже этим занимались, — говорит серьезнее Владимир.

— Бросит он свои замыслы. Приворожит его какая-нибудь простая мещаночка. Втюрится он в нее, скажет: «Идеал!»

Я улыбаюсь.

— Сейчас война, — размышляет Анатолий. — Что взял, то твое. Сегодня действуй, а завтра — завтра может быть тебя в живых не будет. До войны я считался с нравственностью, а сейчас нет, всякий удобный случай использую, чтобы потом не жалеть.

— Я этого не понимаю. Это разврат, — горячо возражает Владимир. — Так фашист может рассуждать. Ну, пусть холостяк так говорит и то... А ты жену, двое детей имеешь. Как ты ей в глаза посмотришь?

— Ну, приедут. Буду таким же. Я семью нарушаю? Ничуть. Ты думаешь, женщины иного взгляда сейчас? «Я сегодня живу, а завтра что будет, я не знаю» — говорят и думают они. Ты думаешь, они не знают, что я, ты — женаты, что с ними не будем жить. Знают.

— Но как ты сможешь после этого в глаза смотреть? Она, может быть, с детьми страдает, а ты здесь развратничаешь. Неужели это не сдерживает тебя?

— Как посмотрю? Посмотрю и все. Ну, что в этом особенного? Ты думаешь, оттого, что я здесь буду убиваться, жить аскетом, ей легче станет, помогу ей?.. Ничуть...

— Даю честное слово, мы с тобой с одного района... После войны я при первой встрече все расскажу твоей жене, — заявляет Владимир. — А если она как ты... Это же... разрушение самого дорогого, святого: семьи.

Молчание.

— Я жалею только детей, — раздельно произнес Анатолий. — Брось ты, в конце концов, все в мрачном свете изображать. Все это гораздо проще. Ты дума-

ешь, я этим убиваю свою любовь и семью, забываю ее? Ничуть. Но не убиваюсь, как ты, бесполезно.

— Как ни любит тебя жена, а все-таки ее жалость — не материнская жалость, — помолчав, неожиданно заключил Владимир.

— Она всегда будет смотреть, как бы ты побольше заработал, обеспечил ее...

— Не согласен, — вмешался я. — Жена — друг, спутник, товарищ, любящий человек. Ни малейшей неувязки я не допускаю во взаимоотношениях с нею. Ведь все же вопросы, какие ни поставит жизнь, можно решить с нею просто, наиболее удобно. Герои Чернышевского умели решать более серьезные вопросы, чем мелочи мира современной жизни. Я семейные ссоры исключаю из своих взаимоотношений с женою.

— А если начнется охлаждение друг к другу?

— И в этом не вижу причины для ссоры.

— Испытаешь — иначе скажешь. Тебя мелочи загрызут, — говорит Михаил.

— Видишь ли, Миша. Это зависит уже от культуры самого человека.

— Жизнь заставит. Как вот здесь.

— Смотря кого.

Вдали загремела канонада.

— А на Западе — без перемен.

— Да. Весна прошла. Лето настает, а решающие битвы не начались.

— Союзники молчат.

— Англичане хотят выиграть не только войну, но и мир, — размышляет Лев. — В их интересах предельно истощать и нас, и Германию, а потом продиктовать свой порядок в Европе.

— А американцам интересно только золото.

— Капиталисты. Хорошо, что хоть такая ситуация сложилась для нас.

— Да. Год почти прошел, а Германия дальше от победы, чем в июне сорок первого.

— Германия политически проиграла войну с первых дней борьбы своим отношением к населению.

— На грабеже они держатся. Другого у них выхода нет.

— Фашисты надеялись на технику, молниеносность. Они забыли, не учли, что 28 патриотов могут погибнуть, но остановить наступление 50 танков.

— С декабря стало ясно, что вопрос только: когда мы разгромим Германию, а не наоборот.

— А были дни, когда сознание ставило страшный вопрос... И все-таки отвечало: нет, не может быть! Где-то его должны остановить.

— Только мы смогли вынести такой удар.

— Мы же находимся в исключительных условиях. Наша территория буквально необъятна. Мы сколько угодно могли отступать. Территория помогла нам подготовиться к декабрю.

— Пятилетки нас спасли. У нас же ничего не было из индустрии. А теперь — шутка сказать — натиск всей Европы отражаем.

— А если бы к ним еще традиции технической культуры, организованность, мы бы никакой коалиции не боялись бы... Сами пошли бы на выручку, на Запад, к рабочим.

— Год войны, а словно десять лет прошло.

— Да-а...

Все сидят, задумавшись. Сумерки. Изредка прожужжит майский жук, и все настораживаются. Кажется, что это гул самолета.

22 апреля — 5 июня 1942 г.

Как города мирного времени встретили нас Можайск и Москва. Десять дней мы отдыхали в Москве, ожидая назначения, посещали кино, театр, беседовали, читали книги, ходили по улицам. Мой товарищ познакомил меня с семьей сестры

своей жены, и я, пользуясь исключительной любезностью своих новых знакомых, впервые почувствовал теплоту домашнего уюта, тишины, культуры. Вспоминали родину, рисовали перспективу скорого возвращения домой, мечтали.

15 июня получено новое направление: город Лебедянь. Строительство оборонительного рубежа.

И снова, как год назад, с сумками за плечами, вдвоем, мы шагаем по бесконечным дорогам родины.

Идешь, а память подымает из ушедшего встречи, города, переживания.

Какой благодатный край — Лебедянь. Чернозем, роскошная зелень посевов. Какими жадными глазами смотрел на это враг. Думал — мое будет. Что ему до жителей, их национальных традиций. Рабы.

— Сюда после войны приехать работать, — говорит Владимир. — Вот отдохнул бы.

— Есть смысл, — отвечаю я. Мои мысли и чувства возбуждены, и мне хочется поделиться ими с товарищем.

— Володя, ты чувствуешь? Ведь каждую деревню мы встречаем, как свою родную. На Немане, Волге, на Дону ли она стоит — нет для нас разницы. Одинаково она радует сердце, близка, дорогá. А люди нас как встречают. И я думаю: вот в чем наша сила. Каждая старушка называет меня сыном, а я, не задумываясь, не задевая чувств, назову [ее] матерью...

— Смотри, какие сады, посевы, огороды. Роскошь.

Мы взошли на крутой берег Дона. На противоположной пологой стороне красиво расставлены домики деревни Черепянь. Беленькие, чистенькие, они, казалось, утопали в счастье, так же, как и зелени садов, освещенные мирным закатом солнца.

В поле работает тракторная бригада. Мы подошли к ней. На лугу соломенный шалаш повозки. Рядом дымится костер, на костре — завидной величины закрытый котел. Нас весело встретили полнощекие, вымазанные в масло и сажу, трактористы, пошутили, предложили поужинать, заставили взять на дорогу картофель и показали нам дорогу в Волотово. Вечером мы были в штабе.

<...>

Вечером встречаю Михаила и задаю ему неизменный вопрос:

— Ну, как работают рабочие?

— Плохо.

— А почему же здесь плохо? Питание хорошее.

— Да, на питание не жалуются.

— Ну, так что за причина?

— Чудак ты человек! — возбужденный моей настойчивостью, воскликнул Михаил. — Причина очень проста. Неужели тебе не ясно? Каждому хочется сделать меньше, урвать побольше. Знаешь пословицы: «Работа не волк, в лес не уйдет», «Всего не переделаешь». Таких идеалистов, как ты, мало.

— А патриотизм?

— Брось ты с патриотизмом. Вот стоят на точках или сидят, варят что-нибудь, штопают, лежат. Придешь — подымутся, начнут работать, уйдешь — опять то же. Надоело все это всем.

Я смотрю на Михаила, вспоминаю других, и мне думается, что все это в людях наносное, от прошлого мира, мира, сметенного революцией, но оставшегося по инерции в привычках, сознании. Возник новый мир отношений на старых толщах исторических напластований волчьего мира и чуть начнешь углубляться ниже, находишь многое, внешне уже скрытое, прикрываемое, но тем более неприятное, уродливое, страшное своим повседневным распространением.

Но за всей этой, отраженной в прошлое, стороной жизни, совершалась с железной необходимостью нужная стране, народу, боевая работа. И эти люди не спали ночами, почти ежедневно до конца исчерпывали себя: свою силу и нервы, и они дополняли нашу могучую волю и силу к борьбе, к сопротивлению,

к победе. И они в нужный момент, сжатые неумолимой железной необходимостью, совершали подвиги. Боль, горечь, сожаление вызывало только то, что они тратили часть своей, столь драгоценной и нужной народу, энергии.

И я вспомнил признание старого геодезиста Панфилова, который так боялся Владимирова.

— С семи лет я работал по найму. Не помню ни отца, ни матери. Сколько хозяев пришлось переменить, сколько унижений перетерпеть. И всех приходилось слушаться. И вот выработался у меня гадкий характер. Каждый мальчишка может мной управлять, понукать. Я всех слушаю, боюсь. Другой раз подумаешь — зачем так унижаться, и все равно унизишься. Так воспитала жизнь.

Я вспоминаю изречение «Измените воспитание — и вы измените лик земли» и чувствую его потрясающую правду.

Счастливо будет только то поколение, которое будет иметь педагогов, воспитателей-коммунистов по сознанию и чувствам. Это поколение увидит мир человеческих отношений иными глазами и создаст такие взаимоотношения, о которых мечтали лучшие люди веков, и [которые] мы стремимся создать.

Но сегодня где взять воспитателей по призванию, которые, выдавив по капле из себя раба, смогут быть ими? Их страшно мало; новому поколению приходится расти под влиянием противоречивого, неискреннего воспитания. И все-таки оно растет новым, потому что слишком ярка и сильна правда нового мира, и если даже она передается из неискренних уст, она действует, вдохновляет, создает, творит, ширится.

В раздумье, один, иду по деревне. Сколько заборов! Каждый огородик, дворик обнесен высокими стенами из известняковых плит. Как любят люди отгораживаться друг от друга! Сколько сил надо еще положить, чтобы разрушить эти каменные заборы вокруг сердец и сознания людей. Скоро. Простор полей уже свободен от меж.

Летят звенья наших бомбардировщиков. На улице стоит женщина и радостно улыбается.

— Соколики наши полетели! Все ли вы, дорогие, вернетесь обратно? — говорит она.

Вот он — народный патриотизм, любовь народа к своей надежде и защите — армии; могучий, скромный, незаметный патриотизм миллионов. <...>

Я подымаюсь по обрывистому крутому берегу. Причудливые обрывы известняка, обломки камней. Тяжело подыматься. Хочется остановиться, перевести дух. Но сознание диктует идти вперед и вперед. Нет, подымусь! Последние усилия. О, как вы тяжелы. Последний шаг.

Вздох.

Вот он — простор! Как вы хороши, наши родные поля без конца и без края. Я шатаюсь от усталости, и, счастливый, остановившись на самой высокой точке берега, наслаждаюсь легким ветерком, вечерним светом, простором, тишиной, свободой и ощущением успокоенности, ощущением мира.

Счастливые минуты. Когда они станут прочной действительностью?

Окончание следует.

Фото из фондов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства.



Театр

ОЛЬГА БАЖЕНОВА

Чернокнижник и девы, идальго и сеньоры: раритетный документ радзивилловского архива

*Оценка фактов национальной белорусской культуры XVIII в. обязательно предполагает введение их в контекст аналогичных явлений европейского искусства. Мне бы хотелось рассказать читателям об интересном примере полагания рядом факта и контекста, на совместное существование которых историки белорусского балета пока не обратили должного внимания. Речь идет о хранящейся в Национальном историческом архиве Беларуси программе балетов (с текстом либретто), которые были поставлены в Королевском варшавском театре в 1761 г. Документ хранится в фонде князей Радзивиллов (Ф. 694, Оп. 1, ед. хр. 513). Это 21 страница печатного текста размером 23,6*х*18 см, набранного в типографии Его королевского Величества в варшавском коллегиуме пиаров. В этом же архиве хранятся документы, раскрывающие историю балетного театра князей Радзивиллов XVIII в., но бумаги совершенно другого рода: контракты с балетмейстерами, счета выплаты денег танцорам, то есть свидетельства, показывающие скорее количественный, чем качественный уровень театра. Программа расширяет контекст понимания уровня притязаний балетного коллектива радзивилловской театральной труппы.*

* * *

Описание балетов и наличие балетных либретто XVIII в. так же, как и сведения о спектаклях, начиная с их названия, времени проведения, вещь чрезвычайно редкая. Историки балета чаще пользуются косвенными сведениями, содержащимися в газетных рецензиях, официальных протоколах королевского двора. Документ из минского архива можно считать важным артефактом, раскрывающим еще одну тайну истории, причем не только театра Речи Посполитой, но и балетного театра радзивилловского Несвижа в Беларуси.

В книге «Театральная культура Беларуси XVIII века» белорусский историк театра Г. И. Барышев коротко упомянул об этом документе как об *«афише»* королевского театра, что, на мой взгляд, никак не соответствует действительности. В книгах 1960—1970-х гг. польских историков балета и театра Т. Высоцкой, К. Вежбицкой-Михальской, посвященных театру времени королей саксонской династии Августа II и Августа III, о минской программе и о балетах 1761 г. ничего не написано, эти постановки исследователям не были известны. Если бы не минская программа, балеты 1761 г., творения французского танцора Антуана Бонавентуры Питрота, так бы и остались неизвестными в истории мирового театра. Поскольку Питрот, автор варшавских балетов, служил во многих других театрах Европы, его биография подробно описана западноевропейскими исследователями, но названный балет в его послужном списке не известен, так, например, он отсутствует в театральном календаре (перечне работ балетмейстера), опубликованном Оксфордским университетом.

Уникальность и раритетность найденной в Минске программы проявлялась с выяснениями исторических подробностей все яснее. В связи с хронической

нехваткой литературы в наших библиотеках, я решила уточнить у польских коллег, зафиксирован ли балет 1761 г. в списках репертуара Королевского варшавского театра XVIII в., который мне был не доступен. Оказалось, что польские исследователи о таком балете и программе ничего не знали до 1994 г., когда польский исследователь Збигнев Ендрыховский нашел программу в НИАБ в Минске и опубликовал в варшавском журнале «Театральные заметки». Это вызвало шквал публикаций в Польше, потому что сам факт появления нового либретто был уникален для истории балета XVIII в.: появились статьи по той же теме А. Журавской-Витковской с пометкой «в свете новых открытий». Этот же материал оказался включенным в две ее книги. Польский исследователь Журавская-Витковская уточнила ситуацию 1761 г.: балет давали в честь Ордена Белого орла и королевских именин, его играли вместе с премьерой оперы «Арминио Паскуани» (L'Arminio Pasquini) придворного композитора польских королей Иоганна Адольфа Хассе. Исследователь предполагает, что автором музыки к балетам мог быть также Хассе, но пишет это пока под вопросом. Она передает впечатления современников о спектакле: «По словам министра Генриха фон Брюля *Питрот* (создатель балетов и исполнитель роли Полемона в «Чернокнижнике...» и партии дона Альвареса в «Разорванном союзе») и Андре танцевали необыкновенно и замечательно»[1].

Моя цель: показать, что найденная в минском архиве программа является программой состоявшегося в Королевском варшавском театре балетного спектакля, а так же что особенности ее содержания уточняют пути развития европейского балетного искусства XVIII в., и при этом косвенно показывают участие в этом процессе Слуцкой и Несвижской балетных трупп XVIII в. А стало быть, Национальный исторический архив Беларуси в Минске хранит *редкий* документ, значимый как для белорусской, так и для европейской культуры.

* * *

Год постановки балета в Королевском варшавском театре (1761 г.) попадает во временной отрезок важного периода для развития театрального искусства Речи Посполитой. С 1756 по 1762 гг. во время Семилетней войны королевский двор Августа III, короля Речи Посполитой из саксонской династии Веттинов, постоянно находился в Варшаве, оставив свою резиденцию в Дрездене (Саксония). Август III был выдающимся знатоком живописи и музыки, сам недурно рисовал, при нем сформировалось знаменитое собрание картин Дрезденского Цвингера, включающее «Сикстинскую мадонну» Рафаэля, расцвел театр, оперный и балетный, высокого уровня достигла сценография. Август III приглашал к своему двору лучшие музыкальные, певческие, балетные и художнические силы Европы. Достаточно назвать двух мировых мэтров: композитора И. А. Хассе и сценографа Дж. Галли Бибиена. Даже смерть Августа III символично показывает его преданность искусству: он умер от кровоизлияния по дороге на репетицию оперы Хассе.

Следует подчеркнуть важные смыслы культивирования театра (социофании) в придворной жизни как королевского двора, так и магнатских резиденций. По мнению французского исследователя Ж. Дувигнода, «такая драматизация повседневной жизни аристократии, которую наблюдают зрители на сцене, «создает культ поклонения», «праздник спектакля становится актом утверждения авторитета элиты»[2]. То есть театр был своеобразным замещением придворных ритуалов, в которых сказывалось не только поклонение властной силе короля

---

[1] Żórawska-Witkowska, A. Muzyka na polskim dworze Augusta III. — Lublin: wyd. Polihymnia, 2012. — С. 530

[2] Цитируется по статье: Judkowiak, B. „ Spiewo-gry" w polskim teatrze XVIII w. Przez Bogusławskiego: wczesny epizod ze sceny magnackiey w Nieświezu // B.Judkowiak // Wiek Oświecenia. T.12. — Warszawa: UW, 1996. — С. 56.

или князя, но и особым действием, направленным на привычные с Античности и Средневековья акты сотворения героя, мира и космоса.

На протяжении всего XVIII в. европейский балет стремился приобрести значение самостоятельного вида искусства, эмансипированного от оперного и драматического действия, перейти от отдельных номеров-дивертисментов оперы, комедии и драмы к самодостаточному сценическому повествованию-спектаклю. В 1717 г. английский балетмейстер Джон Уивер поставил в Лондоне балетный спектакль «Любовь Марса и Венеры», сославшись на то, что он повторил пантомимы Древнего Рима. В 1760 г. вышли «Письма о танце и балете» (Lettres sur la dance et sur les ballet) французского хореографа и балетмейстера Жана Жоржа Новерра, которые стали своеобразной теоретической основой европейского балетного спектакля: воедино оказались связанными музыка, содержательная часть балетного спектакля (либретто), новые движения (прыжки-антраша, танец на пуантах), костюмы (более облегченные, чем в дивертисментах), оформление сцены и т. д. В 1767 г. француз Клод Парфест издал «Словарь парижского театра» с перечислением всех спектаклей режиссеров того времени, которые способствовали появлению балетного театра. Балеты Питрота входили в «Словарь» К. Парфеста. Крос-культурные инновации французские, итальянские танцоры разносили по всей Европе.

Проблема перехода от дивертисмента к спектаклю (так называемому ballet d'action) состояла не только в изменении костюма, танцевальных па, режиссерских новациях, но и необходимости написания либретто балетных спектаклей, поскольку танцевальные номера должны были представлять связный текст, объединенный единым сюжетом, темой и идеей. Известен автор оперных либретто П. Метастазио, который снабжал своими текстами все оперные сцены Европы в середине XVIII в. Содержание опер в основном сводилось к пересказу античных мифов, темами выступали добро и зло, любовь, побеждающая зло и открывающая пути к счастью. В середине XVIII в. интерес к естественности чувств и поведения, показывающий значимость природного начала в еще не совершенной натуре человека, предварял культуру Просвещения, с которой пришел в искусство XVIII в. культ естественного «природного» человека и утвердился новый для того времени стиль классицизма.

* * *

Программа, обнаруженная в Национальном историческом архиве Беларуси, представляет либретто двух балетных спектаклей, причем столь подробно и детально составленное, что может служить основой для современного его восстановления. Автор музыки в программе не указан. Но балетмейстер, как мы уже говорили, известен: танцор (metr balletowy, tancmistrz) Антуан Бонавентура Питрот. Он начал свою карьеру в итальянской комедии в Париже (1744 г.), блистал в Вене, Дрездене, Варшаве, Санкт-Петербурге, Королевском театре Лондона, последние годы провел при княжеском дворе в Парме. В Варшаве он служил в 1748—1749 гг. и в 1758—1762 гг. Ко второму периоду пребывания Антуана Бонавентуры Питрота в Речи Посполитой и относится программа балета, хранящаяся в Национальном историческом архиве Беларуси.

Программа содержит либретто двух спектаклей «Чернокнижник, любовью наказанный» (Czarnoxięznik przez miłość skarany)[1] и «Разорванный союз, или Счастливый невольник» (Związek pzerwany albo Niewolnik szczęsłiwy) на двух языках французском и польском. Первый балет отнесен к героически-пасторальному жанру, второй к серьезно-комической пантомиме. В обоих случаях Антуан Бонавентура Питрот назван автором либретто и режиссером (kompozycyia, inwencya). Кроме того, Питрот исполнял в первом балете роль пастуха Полемона, любовника Корисандры, а во втором — роль испанского гранда дона Альвареса. Роль Венеры

[1] Старая форма польского языка «skarany», сейчас бы сказали «pokarany». Там же.

в «Чернокнижнике...» записана за мадмуазель Рей, которая стала женой балетмейстера в том же году. Собственно имя этой балерины и история ее ангажемента в Королевском варшавском театре подтверждают, что спектакль, заявленный в найденной в Минске программе, состоялся. В дневнике пребывания короля Августа III в Варшаве записано, что в июле 1761 года балетмейстер Питрот вернулся из Парижа с балериной Рей и двумя ее племянницами[1]. Предварительного разрешения короля на приезд новой балерины в театр получено не было, поэтому мадмуазель Рей обратилась к королю с просьбой выступать в спектакле 3 августа, как она писала, не имея других желаний только «счастья появиться перед великим монархом»[2]. 3 августа как раз и есть тот день, который указан в программе балетов Питрота. Эти балеты были посвящены «Именинам Наияснейшего Короля Его милости». На самом деле на 3 августа выпадают именины жены короля Августа III Марии Юзефы, но и сам месяц август связан с именем короля. Так что можно по этим косвенным данным утверждать, что спектакль состоялся. Он был заявлен как премьера.

Первый балет назывался «Чернокнижник, любовью наказанный». В нем участвовало 10 танцоров, среди них пастушки Корисандра и Дорис, их любовники Полемон и Хилас, богиня Венера, Гименей, Амур и два безымянных пастушка. В статистах были записаны силы адского пекла и воинственные небесные силы. Сюжет в программе описан так подробно, что можно на основе этого текста выстраивать балетные мизансцены и декорации. В либретто тщательно, с акцентом на переживания героев, «рисуются» сюжетные линии повествования. Отдельные сцены отводятся показу переживаний и чувств героев: они страдают и теряют сознание, наполнены любовью, меланхолией, гневом и ненавистью. В первом балете участвуют добрые силы (Венера-Цитера, богиня любви), им противостоят злые дьяволы и Чернокнижник, а между ними — наивные, чистые люди, живущие в согласии с природой, пасущие стада и не знающие добра и зла. Именно любовь открывает для них пределы добра и зла, и в то же время любовь освобождает Чернокнижника от зла. Пастушки и пастухи — пасторальные герои, открытые культурой барокко. Они живут на лоне природы и появившуюся любовь понимают как радость. В либретто их танцы описываются как обмен венками и украшенными пастушьими посохами.

Два раза в этом балете сойдутся природные силы: первый, когда с молниями и громами идиллию любви разрушит появление Чернокнижника. И второй раз, когда разверзнется скала, и из огненного столба поднимется над всеми Храм Любви. Эти две крайности являются особым обрамлением действия балета. Чернокнижник хочет отобрать у пастухов их возлюбленных, поскольку сам влюбляется в прекрасных Корисандру и Дорис. Полемона и Хиласа дьяволы привязывают к дереву и заковывают в кандалы. Чернокнижник Хавракас объявляет о своей любви девушкам. Как может злой человек говорить о любви, тем более отнятой у кого-то. Его любовь невыносима для пастушек, она же причина страданий их возлюбленных. Балет о верности в любви. Дьяволы со стилетами из свиты Чернокнижника кажутся пастушкам воплощением смерти, и девушки будто умирают, то есть теряют сознание и падают (в программе это выражено словом «ложе», означающее как зеленую траву, так и некое место сна-забытья). То есть перед нами своеобразное начало сказки о спящей красавице: пастушки засыпают до времени их освобождения. Пастухи готовятся к смертной казни.

В это мгновение рассыпается скала и из огня появляется Храм Любви. Рождается новый мир: к пастухам спускается Венера-Цитера. Мир Чернокнижника и дьяволов сжимается, уменьшается, исчезает. Полемон и Хилас с детской радостью падают к ногам Венеры. Потом бегут к своим любимым, которые уже

---

[1] Wierzbicka-Michalska, K. Teatr warszawski za Sasów. — Wrocław, 1964. — C.102. Недоступные сегодня для нас документы, на которые ссылается в своей книге Вежбицкая-Михальская.

[2] Там же.

пришли в себя и смотрят с удивлением на счастливые перемены, сотворенные для них Венерой-Любовью.

Происходит бракосочетание освобожденных. Венера гадает им на счастье и умножение совершенной любви. Балет заканчивается танцами, в которых спасенные герои выказывают благодарность Венере и Купидону. Боги к ним присоединяются и становятся участниками их праздника.

Такой героически-пасторальный балет предполагал представление мифа о победе добра над злом благодаря силе любви. Это была своеобразная тема и формула классического искусства со времен эпохи Возрождения, которая связала в единое целое античный пантеон богов и христианскую любовь. Декорации к такого рода спектаклям также укладывались в две формулы: показа горнего (райского) мира с храмом любви и подземного (адского) мира. В этом случае балет выполнял древнюю, известную еще в античности ритуальную задачу соединения верхнего и нижнего миров в единое целое прекрасного космоса. Линия сцены была границей миров, и на ней развертывалось действие упорядочивания мира в танце: в последней сцене варшавского балета Боги присоединяются к танцующим пастушкам.

В балете «Чернокнижник, любовью наказанный» показан Ад: гремят громы и сверкают молнии при появлении Чернокнижника. Показан и Храм Любви, когда дело доходит до развязки действия: разрушается камень-скала и поднимается в огне Храм, появляется свита Венеры-Цитеры. Иконографию появления храма на сцене XVIII в. анализировала и изучала русский исследователь А. С. Корндорф, которая указала на особые обертоны связи дворца и храма Солнца, которые были одновременно и символами Любви. В разработке храма Солнца-Любви можно выделить два варианта: его внешний облик и интерьер. Экстерьер напоминал круглые ротондиальные храмы, известные по описаниям Леона Баттиста Альберти (XV в.) и ставшие популярными в эпоху Ренессанса. В XVII—XVIII вв. подобного рода храмы стали частым мотивом театральных декораций, монументальной живописи и даже реальной архитектуры аристократических поместий.

Такой проект предлагал Карло Бабиена (XVIII в.) для театра в Байройте для оперы Иоганна Адольфа Хассе «Семирамида», Джузеппе Бабиена в эскизе, хранящимся в фонде Джорджио Чини в Венеции. Эти известные представители болонской семьи архитекторов разработали один из самых впечатляющих образцов такого рода сценической Ротонды, которую затем повторяли на многих сценах мира. Изображение Ада, инфернального пространства, по словам А. С. Корндорф, так же связано со сценографией эпохи Возрождения. Это могло быть «жерло ада», представляющее раскрытую пасть Левиафана в окружении языков адского пламени и бегающих чертей. В транскрипции Фердинандо Галли Бибиена (1716 г.) это могла быть голова Левиафана, закрытая скалой. Скорее всего, как явствует из либретто балета, это изначально могла быть гора со скрытым там адским жерлом, которая потом разрушилась: из нее в огне поднялся прекрасный Храм Любви. Это иконографическая норма, которую могли вполне реализовать декораторы Королевского варшавского театра, как, впрочем, и Несвижа и Слуцка в XVIII в. Такая сценография соответствовала героико-пасторальному жанру балета, который был записан в программе.

Второй балет Антонио Бонавентуры Питрота «Разорванный союз, или Счастливый невольник» по жанру определяется как «Serio Komiczny Pantomin» (пантомима). В программе уточняется, что замысел и постановка самого балетмейстера. Это очень правдоподобно, поскольку Питрот начинал в парижской комедии дель арте и все принципы пантомимы, связанные с характерными жестами и позами, выразительными, драматичными и комичными ему были хорошо известны, хорошо прочувствованы. К середине XVIII в. комедия дель арте утратила свои позиции в Королевском варшавском театре, но, как мы видим, активно использовалась в балетных спектаклях, причем, позволяя создавать цельные законченные композиции. В постановке Питрота в балете «Разорванный союз...» 9 сцен. Но только первой сцене предшествует замечание, касающееся сценографии:

«Театр показывает большой зал парадного покоя дона Альвареса, на каждой стороне и по бокам видны стеклянные двери, которые ведут в другие покои». Можно предположить, что это уже многокулисный театр, в котором от сцены к сцене идет замена кулис. «Разорванный союз...» балет, полный страстей и внезапных метаморфоз. В нем есть сцены любовной тоски, любовной ярости, смирения и счастья. Все эти непростые состояния надо было станцевать в балете Питрота.

Далее я пересказываю либретто XVIII в. с теми подробностями, которые показывают особенности сюжета и характера переживаний в театре того времени, склонном к показу сильных чувств. Первая сцена открывается ожиданием доном Альваресом своей возлюбленной Элеоноры. Испанский гранд приказывает принести туалетные принадлежности, любуется собой, всматриваясь в зеркало, потом просит пригласить свою невесту донну Элеонору. Вторая сцена начинается с ремарки о появлении донны Элеоноры, окруженной большой свитой, и улыбающегося дона Альвареса, радостно приветствующего Элеонору. Она благодарит испанского гранда за подарки, особенно за группу турецких девушек-невольниц, одна из которых Саида, стала ее подругой и компаньонкой. После взаимных комплиментов Альварес приказывает принести шоколад. Они садятся на софу и просят невольников танцевать для них, но особенные танцы, танцы их Родины. Один из невольников начинает играть на азиатском инструменте, от которого зависит ритм и композиция танца. Но Альварес впадает в меланхолию, и Элеонора приглашает его, чтобы развеяться, потанцевать. Он видит в танце достойную удивления красавицу Саиду и музыканта Ахмета. В его сердце вспыхивает внезапная любовь к невольнице Элеоноры, прекрасной Саиде. Кроме того, у него начинается сильная головная боль, с которой ему помогает справиться Саида. В третьей сцене дон Альварес охвачен чувством любви, он очарован красотой Саиды и целиком во власти собственной страсти. Надежда, радость, страх и нетерпение теснятся в нем одно рядом с другим. В четвертой сцене Элеонора посылает Саиду узнать, выздоровел ли дон Альварес. При виде Саиды к несчастному любовнику возвращается жизнь. Он удерживает желающую уйти Саиду, говорит ей о своих чувствах. Невольница поражена этим. Альварес предлагает Саиде обручиться с ним. Наконец, достает стилет и клянется Саиде: если она не даст согласие, он убьет себя. Прекрасная невольница в страхе замирает и остается. Дон Альварес покрывает ее руки поцелуями. В сцене пятой происходит выяснение отношений: Элеонора, не дождавшись возвращения Саиды, сама идет узнать о здоровье Альвареса. Она видит его у ног своей невольницы. Злость и зависть охватывают ее. Возмущенная, что Саида стала ее соперницей, Элеонора выхватывает стилет и хочет вонзить его в грудь своей недавней подруги. Альварес отводит ее руку. Шум около дворца собирает всех невольниц свиты испанской госпожи. В шестой сцене Элеонора ведет себя, как разъяренная львица, мечется, сметая все на своем пути от злости, снова хочет заколоть Саиду. Альварес вырывает стилет. Он сообщает о своей свадьбе с прекрасной грузинской княжной, которой оказалась бывшая невольница Саида. Элеонора теряет сознание. Дон Альварес приказывает своему слуге-невольнику Ахмету ухаживать за госпожой. Саида мучается: тот, кто когда-то отобрал ее свободу, теперь забирает ее сердце. В важной седьмой сцене Элеонора приходит в себя и видит рядом Ахмета, своего спасителя. Она поражена участием слуги в ее судьбе и отдает счастливому невольнику свою руку и сердце. Счастливый Ахмет, не ожидавший подобного, падает к ногам своей госпожи, охваченный любовью, рассказывает ей о своих чувствах. В предпоследней восьмой сцене донна Элеонора сообщает Альваресу, что во всем их судьбы похожи, и предлагает сделать общую свадьбу. Пары обнимаются. Дон Альварес, обрадованный таким завершением дела, приказывает привести писаря, чтобы обручиться с любимой. Сцена девятая и последняя. Писарь дон Родригес показывает Альваресу свадебный контракт, испанский гранд просит написать другой контракт и в нем упомянуть имена Элеоноры и Ахмета. Он дарит всем невольникам свободу. Освобожденные радуются, благодарят своих избавителей. Организуют общие танцы,

в которых принимают участие Саида, Альварес, Элеонора и Ахмет. Завершался балет сценой, в центре которой стоит писарь с контрактом, а его окружают довольные брачующиеся и освобожденные невольники.

* * *

Второй балет своей стилистикой чрезвычайно близок к итальянской традиции, которая, судя по именам балетмейстеров 1760-х гг., могла существовать в несвижском театре. В 1760 г., после смерти Иеронима Флориана Радзивилла, его балетная труппа из Слуцка была перевезена в Несвиж. Слияние несвижской и слуцкой балетных трупп позволило поднять несвижский балетный театр (по количественному составу 35 человек) на уровень крупнейшего европейского театра. В Слуцке с 1756 г. работал итальянский балетмейстер Антонио Путтини, который еще в 1754 г. приехал со своим братом певцом Бартоломео Путтини в Дрезден. В 1760 г. Путтини уже в Несвиже. Работавший в Слуцке и Несвиже, балетмейстер Луи Максимилиан Дюпре покидает город в 1760 г., возвращаясь в Париж. И у князя Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки остается только один итальянский балетмейстер А. Путтини.

В 1761 г. А. Путтини ставит 3 балета: 28 и 30 июня, 27 ноября. Спектакли проходят в театре замка в Бялой, куда временно переместился несвижский двор, сопровождая Радзивилла Рыбоньку в его тогдашнем путешествии. В 1762 г. князь Рыбонька умирает, напрашивается вывод, что программа варшавского балета 1761 г. должна была сыграть свою роль в его балетном театре до этого срока. Либретто балета могло быть использовано для постановки спектакля второй половины 1761 г. Не обо всех спектаклях имеются сведения в записях современников, а по-другому они тогда, как уже говорилось, не фиксировались. О балетмейстерах можно что-то узнать из текстов их контрактов, а о простых танцорах балета из финансовых документов радзивилловского архива. Но это сведения не творческого, а количественного порядка, о качественном уровне несвижского балета как раз косвенно свидетельствует найденная в Национальном историческом архиве Беларуси театральная программа.

Наличие такой программы в радзивилловском архиве показывает развитие несвижского и слуцкого балетов в связи и контексте лучших европейских и отечественных достижений, а также подтверждает косвенно вклад сцен Несвижа и Слуцка в утверждение балета как содержательного самостоятельного жанра, балета-спектакля.

Само наличие программы Королевского варшавского театра в архиве Радзивиллов говорит об ориентирах и том контексте, в котором видели свою работу несвижские и слуцкие мастера балета. Три составляющие балета XVIII в., приведшие к появлению балетного спектакля: либретто, школа для обучения сложных балетных па, режиссер-балетмейстер — были известны в Несвиже, как отмечал Г. И. Барышев[1]. Для развития в направления «ballet d'action» (балетного спектакля) важными являются не только присутствие в Несвиже зарубежных балетмейстеров и организация балетных школ в столице радзивилловского княжества, но и балетные либретто, авторами которых могли выступать сами балетмейстеры или заимствовать их у своих коллег. Программа, найденная в минском архиве, еще раз подтверждает ориентацию местных балетмейстеров на целостный балетный спектакль.

[1] Барышев, Г. И. Театральная культура Беларуси XVIII века // Г. И. Барышев. — Минск: Навука і тэхніка, 1992 г.

Имена

ЭМАНУИЛ ИОФФЕ

Неутомимый труженик науки

Герой моего очерка — человек многогранного таланта. Одни издания называют его писателем, другие — ученым. Действительно, он стал членом Союза белорусских писателей в 1967 году. Его деятельность как писателя нашла отражение в книге «Вытокі песні. Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў» (Мн., 1973), в справочнике «Беларускія пісьменнікі (1917—1990) (Мн., 1994), в четвертом томе библиографического словаря «Беларускія пісьменнікі» (Мн., 1994).

1 февраля 1994 года в приветственном слове редакции газеты «Літаратуры і мастацтва» Арсению Лису в связи с его 60-летием говорилось: «Арсень Ліс у сваей асобе ўдала спалучае фалькларыста і літаратуразнаўцу, крытыка і празаіка, краязнаўцу і гісторыка літаратуры».

В то же время энциклопедические издания представляют Арсения Сергеевича Лиса как ученого. «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя» (Минск, 1972), Белорусская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 5. (Мн., 1982), «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва» Т. 3 (Мінск, 1986), энциклопедия «Республика Беларусь» (Минск, 2007) назвали его «белорусским фольклористом и литературоведом», 6-томная «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі», 18-томная «Беларуская энцыклапедыя», двухтомная энциклопедия «Беларускі фальклор» и книга «Памяць. Смаргонскі раён» — «белорусским фольклористом, литературоведом, краеведом».

Десять лет назад, во втором номере журнала «Роднае слова» за 2004 год, в статье «Грані таленту Арсеня Ліса» известный белорусский литературовед, лауреат Государственной премии Беларуси Янка Саламевич писал:

«Вялікаму таленту Бог дае шматлікія здольнасці. Так, доктар філалагічных навук, фалькларыст, краязнаўца, літаратуразнаўца, мастацтвазнаўца, паэт, празаік, кінасцэнарыст Арсень Ліс мае іх вельмі і вельмі многа...»

В книге Арсения Лиса под названием «Gloria victis!: збор твораў» (Минск, 2010) он назван «навукоўцам і літаратарам».

Так кто же он, Арсений Лис?

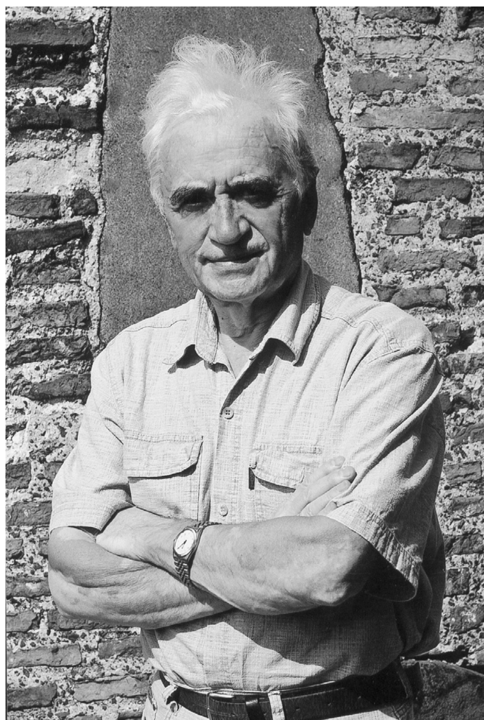
Полный ответ на этот вопрос мы попробуем дать в конце очерка.

Сегодня имя доктора филологических наук, лауреата Государственной премии Беларуси Арсения Лиса известно далеко за пределами нашей республики.

Его жизненный путь начался 80 лет тому назад, 4 февраля 1934 года в небольшой деревушке Ветхово Молодечненского уезда Виленского воеводства (теперь Сморгонский район Гродненской области). В годы детства А. Лиса в этой деревне насчитывалось около 30 домиков, рассыпанных вдоль узкой улицы в зеленом венке деревьев, под которыми «особенно радостно было ехать на высоком возе сена или ржаных снопов».

В какой атмосфере рос будущий талантливый ученый и писатель? Что повлияло на развитие его мировоззрения?

Через много лет Арсений Лис вспоминал: «Неяк, прыблізна ў тую пару (в годы Великой Отечественной войны. — **Э. И.**), мне трапіліся два даўней-



Арсений Лис, 2011 г.

шых выданні, якія, як пазней зразумеў, моцна абавязаны далучэннем да мастацкага слова. Былі гэта «Другое чытанне для дзетак беларусаў» Якуба Коласа і чытанка «Родны край» Леанілы Гарэцкай, складзенай, пэўна ж, не без удзелу і парад мужа Максіма Гарэцкага. Жыў у гэтых кнігах свет роднай прыроды і людзей, усё большы і захапляльны ад раздзела да раздзела. Была ў іх паэзія, простая, пранікнёная, як матчына песня. Крыху пазней па свойму ўплывалі на падлеткавае ўяўленне прачытаныя ў 6—7 класах «У палескай глушы», «У глыбі Палесся». Мяккая паэтычнасць Коласа неяк асабліва кранался душы. І на нейкі час нават захацелася быць Лабановічам і працаваць дзесь у закінутай лясной глухамані»[1].

Чем ознаменовался для Арсения Лиса далекий 1951 год?

Молодой читатель может сказать: «Это было очень давно» или «Это было еще при Сталине».

Для будущего ученого и писателя 1951-й год стал годом окончания Сморгонской средней школы и поступления на первый курс филологического факультета Белорусского университета.

В беседе с автором этих строк Арсений Сергеевич заметил, что впечатления университетских лет шли в основном от книг и искусства. На втором курсе учебы молниеносно ослепила первая более-менее взрослая любовь. Уже с первого курса перед юношей открылся необъятный мир литературы всех народов и всех времен. У Арсения возникло острое желание глубже вчитаться в Тараса Шевченко. Потом через Шандора Петефи он вслушивался в историю Венгрии, ее революции 1848—1849 годов. Какую-то сторону духовного света болгар Арсений открыл для себя через произведения Ивана Вазова. Он подучился польскому языку и прочитал произведения Адама Мицкевича.

Надолго запомнились Арсению Сергеевичу произведения Горького, Куприна, Андреева и Бунина, прочитанные в студенческие годы. Из поэзии его взволновали стихи Генриха Гейне и Джорджа Байрона.

Трудовой стаж А. Лиса составляет 58 лет: от заведующего педагогическим кабинетом Шарковщинского района и учителя белорусской литературы в старших классах местной школы до заведующего отделом фольклора Института искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси. А в промежутке, с лета 1957 года, работа редактором редакции «Мастацкая літаратура».

Незабываемая пора — учеба в аспирантуре Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР, а с 1959 года — работа в этом научном учреждении вот уже 55 лет.

Вспоминая аспирантские годы, Арсений Сергеевич напишет: «За тэму даследавання ўзяў рэвалюцыйную народную творчасць Заходняй Беларусі 1921—1939 гадоў. Пазнаёміўшыся з шматгалосай прэсай тых гадоў, адчуў на-

[1] Ліс А. С. Ад матчыных песень //Вытокі песні. Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў. — Мінск. — 1973. — С. 131.

вальнічную іх атмасферу, само дыханне часу — такі непасрэдны адбітак яго несла ў сабе. Для глыбейшага пазнання эпохі была яшчэ адна жывая крыніца. Хоць былі некалі белапанскія (сегодня мы употребляем термин «польские». — **Э. И.**) турмы, быў незраўняны па жорсткасці, бесчалавечнасці гітлераўскі фашызм, было нямала выпрабаванняў, што выпалі на долю барацьбітоў заходнебеларускага камуністычнага падполля, сёй-той з іх застаўся, выжыў насуперак сотням смерцяў. Сустрэчы з гэтымі людзьмі, за плячамі якіх былі гады і гады падпольных явак, сходаў, пастаяннай рызыкі, панскіх астрогаў, сталі для мяне адначасова і сустрэчай з баявой рэвалюцыйнай песняй»[1].

Передо мной — тоненькая книжечка, изданная в Минске почти полвека назад, в 1965 году. Это автореферат диссертации А. С. Лиса «Народно-поэтическое творчество Западной Белоруссии (1919—1939 гг.)» на соискание ученой степени кандидата филологических наук. На титульном листе отмечено, что научным руководителем диссертации был член-кореспондент АН БССР, доктор филологических наук, профессор И. В. Гуторов, а оппонентами — известный литературовед Ю. С. Пширков и талантливый литературный критик В. А. Колесник.

Диссертант четко определил цель своей диссертации: «Предметом данной диссертации является исследование развития народно-поэтического творчества Западной Белоруссии (1919—1939 гг.), его идейно-художественных основ, специфики.

Автор ставит задачу изучить, как раскрылся художественный потенциал трудящихся на этапе их освободительной борьбы, каковы были пути и формы развития художественной инициативы народа в эпоху революционно-освободительного движения. С целью более полного познания идейно-творческих начал, самой живой сути художественной практики народа в период высокой мобилизации его творческих сил диссертант стремится охватить ряд явлений духовной жизни трудящихся, особенно явлений массового художественного порядка»[2].

Защита диссертации А. С. Лиса состоялась на заседании Объединенного Ученого Совета Института языкознания им. Я. Коласа и Института литературы им. Я. Купалы. Она прошла успешно, и в 31 год Арсений Сергеевич стал кандидатом филологических наук.

Говорят, что проверкой большинства научных работ является время. Так вот, до настоящего времени не утратили своей ценности и актуальности мысли, высказанные в заключении диссертации А. С. Лиса. Приведем их: «Изменение форм возникновения и особенно распространения произведений народно-поэтической культуры, затронувшее такие определяющие черты природы классического фольклора, как устность и коллективность, возвышение индивидуального начала, увеличивавшееся влияние художественной литературы на творческий опыт масс — основные особенности поэтического процесса Западной Белоруссии в художественном отношении».

Ко времени защиты он был автором многих солидных статей в журналах «Маладосць», «Полымя», «Советская Отчизна» (так тогда назывался журнал «Нёман». — **Э. И.**), «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук».

После защиты кандидатской диссертации в Академии наук БССР об Арсении Сергеевиче начали говорить как об одном из талантливых ученых-фольклористов нашей республики.

Через 32 года, в 1997 году, Высшая Аттестационная Комиссия Республики Беларусь утвердила Арсения Сергеевича Лиса в ученой степени доктора филологических наук. К этому времени большинство белорусских фольклористов считало его классиком белорусской фольклористики.

Первая крупная работа А. Лиса по этой специальности вышла в свет в 1974 году. Это монография «Купальские песни», посвященная одному

---

[1] Ліс А. С. З матчыных песень. С. 135—136.

[2] Лис А. С. Народно-поэтическое творчество Западной Белоруссии (1919—1939 гг.). Автореф. дис. канд. филол. наук. Минск, 1965. С. 3.

из богатейших разделов белорусского земледельческого календаря. В ней исследовался генезис купальских песен. Основное внимание ученый уделил проблеме отражения народной жизни в купальской поэзии, художественной природе купальской песни.

Белорусскому читателю были представлены такие разделы: «Генезис купальских обычаев», «Купальские обряды и песни обрядовой канвы», «Купалка и Купала в песнях», «Балладные песни Купалья», «Юмористические купальские», «Любовная и семейная лирика Купалья».

Книга А. Лиса вышла тиражом в 2 700 экземпляров и предназначалась не только специалистам по этой проблеме, но и широкому читателю. Каждая страница этого издания еще и сегодня, спустя 40 лет после ее выхода, вызывает большой интерес и восхищение мудростью белорусского народа.

Ну разве можно оставаться равнодушным, читая такие строки из первой части работы белорусского исследователя А. Шлюбского «Матэрыялы для вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны» (Мінск, 1927), которые приводит А. Лис:

А на Купалу—
А на Купалу
Рана сонца йграла,
Рана сонца йграла, —
На добрыя гады —
На добрыя гады
На цеплыя росы,
На хлебы ўраджаі.
На хлебы ўраджаі.

На мой взгляд, самым интересным разделом монографии Арсения Сергеевича «Купальскія песні» является раздел «Гумарыстычныя купальскія». Приведем только одну из них, записанную А. Гурскім в 1960 году в деревне Задоры Сиротинского района Витебской области:

А ў малайцоў праўданька,
Як узімку сонейка:
Хоць яно нізенька,
Ды яно халоднае.

А ў дзевачак праўданька,
Як улетку сонейка:
Хоць жа яна цёмненька (высока),
Але грэіць цёпленька.

Арсений Сергеевич высказал мысль, что купальское наследие остается в памяти преимущественно людей старшего поколения, но оно продолжает сохранять интерес и в определенном смысле возбуждать творческую мысль современников.

Белорусский литературовед Янка Саламевич так оценил этот научный труд:

«...Манаграфія А. Ліса «Купальскія песні» — бясспрэчна, дасягненне не толькі самога аўтара і ўсёй беларускай савецкай фалькларыстыкі. I хто яе прачытае, яшчэ раз з вялікай удзячнасцю аўтару прычасціцца з той невычэрпнай і магутнай крынічнай паэзіі, музыкі, імя якой Народная песня»[1].

Значительным событием в истории белорусской фольклористики стал выход в 1989 году книги Арсения Лиса «Валачобныя песні». На основе анализа множества разнообразных источников ученый доказал, что истоки волочебной поэзии — в мифологических представлениях древнего человека. В процессе бытования волочебные песни развились в эпические произведения поздравительно-величального характера. В них прославляется ум, трудолюбие земледельца,

[1] Саламевіч Я. Невычэрпная крыніца паэзіі // Полымя. — 1975. — № 12 — С. 236.

поэтизируется труд на земле. В этой работе исследуются история собирания волочебных песен, их генезис и идейно-художественное своеобразие.

По мнению автора этих строк, самый интересный раздел данной книги — это раздел «Валачобныя, адрасаваныя моладзі. Вобразы і асаблівасці выявы».

Нельзя удержаться, чтобы не привести из этого раздела в качестве примера волочебную песню, записанную на северной Минщине, в которой девушка обещает за выловленный рыболовами перстень:

...Я вам, молада, знадабна буду:
Першаму буду суседачка,
Другому буду нявестачка.
Трэцяму буду мілая жана.
Суседачка — цяпла браці,
Нявестачка — піць даваці,
Мілая жана — пасцель слаці.

Немало интересных событий в жизни Арсения Лиса произошло в 1993 году. Одно из них — выход книги «Жніўныя песні». Она явилась первым монографическим исследованием, посвященным одному из богатейших разделов поэзии белорусского земледельческого календаря — жнивным песням. Арсений Сергеевич рассмотрел в этом издании происхождение жнивных обрядов и песен, систему их образов и поэтику.

В последние десятилетия в нашей республике возродилось ежегодное празднование в различных городах Беларуси «Дожинок». Это старинный народный праздник белорусов, связанный с окончанием жатвы.

Поэтому сегодня особенно актуальным для читателей Республики Беларусь стал один из разделов монографии «Жніўныя песні» под названием «Дажынкавыя песні». В нем повествуется о разных чувствах людей. Но больше всего о радостных чувствах по случаю хорошего урожая:

...Да мілыя мае жанцы,
Патаміліся жнучы,
Станавіцеся радком,
Піце гарэлку з мядком,
Піце адно да другога,
Не мінайце нікога —
Як меншае, так большае,
Было жыта нязгоршае:
Да на корань караніста,
Да сцяблом ядраніста.

Нельзя не согласиться с одним из заключительных выводов автора этой книги:

«Беларуская жніўная песня, пераклікаючыся з украінскай жніўнай песняй і нават з геаграфічна ёй далёкай балгарскай песняй, займе адметнае месца ў народна-паэтычнай культуры ўсяго славянскага свету».

Трудно вспомнить другого белорусского ученого-фольклориста с таким количеством монографий, как у Арсения Лиса.

Через четыре года, в 1998 году, издательство «Беларуская навука» порадовало читателей новой монографией Арсения Сергеевича «Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў: Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект». Научным редактором этой книги стал член-корреспондент (а теперь — академик. — **Э. И.**) НАН Беларуси В. В. Гниломедов, а рецензентами — известный белорусский ученый-фольклорист К. П. Кабашников и один из самых талантливых белорусских ученых-философов А. С. Майхрович.

Эта монография посвящена основополагающему разделу традиционной духовной культуры — календарно-обрядовому творчеству белорусов.

В книге исследуется генетическая, функциональная и художественная природа календарно-обрядового фольклора как олицетворение творческого духа белорусского народа.

В отличие от работ предыдущих исследователей этой тематики, монографии А. С. Лиса характерен системный подход к изучению календарно-обрядовой поэзии, внимание к вопросам народной этики и эстетики.

Что заставило Арсения Сергеевича обратиться к данной теме?

Ответ на этот вопрос дан в последнем абзаце «Введения». Процитируем его: «Заснаванае на шматгадовым эксперыментальна-практычным пазнанні каляндарна-абрадавай творчасці перакананне аб яе неардынарнай ролі ў жыцці, гістарычным лёсе беларускага этнасу, высокім месцы ў іерархіі духоўных каштоўнасцей нацыі і адначасова ўсведамленне неадэкватнасці навукова-тэарэтычнага асэнсавання гэтай агромністай спадчыны дае права нам звярнуцца да даследавання кардынальнай праблемы каляндарна-абрадавай паэзіі — сістэмы яе жанраў як цэласнай і самай каштоўнай з’явы традыцыйнай культуры».

Особенно привлекает читателей этой книги раздел «Тыпалогія і паэтыка веснавых песен». В нем даны морально-этические взгляды народа на семью, воспитание детей; выраженные в форме беседного признания лирического героя, они приобретают особую идейно-эстетическую убежденность, психологически-эмоциональную действенность:

Людзі — суседзі мае
П’юць і ядуць у мяне,
П’юць і ядуць у мяне,
Судзяць, гавораць аба мне,
Штоб я пакінуў жану,
Штоб я пакінуў маладу.
То ж не сумленне маё,
Каб я пакінуў жану,
Каб пакінуў маладу.
Дзеткі — пацеха мая,
Жонка —пакраса мая,
Дзеткі пацешаць у даму.
Жонка пакрасіць у піру.

Последние два абзаца «Заключэння» монографии можно включить в «Словарь крылатых слов и терминов». Вот они: «Падобна мове, традыцыйная культура з’яўляецца пераахоўніцай генетычнага коду нацыі.

Беларуская абрадавая творчасць як жывая культурная традыцыя аб’ектыўна захавала здольнасць уплываць на духоўныя працэсы сучаснага грамадства: спрыяць яго нацыянальнай кансалідацыі, супрацьстаяць дэструктыўным уплывам масавай культуры з яе нівеліруючымі, асіміляцыйнымі тэндэнцыямі».

И еще. В коллективном томе «Беларусы. Вусная народная творчасць» (Минск, 2004) А. С. Лис исследовал структуру, семантику, поэтику весенних, волочебных, юрьевских, купальских, жнивных, колядных, масленичных обрядов и их песенного сопровождения.

В 2008 году в этом же издательстве «Беларуская навука» вышла в свет монография А. С. Лиса «Беларуская каляндарна-абрадавая песня ў кантэксце фальклорных традыцый», в которой он подытожил свои многолетние исследования по данной проблеме. В этой книге исследуется образная система, поэтика, типология веснянок, юрьевских, хороводных, купальских и жнивных песен белорусского народного календаря в контексте песенных жанров обрядового фольклора болгар, русских, украинцев. В данной монографии выявлены приоритеты, общее и этнически отличительное в традиционной культуре славянских народов.

К сожалению, эта книга недооценена научной общественностью республики, хотя ценность ее очень высока. Между тем, мы имеем оригинальное исследование, написанное на европейском, а может быть, и на мировом уровне.

Арсень Лис во «Вступлении» дал высокую оценку исследованиям своих коллег — белорусских ученых-фольклористов. И только в последнем абзаце вскользь он упомянул и себя:

«Шырэйшае, з грунтоўным ахопам усіх песенных разнавіднасцей абрадаў беларусаў веснавога перыяду народнага календара, даследаванне рэалізавана ў шасцітомнай навукова-тэарэтычнай серыі «Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка». Структура і семантыка веснавой абраднасці, вяснянкі, песні валачобныя, юраўскія, веснавой талакі, куставыя, траецкія і русальныя даследаваны В. М. Шарай, У. М. Сівіцкім, А. С. Лісам» (здесь же дана ссылка на первую кнігу «Каляндарна-абрадавай паэзіі: Жанры, віды, паэтыка. Мінск, 2001. — **Э. И.**).

Очень важно, что в своей монографии Арсений Лис сравнивает болгарские и белорусские жнивные песни и находит общее и этнически отличительное в белорусских и украинских колядных песнях. Он приходит к интересному выводу:

«З асаблівай нагляднасцю тыпалагічную блізкасць у маштабе не толькі славянскай зоны, але і шырэй, агульнаеўрапейскай культурнай прасторы дэманструюць тэксты калядна-навагодняй і купальска-пятроўскай фальклорных традыцый».

Арсений Лис — составитель сборников «Беларускія народныя песні» (1970), «Жніўныя песні» (разам з В. Ялатавым) (1976)», «Восеньскія і талочныя песні» (разам з С. Асташэвіч) (1983), «Купальскія і пятроўскія песні» (разам з С. Асташэвіч) (1985), «Паэзія беларускага земляробчага календара» (1992), один из авторов словаря «Усходнебеларускі фальклор» (1993).

Научные исследования Арсения Сергеевича и его коллег по проблеме белорусского народного творчества получили достойную оценку. В 1986 году А. С. Федосик, М. Я. Гринблат (посмертно), В. И. Елатов (посмертно), К. П. Кабашников, Г. А. Барташевич, А. И. Гурский, А. С. Лис, Л. А. Малаш, Л. М. Соловей, И. К. Тищенко были удостоены Государственной премии БССР за свод «Беларуская народная творчасць» в 30 томах, опубликованный в 1970—1985 годах.

В представлении Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР коллективного исследования на Госпремию республики отмечалось: «В своде впервые собраны воедино лучшие устно-поэтические произведения белорусского народа, создавшего на протяжении своей многовековой истории сокровищницу высокохудожественных и глубоких по идейному содержанию песен, сказок, легенд, преданий, пословиц, поговорок и других жанров, что дает возможность составить представление о богатейшем вкладе белорусов в славянскую и мировую культуру. В этом духовном наследии отражены жизнь народа, его история, мировоззрение, идейные и эстетические взгляды, морально-этические идеалы, обобщен и закреплен трудовой и социальный опыт, выражены его надежды и чаяния.

В своде впервые разработана научная классификация, содержится обстоятельное теоретическое исследование происхождения, развития, идейно-художественных особенностей белорусской поэзии, ее связи с творчеством других славянских народов»[1].

Сегодня есть все основания для вывода о том, что кроме вклада в белорусскую фольклористику Арсений Лис внес существенный вклад в белорусскую литературную критику и белорусское литературоведение. Об этом свидетельствует анализ его работ «Мастацкая літаратура Заходняй Беларусі» (1996), «Максім Танк: На разломе эпохі» (1997), «Уладзімір Караткевіч: З любасцю, думна і годна» (1986), «Скрыўджаная зямля паэта Станіслава Шыманоўскага» (1991), «Дзе вы хлопцы, браты, песняры? Лукішскі дзённік і вершы Алеся Салагуба» (1991), «Маладосць паэта: Штрыхі да ранняй паэзіі Міхася Машары» (1996), «Веснапесні» Хведара Іляшэвіча» (1997), «Анатоль Бярозка: Як малітва аб волі»

[1] Дзяржаўныя прэміі Беларускай ССР і Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і тэхнікі. 1972—2002. Мінск. — 2004. — С. 135—136.

(2005), многочисленные рецензии на произведения в журналах и газетах нашей республики, особенно в журналах «Полымя», «Маладосць», «Беларусь», газетах «Літаратура і мастацтва», «Звязда», «Чырвоная змена».

В личной библиотеке ученого хранится книга Максіма Танка «Збор калосся» с такой дарственной надписью: «Майму... другу Арсеню Сяргеевічу Лісу на добры ўспамин аб нашых незабыўных сустрэчах, бяседах. З надзеяй — на новыя. Ад усяго сэрца. Максим Танк. Мінск. 4.4. 1995 г.».

Тем читателям, кто интересуется жизнью и деятельностью Максима Танка, его поэзией, советую обязательно прочитать статью А. С. Лиса «Максім Танк: На разломе эпохі», написанную 17 лет тому назад. Они найдут для себя много нового.

Хоть Арсения Сергеевича называют фольклористом и литературоведом, в действительности, он также и историк, а точнее будет — талантливый историк. Это может подтвердить каждый читатель, который прочитает книгу А. Лиса «Браніслаў Тарашкевіч» (Мінск, 1966), статью «Мітрафан Доўнар-Запольскі: жыцце ў навуцы» и ряд других работ ученого.

Оценивая книгу Арсения Сергеевича о Брониславе Тарашкевиче, известный белорусский литературовед Дмитрий Бугаёв писал в журнале «Маладосць»: «Аўтар апошняй працы (имеется в виду А. Лис. — **Э. И.**) — малады супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. У сваёй першай кнізе Арсень Ліс паказаў сябе сталым, удумлівым даследчыкам, які ўмее самастойна вырашаць складаныя навуковыя пытанні і праблемы. Ён добрасумленна вывучыў і глыбока прааналізаваў навуковую спадчыну Браніслава Тарашкевіча, а таксама матэрыялы, звязаныя з яго жыццём і шматграннай дзейнасцю, і ў канчатковым выніку яму ўдалося стварыць абаяльны вобраз самаадданнага вучонага і непахіснага барацьбіта, самаахвярнасць якога не маглі адмовіць нават яго палітычныя праціўнікі.

...А. Ліс у сваёй першай кнізе, якая разам з тым з'яўляецца першай кнігай пра Б. Тарашкевіча, выявіў свае лепшыя якасці. Ён доказна і аргументавана, з любоўю і захапленнем расказаў пра вучонага і змагара, які варты нашай шчырай павагі і ўдзячнай памяці»[1].

Белорусский критик и публицист С. Майхрович в рецензии на книгу о Б. Тарашкевиче подчеркнул: «Грамадскае значэнне манаграфіі Арсеня Ліса ў тым і заключаецца, што аўтар выйшаў на шырокія прасторы гістарычнага апавядання і праз вобраз выдатнай асобы раскрыў складаную сацыяльна-палітычную механіку рэвалюцыйных падзей на заходнебеларускіх землях часоў крывавай дыктатуры і каланіяльнага рэжыму пілсудчыны»[2].

Только исключительно компетентный, объективный историк мог дать такую оценку творческому наследию М. В. Довнар-Запольского:

«Працы М. В. Доўнар-Запольскага па гісторыі, этналогіі, эканоміцы сягоння, на ростані дзвюх эпох, у час адбудовы беларускай дзяржаўнасці, уладкавання грамадскага палітычнага жыцця рэспублікі на дэмакратычных прынцыпах набываюць відавочную актуальнасць. Сягоння, можа, больш, чым калі, патрэбны нашаму грамадству пранікнены, заклапочаны, кампетэнтны погляд вучонага на мінулае, на сам беларускі этнас і яго жыццевыя інтарэсы, заўсёды небыякавыя знанаму гісторыку, бароненыя ім з высокамаральных пазіцый, з годнасцю грамадзяніна»[3].

Ни в одной из статей об Арсении Лисе, помещенных в различных энциклопедиях, изданных в нашей республике, не отмечается, что этот человек не просто историк, а историк белорусской государственности. Об этом свидетельствует детальный анализ его работ «Беларуская ідэя: Вытокі, этапы станаўлення»,

---

[1] Бугаёў Дз. Пра вучонага і змагара // Маладосць. — 1966. — № 12. — С. 144.

[2] Майхровіч С. Народны трыбун // Беларусь. — 1966. — № 12. — С. 28.

[3] Ліс А. Мітрафан Доўнар-Запольскі: жыццё ў навуцы // Ліс А.Gloria victis! Збор твораў. — Мінск. — 2010. — С. 414—421.

«Аляксандр Уласаў — рэдактар, публіцыст, асветнік», «Аркадзь Смоліч: Цяжкая дарога свабоды», «Паміж літаратурай і палітыкай. Драма аднаго рамантыка» (о Леопольде Родзевиче. — **Э. И.**), «Тамаш Грыб — рыцар беларускай свабоды», не говоря уже о книге «Браніслаў Тарашкевіч».

Некоторые литературоведы называют А. Лиса историком белорусской литературы, историком белорусской культуры. Яркое подтверждение этого сборник «Максім Гарэцкі: Успаміны, артыкулы, дакументы» (Мінск, 1984), составленный Арсением Сергеевичем вместе с И. Саламевичем, его очерк «Браты Гарэцкія», помещенный в 1989 оду в книге «Песню — у спадчыну», статья «Карэспандэнт Якуба Коласа» («Звязда», 7 красавіка 1968 г.), книга «Б. Тарашкевіч. Выбранае: Крытыка, публіцыстыка, пераклад» (Мінск, 1991), составленная А. Лисом.

Более того, Арсения Сергеевича можно назвать историком белорусского искусства. Самым лучшим подтверждением этой истины является его книга «Мікола Шчакаціхін: Хараство непазнанай зямлі» (Мінск, 1968) и ее повторного издания под названием «Мікола Шчакаціхін: Краіна Беларусь вачыма вучонага» (в книге «Gloria victis!» С. 336—413).

Свое мнение о книге «Мікола Шчакаціхін» высказал белорусский литературовед Владимир Юревич. Он заметил: «...Кніга Арсеня Ліса чытаецца не пераводзячы духу. А гэта — сведчанне шырокай улюбённасці аўтара ў прадмет даследавання. Чытаць яе легка, хоць і даследуюцца ў ёй спецыфічныя пытанні выяўленчага мастацтва ды архітэктуры, бо напісана яна чалавекам, які ведае роднае слова і ўмее яго шанаваць»[1].

Арсения Лиса по праву можно считать оригинальным искусствоведом. Кто сомневается в этом, тот пусть почитает его первую публикацию «Мастак Павел Южык» в газете «Літаратура і мастацтва» за 8 января 1955 года, книги «Петра Сергіевіч» (Мн., 1970), «Пякучай маланкі след: Эцюд да партрэта мастака Горыда» (Мінск, 1981), «Вечны вандроўнік» (Мінск, 1984) (о Язэпе Дроздовиче. — **Э. И.**), статью «Рыгор Раманавіч Шырма» (1984). Особого внимания заслуживает его книга «Песню ў спадчыну: Мастацтвазнаўчыя артыкулы» (Минск, 1989). В нее вошли статьи о певунье с Полесья Авдотье Клевжиц, поэтессе и певунье Анне Рубацкой, краеведе из Подвиленского края Антоне Янковском, фольклористе Осипе Логине, энтузиасте белорусской песни Антоне Гриневиче, композиторе и общественном деятеле Михале Клеофасе Агинском.

Белорусский критик и литературовед Анатолий Верабей отмечал: «Руплівым і дбайным даследчыкам беларускага мастацтва з'яўляецца Арсень Ліс. Яго працы па фальклоры, а таксама кнігі пра такіх дзеячаў беларускай культуры як Б. Тарашкевіч, М. Шчакаціхін, П. Сергіевіч, вызначаюцца высокім навуковым узроўнем і мастацкай дасканаласцю.

А. Ліс даў усебаковую і кваліфікаваную характарыстыку творчасці Горыда, здолеў асэнсаваць яго ролю і месца ў беларускім мастацтве, напісаў пра складанае і няпростае жыцце мастака»[2].

Белорусский писатель Владимир Яговдик в своей рецензии обратил внимание на такую деталь: «І асабліва прываблівае тое, што ў кнізе «Вечны вандроўнік» Язэп Драздовіч паўстае перад чытачом не толькі як таленавіты жывапісец, графік, літаратар, а найперш як чалавек, грамадзянін, які гатовы ахвяраваць усім дзеля радасці і шчасця абяздоленых людзей»[3].

Редко те, кто пишут об А. Лисе, указывают, что он еще и поэт. Читателям старшего поколения знакомы его стихотворения «Шандар Петэфі», «Балерына», «Яліне стройнай пры дарозе...», «Народныя мелодыі», «З Адама Міцкевіча», «Клен кучаравы», «На Свіцязі» и другие.

---

[1] Юрэвіч У. Ля вытокаў мастацтвазнаўства. // Маладосць. — 1969. — № 1. — С. 127—129.

[2] Верабей А. Воблік натхнёнага мастака. // Полымя. — 1983. — № 3. — С. 217, 219.

[3] Ягоўдзік У. Вяртанне вандроўніка. // Полымя. — 1985. — № 1. — С. 207.

А теперь познакомим читателя с отрывком из стихотворения А. Лиса, написанного в 1971 году, но которое еще нигде не печаталось:

Белая песня

Гляджу праз рэчку часу на той бераг,
Ахутаная ранішнім туманам,
Што лег палотнамі ля самых ног.
Струмкая, стройная ўся цягнешся за промнем
Ці за званочкам жаўруковай песні,
Што сонечна трымціць над галавой.
Сама як песня — звонкая вяснянка,
Што ўзляцець са стромы надбярэнай
Гатова, адно рукі працягні.
Ды знаю толькі: птушкай легкакрылай
Ты выпархнеш з абдымкаў несамкнутых...
Мне радасна й балюча ўзірацца.
Як хараша на ўлонні кволай руні
І неба постаць юная ўстае....

Многие исследовали по праву считают Арсения Сергеевича ученым-этнографом. Вспомним, что более полвека тому назад 28 ноября 1962 года в газете «Чырвоная змена» появилась его статья «Людзі і песня»: Нататкі этнографа». После этого А. Лис опубликовал десятки статей по проблемам этнологии и этнографии в энциклопедиях и в других изданиях. Особого внимания заслуживают его статьи «Доўнар-Запольскі Мітрафан Віктаравіч» в третьем томе «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» (Мінск, 1996, с. 272—273), «Фальклор и этнаграфія як крыніца пазнання этнасу ў М. В. Доўнар-Запольскага» (Гомель: Рэчыца, 2000), где он очень ярко показал Митрофана Викторовича как этнографа.

Арсений Лис — оригинальный киносценарист. Он соавтор сценариев документальных фильмов о Максиме Горецком, Митрофане Довнар-Запольском, Аркадии Смоличе, Брониславе Тарашкевиче, Александре Власове, Рыгоре Ширме.

Отдельный штрих биографии юбиляра — это А. Лис как редактор таких книг как «П. Мядзёлка. Сцежкамі жыцця: Успаміны» (Мінск, 1974), «Л. Дробов. Живопись Советской Белоруссии: 1917—1975 гг.» (Минск, 1979).

А есть еще Арсений Лис — мемуарист. Его мемуары об активном участнике революционного движения в Западной Белоруссии — старшем брате матери — дяде Василии Сидоровиче — опубликованы в книге «Gloria victis!» (Минск, 2010), а воспоминания о детстве и юности публикуются с 2012 года по настоящее время в газете «Новы час». Это не говоря уже о воспоминаниях о Максиме Танке и Владимире Короткевиче.

Отдельная глава биографии Арсения Лиса — это его деятельность как автора, соавтора и составителя учебников и учебных пособий для вузов нашей страны.

В 1977 году на книжных прилавках Минска появилось 2-е, дополненное издание книги «Беларускі фальклор: Хрэстаматыя», соавтором которой был А. Лис.

В 1996 году издательство «Высшая школа» выпустила в свет четвертое, переработанное издание учебного пособия «Беларускі фальклор: Хрэстаматыя», утвержденного Министерством образования и науки Республики Беларусь для студентов филологических специальностей высших учебных заведений. Его составителями стали К. П. Кабашников, А. С. Лис, А. С. Федосик, И. К. Тищенко. В обращении к читателям под названием «От составителей» они акцентируют внимание студентов на следующем: «Из богатого фольклорного наследия в хрестоматию отобрана только небольшая часть, которая дает представление о поэтическом творчестве народа, системе его жанров и видов.

В хрестоматии помещены произведения основных жанров и видов белорусского народного поэтического творчества».

Арсений Сергеевич подготовил раздел книги «Каляндарна-абрадавая паэзія». Сюда вошли «Календарные обряды», «Зимние песни», «Весенние песни», «Летние песни», «Осенние песни», «Толочные песни».

Автор этих строк долгие годы работал на факультете белорусской филологии и культуры Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка. А сейчас — на объединенном факультете белорусской и русской филологии этого же вуза. В беседе со мной многие студенты давали и дают высокую оценку этой хрестоматии «Беларускі фальклор». Не это ли говорит о высоком качестве данной книги и о благодарности ее создателям, в том числе и А. С. Лису?

В качестве примера приведем только одну песню из его цикла «Зімовыя песні»:

Красна дзевачка, расці скоранька,
Святы вечар, расці скоранька!
Расці скоранька, будзь разумненька.
Прыйдзе к табе кароль у сваты,
Прывязе сукно нямеранае,
Прывязе грошы няшчытаныя,
Прывязе злота нязважанае.
Красна дзевачка разумна была:
Узяла сукно перамерала,
Узяла грошы перашчытала.
Узяла злота праважыла,
Каралевіча не ўзняважыла.

Положительный отзыв у преподавателей и студентов филологических специальностей и научной общественности вызвал выход в 2000 году учебника «Беларуская вусна-паэтычная творчасць» объемом в 512 страниц, который был утвержден Министерством образования Республики Беларусь.

Нельзя не согласиться с мыслью, высказанной в последнем абзаце «Заключения» книги: «В наше время народное творчество активно влияет на процессы возрождения, этнического самосознания белорусов. Многие традиционные народные произведения, созвучные чувствам и настроению современного человека, удовлетворяют его эстетические запросы, поэтому и сегодня они являются важной частью духовной культуры народа».

Арсений Лис — член авторского коллектива. Ему принадлежит раздел «Каляндарна-абрадавая паэзія» объемом в 125 страниц.

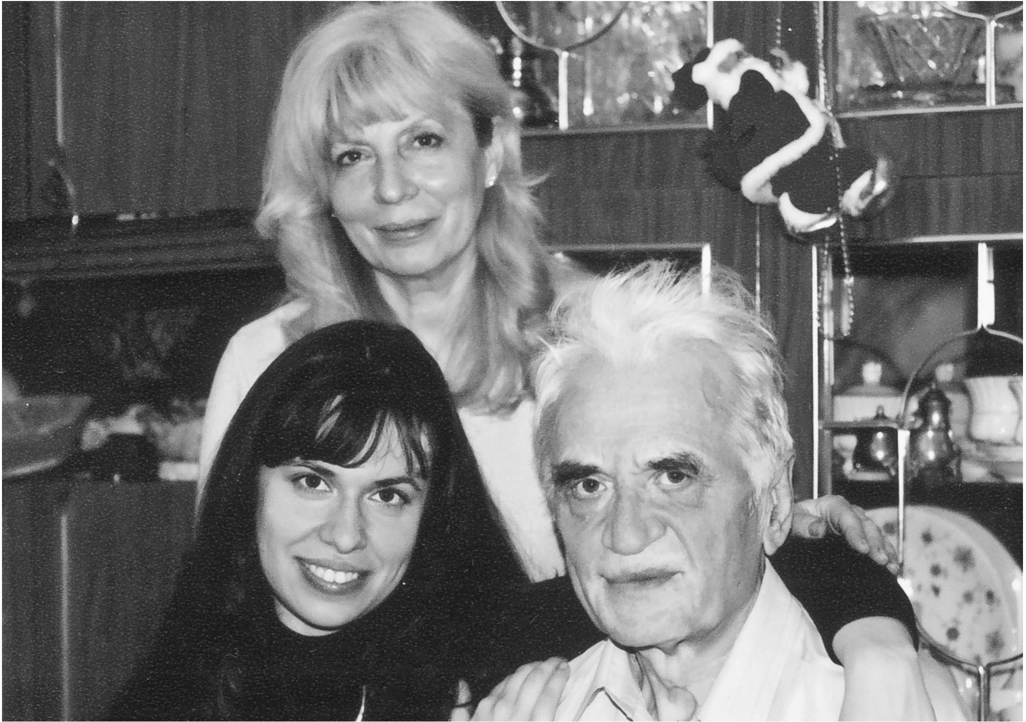
Многие ученые-фольклористы и литературоведы называют Арсения Сергеевича энциклопедистом. У читателя сразу возникает вопрос: почему?

Во-первых, потому что мало у кого из белорусских ученых столько статей в общих и отраслевых энциклопедиях. Трудно поверить, что только в одной энциклопедии, точнее в «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» им опубликовано 143 материала.

Во-вторых, А. Лис — человек редкой и, если можно так сказать, громадной эрудиции.

Таким образом, накануне своего юбилея Арсений Сергеевич Лис предстает как талантливый ученый-фольклорист, литературовед, литературный критик, историк белорусской государственности, историк белорусского искусства, историк белорусской литературы и культуры, искусствовед, краевед, этнограф, поэт, киносценарист, редактор, мемуарист и, наконец, ученый-энциклопедист.

Люди, которые давно знают А. Лиса, отмечают такие черты его характера, как целеустремленность, упорство, настойчивость, трудолюбие (его так и называют — трудоголиком), вежливость, чуткость, принципиальность, скромность,



Арсений Лис с женой Мариной Марковной и дочерью Еленой, 2011 г.

готовность придти на помощь товарищу и невероятную любовь к родному белорусскому слову, белорусской культуре.

Он не любит, когда люди нарушают свое честное слово, опаздывают на встречу и на работу, часто заглядывают на дно бутылки.

Я обратился к трем людям, близко знающим А. С. Лиса уже много лет, и попросил их высказать свое мнение о чертах его характера. Вот что они сказали.

Адам Иосифович Мальдис, известный белорусский литературовед, критик, прозаик, публицист, доктор филологических наук, профессор, лауреат Государственной премии Беларуси имени Я. Коласа:

«Арсень Ліс — мой самы даўні і надзейны сябра. З беларускіх фалькларыстаў ён самы мэтанакіраваны і паслядоўны. Я паважаю яго за сабранасць і паслядоўнасць. Арсень заўседы застаецца сам сабой і не мяняе сваіх поглядаў кожны дзень, як гэта можна бачыць на прыкладзе некаторых людзей з нашага асяроддзя. Ён заўсёды верны свайму слову і не было выпадку, каб гэты чалавек каго-небудзь падвёў».

Татьяна Васильевна Володина, заведующая отделом фольклористики и культуры славянских народов Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН, доктор филологических наук:

«Арсень Сяргеевич Ліс — надзвычайны інтэлігент у самым высокім разуменні гэтага слова. Заўсёды гатоў прыйсці на дапамогу ў самую цяжкую хвіліну — гэта значыць менавіта тады, калі гэтая дапамога вельмі патрэбна. Калі я хварэла, то ўвесь час адчувала яго чуллівасць і падтрымку.

Шчыры дарадца і лепшы кансультант маладых вучоных па многіх праблемах. Ён ведае шмат вершаў не толькі з беларускай, а таксама з сусветнай паэзіі. Калі мы збіраемся па якіх-небудзь выпадках, то з задавальненнем слухаем сусветную паэзію ў выкананні А. С. Ліса.

Наогул, гэта чалавек шчыры і адначасова прынцыповы. Вельмі сціплы, а пагэтаму не любіць, каб яго занадта хвалілі, дакладней, афіцыёзу вакол сваей асобы».

Евгений Григорьевич Лецка, талантливый белорусский прозаик, критик, литературовед:

«Арсень Сяргеевіч Ліс — чалавек вельмі цікавы, мяккі, спагадлівы, памяркоўны, культурны, дасведчаны, заўсёды гатовы падзяліцца ведамі, падтрымаць чалавека ў цяжкую хвіліну».

Некоторые читатели могут сказать: «Вы нарисовали образ не человека, а ангела. Неужели у А. С. Лиса нет никаких недостатков?»

Могу ответить, что есть и недостатки. Это, может быть, излишняя доверчивость, непрактичность в хозяйственных делах.

Арсений Сергеевич создал дружную семью. Его спутница жизни, жена Марина Марковна, работает в отделе редкой книги Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси, его сын Ярослав окончил исторический факультет БГУ и работал в Институте истории НАНБ (в настоящее время — в одной из фирм г. Минска), дочь Елена после окончания Минского государственного лингвистического университета преподавала в этом вузе английский и арабский языки.

Немало времени А. С. Лис уделяет своим любимым внукам — Карине и Станиславу.

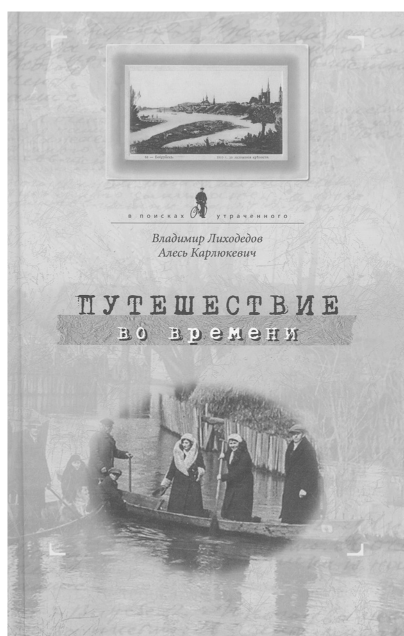
Чаще всего коллеги Арсения Сергеевича называют его «неутомимым тружеником науки». Именно такое заглавие дал я своему очерку о человеке, плоды деятельности которого составляют гордость современной белорусской науки и культуры.



С точки зрения рецензента

«Край, где пленница — душа»

«...нельзя к минувшему остынуть...
нельзя о прошлом позабыть!»
К. Бальмонт



...Три женщины с мешками на спинах идут по пустынной дороге. Судя по телогрейкам, платкам, по пустынным полям, наконец, по некой печали, пронизывающей окрестности, стоит начало осени... Сто лет назад сделан снимок, но и сегодня если не волнует, то трогает душу. Будто женщины эти, если и не бабки-прабабки твои, то хорошо знакомые женщины с понятной судьбой. И в городе этом ты никогда не бывал, а будто знаешь, куда ведет эта улица и кто живет в крайнем доме с раскрытым окном, и что за сооружение там, впереди. Это город Береза. А снимок сделан несомненно талантливым фотографом в 1916 году.

Непростая задача — выбрать в истории города ту страницу и тот снимок, которые высветят жизнь людей. Найти такие сюжеты, чтобы читатель замер перед фотоснимком и, может быть, обрадовался, узнав знакомые контуры, а может, и загрустил... Вон там, вдалеке, рынок, а на переднем плане довольный вниманием фотографа околоточный с роскошными усами и мужики, с любопытством смотрящие, стоящие в стороне. Они тоже непротив попасть в историю, но стоять рядом с околоточным недостойны: большой начальник. Время, примерно, то же, начало века, но город иной, со славой, как говорят авторы книги, межконтинентальной: «При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало... Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом». Это цитата из знаменитого «Золотого теленка».

У этой необычной книги («Путешествие во времени», Мн., 2014, «Издательский дом «Звязда»), два автора: журналист и писатель Алесь Карлюкевич, автор многих краеведческих книг и журнальных публикаций о Беларуси, и известный коллекционер-филокартист Владимир Лиходедов, автор более тридцати выставок.

Разумеется, авторы книги вспоминают значительные исторические события, имевшие отношение к тому или иному городу. В Бобруйске это история устроения крепости по приказу Александра I, факт полугодового «сидения» наполеоновских войск у стен крепости, «Бобруйский план» свержения царя офицерами «Южного товарищества» во главе с Сергеем Муравьевым-Апостолом, и, конечно, рассказывают авторы и о трагических событиях: фашист-

ский концлагерь в Бобруйской крепости, еврейское гетто...

Однако авторы книги ставили перед собой задачу не только показать прошлое, но и рассказать о сегодняшнем дне городов и былых местечек. О самом существенном и интересном, и, конечно, об исторических личностях. А если есть красивая легенда, то привести и ее. К примеру, шутливую легенду о том, как А. В. Суворов забыл картуз на березе и что в результате получилось. А получился город, которым можно гордиться — Береза (в прошлом — Картуз-Береза, Береза Картузская) на Ясельде...

Впрочем, городов, которыми можно гордиться, в Беларуси немало, и каждому в книге найдено теплое слово.

С благодарностью думаешь о безымянных фотографах-художниках, сделавших эти снимки. Кто они? Патриоты своего города? Или заезжие мастера своего дела? К примеру, снимки Березвечского монастыря и Православной церкви в Глубоком сделаны несомненно рукой одного мастера. Главное впечатление — застывшая красота и время. Но вот мгновение какого-то городского праздника в тридцатые годы прошлого века: люди по обе стороны дороги, а по дороге мчатся велосипедисты. Однако облачены они не в спортивную, а в некую форменную одежду. Скорее всего, это праздник 1 мая, светит солнце, лежат на земле тени, но год выдался холодным: люди стоят в пальто. И, как водилось в советские времена на демонстрациях трудящихся, впереди катит руководитель, — человек в фуражке военного образца.

У каждого города есть прошлое, иначе он, как человек без роду без племени — сирота. И у каждого селения на земле не только свое лицо, но и характер. Чтобы понять его, а может, и полюбить, нужно знать не только о нем сегодняшнем, но и о его прошлом. Автор текста Алесь Карлюкевич, всякий раз представляя нам новое селение Беларуси, знакомит с его минувшим, сообщает самое главное, может быть, то, что определило его нынешний вид и судьбу.

Белая Каменецкая Вежа — «столп камен высотою 17 саженей, подобен удивлению всем зрящим...» (Ипат. лет. 1275 г.), выстроенная Волынским князем Владимиром Васильковичем для защиты города от ятвягов. А столп, уместно добавить, в окружности 16 сажен, верх у него зубчатый — для красоты, конечно, и три узких окна. Городок небольшой, но очень лакомый для завистливых ближних и дальних соседей. Не раз он становился предметом раздора князей Владимирских и Дрогичинских, завладевали им и литовцы, поляки. Так что такой «столп» был очень нужен, чтобы укрыться хотя бы княжеской семье с дюжиной стражей, пока сам князь выясняет отношения с врагом на поле брани.

Сохранился интересный снимок центра города: обычные для Беларуси деревянные строения, за ними — многокупольная православная Симеоновская церковь. На площади много людей. Все чем-то озабочены, чего-то ждут, толпятся. И снова много военных. Женщин и вовсе нет. Снимок 1939 года. Возможно, это атмосфера начавшейся Второй мировой войны.

«Старые открытки, — говорит Алесь Карлюкевич, — это нечто вроде писем в будущее».

Как известно, российский император Николай I приказал снести с лица земли Минскую ратушу, дабы не напоминала жителям о Магдебургском праве города и иных событиях и временах. Но есть в отношении Беларуси у царя и доброе дело: в городе Горы-Горках была создана по указу Николая I Земледельческая школа, в 1848 году реорганизованная в земледельческий институт. То есть было положено начало Белорусской сельскохозяйственной академии. Естественно, что авторы книги не могли обойти эту тему.

Очерк о Добруше — один из самых насыщенных сведениями. «Историю городов и сел пишут люди своими поступками, — замечает Алесь Карлюкевич. — Какая историческая биография будет у Добруша и его окрестностей в веках последующих, будущие времена расскажут уже нашим потомкам. Наверное, что-то из предыдущей

памяти окажется утерянным. Иные здания обветшают или вообще спрячутся в вечности...»

Каждый белорус знает о Добрушской бумажной фабрике, но далеко не все знают предысторию фабрики и города, связанную с именами российских вельмож Румянцевых и Паскевичей. Парусная мануфактура, крупные спиртзаводы, ежегодно перерабатывавшие до тысячи пудов зерна, водяные мельницы и пилорамы на Ипути, а затем создание бумажной фабрики, перед Первой мировой войной выпускавшей десять тысяч тонн бумаги... Это — прошлое, но и сегодня фабрика работает, и люди пишут уже новую, для будущих времен историю края и города.

Примечательно, что отношение к прошлому может быть разным. А. Карлюкевич приводит слова А. С. Пушкина: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим». Но вот мнение знаменитого в свое время писателя-публициста Дмитрия Писарева: «...В наше время... стыдно и предосудительно уходить мыслью в мертвое прошедшее, с которым всем порядочным людям пора разорвать всякие связи...» Сегодня такое мнение кажется очень наивным. «Двигаться вперед надо с грузом прошлых столетий», — резонно замечает Алесь Карлюкевич.

Постоянные экскурсы в разные времена: в далекое прошлое и сегодняшнее и придают тексту книги необходимую глубину. «Отчизна — это край, где пленница душа», — поэтично выразил эту мысль Вольтер. Но тут уместно добавить, что душа живет в минувшем.

Снимки внятно говорят о времени, но ничего не могут сказать о прошлом. Снабдить их исторической глубиной — это задача и дело автора текста. 35 городов и поселков в книге, и о прошлом каждого из них сказано хотя бы несколько слов. К примеру, рассказывая об Ивье, Трабах, Гераненах, Алесь Карлюкевич называет исторические имена, чья жизнь и деятельность так или иначе была связана с этими селениями: Август III, при котором Геранены получили Магдебургское право, Эрдзивилл, Гаштольд, Барбара Радзивилл — вторая жена короля Жигимонта II Августа, ее брат Николай Рудой Радзивилл.

Сообщает автор текста и о том, что город издавна считается неофициальной столицей белорусских татар.

Подчас «ощущаешь себя песчинкой на речном берегу», — говорит Алесь Карлюкевич. Ощущение такое возникает, конечно, от исторического богатства Беларуси. Экскурсы в прошлое — почерк и творческий метод автора. Да и как не увлечься рассказом о давних событиях и людях, если речь пойдет, например, о городе Крево!

В 1382 г. в подземелье центральной башни Кревского замка убит (задушен) по приказу Ягайлы Кейстут, претендент на трон ВКЛ.

В 1433 г. замком овладевает князь Свидригайло, тоже претендовавший на великокняжеский престол. «И приде ко Креву, — сообщает летопись, — и стояша два дни, взяша Крево мурованы и сожже, а людей много посекаша и в полон поведоша». В начале 16 в. не раз осаждали Крево и перекопские татары, и московские воеводы. Конечно, мало что осталось от древнего замка, но и то сказать — семь веков. Да каких!.. Или история беглого русского князя Андрея Курбского, бежавшего от Ивана Грозного и нашедшего первоначальный приют в Крево... «В старых храмах накоплено столько энергии, что невольно чувствуешь себя путешественником», — замечает Алесь Карлюкевич.

А вот снимок Лунинца в праздничный день. Такую картинку помнят разве что самые старшие поколения: впереди колонны всадники, за ними духовой оркестр, снова всадники и, наконец, кажущаяся бесконечной праздничная колонна с портретами вождей, транспарантами, флагами. Мальчишки, как всегда, с восторгом бегут рядом с оркестром. Да здравствует 1 мая!

Каждый город чем-то отличен от других. Характерная черта Лунинца — интеллигентность, замечает Алесь Кар-

люкевич. Но чем и как определяется ее уровень? Это качество трудно уловимо. Тонкая, как говорится, материя. Вряд ли дело в том, что здесь побывали Александр Блок, Алексей Толстой, что в Кожан-городке будто бы похоронен Публий Овидий. Можно говорить разве что о ее признаках. Скорее всего, дело в атмосфере города. В образе, так сказать, «толпы», то есть общего вида людей, характера их общения. Недаром город привлек в свое время внимание знаменитого этнографа и фольклориста Александра Сержпутовского, недаром поставлен памятник Александру Блоку и краеведу Николаю Калинковичу, хранится память о посещении города Алексеем Толстым.

«Каждый из городов — больших и малых — прекрасен и интересен по-своему, — говорит автор текста. — Любые сравнения, которыми иногда стараешься повысить статус некоего вроде бы заштатного, глубоко провинциального поселения, ровным счетом ничего не стоят». Конкретно это — о Мозыре. Хлебородная земля, богатая река Припять, заливные луга, пущи... Мозырские ярмарки, богатые овечьей шерстью, пенькой, льном... Сало, кожи, рыбий жир, копченая рыба... А ведь город с непростой судьбой. Разоряли его и татары, и русские, не говоря уже о мировых войнах, прокатившихся по его землям.

Не забыта и современность. Это город известных людей: Михаила Финберга, актрисы Светланы Суховей, художников Ирины Оркиной, Ильи Табенкина и многих других.

А вот строки из переписки автора с известным писателем Анатолием Левандовским, мозырянином по рождению: «Покидая Мозырь, мы ехали ранним утром... Я спросонья глазел по сторонам, не понимая, что покидаю Мозырь навсегда. Ощущая себя белорусом и сейчас, жалею, что так больше ни разу и не вернулся в свое детство...»

Почти в каждом городе есть личность, сыгравшая немаловажную роль в истории не только города, региона, но и республики. В Молодечно это историк Микола Ермалович, перевернувший сознание многих в поисках настоящей Беларуси. Это и краевед и музейщик доктор исторических наук Геннадий Кохановский.

На видном месте стоит памятник событиям 1812 года. Светлейший князь Смоленский, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов некоторое время вместе со ставкой находился в Молодечно, здесь же он подготовил обращение к жителям Великого княжества Литовского: «...если заблуждения и временные ошибки увлекли кого-либо из вас на неправильный путь, вы можете теперь своим поведением заставить забыть о них, ибо милосердие моего августейшего повелителя государя императора безгранично...»

Рассказывая о Несвиже, белорусской жемчужине, Алесь Карлюкевич приводит слова литератора, исследователя литовских и белорусских древностей Адама Киркора: «...Несвиж своими богатствами, блеском, великолепием, накоплением разных замечательных произведений науки и искусства не только был первым в целой Литовской Руси, но превосходил во многом даже... столицы... ...Превосходил своею эстетической стороною, своими редкими собраниями, кабинетами, библиотекою, архивом, картинной галереей, театром...»

Однако, восхищаясь минувшим великолепием Несвижа, Адам Киркор произносит печальные слова: «...ничего не осталось от прежнего величия». Этот период, слава богу, миновал. Белорусское государство находит средства для возвращения красоты былых веков.

По большому счету, замечает А. Карлюкевич, портрет города определяет экономический фундамент. Самые высокие урожаи в республике здесь, в «Снове». Рядом со «Сновом» — СПК «Городея». К славе экономических успехов ныне добавляется слава музыкальных и рыцарских фестивалей. Несвижский парк снова становится Меккой для горожан и туристов из далеких и близких стран.

А вот еще один необыкновенный снимок: кони! Сотни, тысячи коней

бок о бок. Не пройти, не протолкнуться! Как выехать, если попал в середину? Никак! Жди, пока не закончится базар. Впрочем, приехав на ярмарку, никто не торопится возвращаться в свою деревню. Все корчмы заполнены народом. Шум-гам. Праздник! Лошади подождут. На телегах для них заранее запасено сено. У тех, кто побогаче, возможно, и овес.

Знаменитые ярмарки Слуцка!

Но вот что писал полторы сотни лет назад игуменский помещик, историк Александр Карлович Ельский: «Тридцать лет миновало с того времени, как я был в Слуцке. В его духовной жизни многое изменилось, но внешний вид города остался неизменным... та же грязь, те же ужасные запахи от гнилой воды реки Случь и ее каналов, что пересекают город. Отравленный воздух вокруг воняет навозом, смрад и уличные руины никого не интересуют, ибо Слуцк в смысле неухоженности держит первенство. Я слышал от местного лекаря пана Францкевича, что Слуцк — это известный центр неискорененного тифа, а во время эпидемии холеры он всегда платил самую щедрую дань смерти...» Трудно усомниться в правдивости впечатлений и наблюдений известного путешественника.

Но взглянем после сих печальных строк на экономическую жизнь города. Кирпичные, гончарные, кожевенные заводы города уже полтора столетия назад выпускали продукции на 3 850 рублей. Одних только гончарных мастерских работало пятнадцать. Объемы промышленного производства в денежном эквиваленте составляли 151 814 рублей. Леса и плодородные земли вокруг!.. Корову можно было купить за 50 копеек. Так что, конечно, аромат навоза — это плохо, но корова за полтинник — хорошо.

Конечно, город сей богат историческими личностями и событиями.

В 1593 году Трифон Коробейников, дьяк в составе московского посольства, которое побывало тогда в Слуцке, сделал интересную запись: «А Менска Слутцкий град больше...»

Был он резиденцией князей Олельковичей.

Магдебургское право город получил в 1441 году.

В 1506 году в День Успения Пресвятой Богородицы перекопские татары пытались взять город. Татары и штурмовали, и «подметы чинили, и огонь подкладали», но «случане боронились добре и много татар побили». А командовала войском славная княгиня Анастасия.

Что касается позднейших времен, головную боль сделал Слуцк Московскому князю Трубецкому во время войны 1654—1667 годов.

Вспомнить в рецензии все города и поселки, о которых рассказывают авторы, невозможно. Скажем только, что книга насыщена и исторической и сегодняшней информацией и в целом интересно рассказывает о Беларуси.

***Олег* ПУШКИН**



С точки зрения рецензента

О поэзии, прозе и... путешествии по отечественной истории...

Многие поэты с возрастом обращаются к прозе. И не только небольшие эссе или новеллки, но и солидные романы появляются вдруг из-под их пера (или, ежели по-современному, компьютерной клавиатуры). Не знаю, что тому причиной, хоть и сам принадлежу именно к таким вот «отступникам». Не потому перешел на прозу, что разонравилась внезапно поэзия, а потому, скорее, что по прошествии лет что-то вдруг незаметно изменилось в душе.

Не знаю, как конкретно охарактеризовать такое изменение, возможно, это «*исчезновение способности замечать те незначительные события, мимо которых все остальные люди просто проходят с равнодушным видом, а также исчезновение способности удивляться и даже умиляться незначительным сим событиям*». Немного длинновато, но, думаю, верно...

Способность замечать яркий солнечный лучик, несмело скользящий по замерзшей ноябрьской лужице. Способность удивляться брильянтовому сверканию капелек росы на изумрудных июльских травинках. Способность умиляться, слушая переливчатое журчание звонкого весеннего ручейка или любуясь ослепительной синевой первого подснежника на лесной полянке...

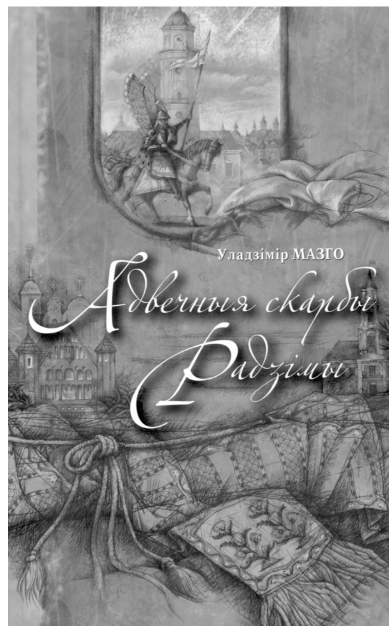
Когда-то все это меня очень трогало, удивляло, умиляло даже... сейчас же...

Просто прохожу мимо...

А безо всего этого, увы, нельзя быть поэтом! Настоящим поэтом, я имею в виду...

Графоманом — можно, но речь не о них...

Вот почему я сейчас почти стопроцентный прозаик... а ведь начинал когда-то как поэт!



А некоторые поэты так и остались поэтами, и этому их постоянству можно лишь позавидовать. По-хорошему...

Вот и Владимир Мазго не изменяет поэзии, и я знаю его, в первую очередь, как талантливого лирического и детского поэта. Но, листая новую книгу Владимира Миновича «Адвечныя скарбы Радзімы» (такое сочное, чисто белорусское название, даже рука не поднялась попробовать перевести его на русский язык!), где, кроме стихов, присутствуют еще и небольшие прозаические миниатюры, я с удивлением «открыл» для себя Мазго-прозаика. И неплохого прозаика, между прочим...

И все же, в первую очередь, это проза поэта. Именно такую прозу я встречал недавно у Виктора Шнипа, читая его книгу «Пугачоўскі цырульнік». И у Виктора Шнипа, и у Владимира

Мазго — проза лирическая, легко переходящая в поэзию. И даже, несмотря на то, что первый раздел книги Владимира Мазго — это краеведческо-исторические зарисовки, лирики и собственно поэзии тут столько, что, читая, даже не замечаешь, как часть первая (прозаическая) плавно переходит в поэтическую, вторую часть книги...

Проза «Адвечных скарбаў Радзімы» дополняет поэзию, а поэзия, в свою очередь, дополняет прозу, ибо все стихи книги тоже краеведческие и тоже исторические (не зря же у книги имеется еще подзаголовок: «Падарожжа па айчыннай гісторыі»), что, впрочем, никоим образом не снижает их тонкого лиризма и возвышенно-поэтического звучания.

Взять хотя бы следующие проникновенные строки:

Бліжэй да сэрца
Прыгарну я
Сівых стагоддзяў даўніну,
Дзе ранак
Сонцам карануе
У неба ўзнятую сцяну.
Нам расказаць
Пра ўсё павінны,
Дадаць
Адвечнага цяпла
Руіны велічнай краіны,
Што лёсам дадзена была...

Как органически перекликаются слова этого стихотворения, повествующего о руинах когда-то грозного Новогрудского замка, с прозаическими миниатюрами автора об археологических раскопках в Бресте или о церкви-крепости в деревне Сынковичи. Впрочем, церкви в деревне Сынковичи Владимир Минович посвятил еще и отдельное стихотворение.

Адвечная крэпасць-царква.
Аблокаў-анёлаў світа,
Якую вітаў калісь Вітаўт,
А потым — уся Літва...

И таких примеров множество...

«Напалеон з Беларусі» (проза) и «Беларускі Напалеон» (поэзия)... — о знаменитом белорусском художнике Наполеоне Орде...

Патрыётам радзімы здавён
Пачуваўся і шчодра,
І горда
Беларускі Напалеон
З дзіўным імем
І прозвішчам Орда...

«А ён вірыў, уласны Лейпцыг...» (проза) и «Вяртанне вялікага Ганненскага кірмашу» (верш)... — о Ганненской ярмарке в Зельве, которая в XVIII столетии конкурировала даже со знаменитой Лейпцигской...

...Віруе кірмаш і гудзе.
Шчыруюць і людзі,
І коні...
Не ўчуеш такога
Нідзе,
Не ўбачыш такога
Ніколі...

Миниатюра о слуцких поясах («Паясы беларускай красы»)... и упоминание о поясах (конечно же, слуцких!) в стихотворениях «Адкрыўшы занава Нясвіж», «Адкрыццё», «Аднаўленне»...

А небольшое стихотворение «Беларусь» хочется привести целиком:

Ад Нёмана да Сожа —
Так светла і прыгожа.

Дзе Нарач, Белавежа —
Гаюча так і свежа.

Суладна і супольна,
Гасцінна, хлебасольна.

І радасна на дзіва,
Бо гэта ўсё — РАДЗІМА!..

Прекрасные стихи, прекрасная проза... и не менее прекрасное оформление книги художником Игорем Гардиенком. Они словно дополняют друг друга в «Адвечных скарбах Радзімы», писатель и художник. И если каждое произведение книги хочется не только читать, но и перечитывать снова и снова, то так же хочется как можно дальше задержать взгляд на каждом из книжных рисунков.

А это значит, что книга «Адвечныя скарбы Радзімы» получилась. А ее читатели (а это, в первую очередь, ученики средних классов, но и не только они), в свою очередь, получили прекрасный подарок от автора, художника и, в целом, от «Издательского дома «Звязда»!

Геннадий АВЛАСЕНКО

С точки зрения рецензента

Настоящее, Дуниловичское

Как-то классик белорусской литературы Кузьма Чорный заметил, что о тимковцах он может рассказывать бесконечно, ибо это — целый мир. И в самом деле, многие персонажи книг замечательного мастера слова так или иначе имеют отношение к деревне Тимковичи нынешнего Копыльского района. С ней немало связано и в биографии самого Николая Карловича, а у некоторых его литературных героев есть и реальные прототипы — те, кого знал сам К. Чорный, или люди, о которых ему рассказывали его близкие и знакомые. Однако, идя от самой жизни, писатель, конечно же, не просто списывал с натуры те или иные характеры, но и переходил к обобщениям, типизации, создавая, тем самым, собирательные образы. Но основа оставалась одна и та же — тимковичская.



Такой подход к отображению действительности, как показывает опыт белорусской литературы (да и не только ее), очень продуктивный, о чем свидетельствует творчество писателей, успешно продолжавших, да и сегодня продолжающих, его традиции. Отрадно и то, что этим путем идут и молодые литераторы, которые придерживаются традиционной манеры письма. Характерный пример тому — творчество Юлии Зарецкой, которая также может повторить вслед за К. Чорным: «Гэта ўсё адтуль, сапраўднае». Как К. Чорный с любовью писал о своих тимковцах, так Ю. Зарецкая с не меньшей любовью пишет о жителях местечка Дуниловичи Поставского района, в котором родилась.

В ее произведениях также все взято из самой жизни, в чем убеждает и ее книга юмора и сатиры «Шчаслівыя людзі» (2011), отмеченная премией «Залаты Купідон». Отдельные произведения из этой книги, по сути, списаны с дуниловичан. Да и как же иначе, если, по признанию Юлии Францевны, «у маёй вёсцы столькі жартаў — непрыдуманых, народных, сапраўдных!..» Да и не только юмором славятся жители этой деревни. В этом убеждают рассказы Ю. Зарецкой, которые печатались в журналах «Полымя», «Маладосць», «Нёман», еженедельнике «Літаратура і мастацтва».

Не обходит Ю. Зарецкая своим вниманием и драматические, трагические ситуации. С некоторыми из прототипов своих героев она знакома, о других слышала, третьи успели уже стать местной легендой. А если попробовать подвести все под некий один знаменатель, то получается, что все

они — соседи, а у соседей друг от друга нет никаких секретов, все на виду.

«Суседзі» — так называется и книга прозы Ю. Зарецкой, выпущенная издательством «Мастацкая літаратура», в которую вошло пятнадцать рассказов, в том числе и одноименный. Каждый из них — это слепок из жизни Дуниловичей. Возьмем, к примеру, рассказ «Сабачы лекар». Ситуация, положенная в основу этого произведения, в чем-то сродни тем, которые присутствуют в некоторых рассказах замечательного российского писателя Василия Шукшина. Помните, какие колоритные у него образы деревенских чудиков, которые ведут себя не так, как все, но вместе с тем, в необходимых случаях могут постоять за себя. Да и за словом в карман не лезут. Генка из «Сабачага лекара» уж очень быстро почувствовал себя городским. Проучившись всего какой-то месяц в ветеринарном техникуме, он всячески старался подчеркнуть свою исключительность, к месту и не к месту употребляя словосочетание «без праблем», которое ему очень нравилось и которое, по-видимому, в понятии Генки свидетельствовало о том, насколько он уже не такой, как сельчане. А тут как раз узнал, что любимую собачку деда так заели блошки, что, чего доброго, и на тот свет может отправиться. Разве мог будущий ветеринар допустить такое? «Генка нарэшце застаўся адзін. «Так-так-так... Чым вытравіць гэтых блошак? — ліхаманкава рашаў ён. — Ёд? Зялёнка? Шкіпінар? Эх, расказваюць у тэхнікуме розную навуку, тэорыяй сухой барабаняць, а не каб адразу практыку наладзіць, справай заняцца!..»

Что ж, новоиспеченный собачий врач оказался на высоте: «справай заняўся», «практыку наладзіў». И вылечил собачку. Как? Об этом лучше прочитать. Кстати, некоторые юмористические произведения Ю. Зарецкой (а элементы юмора присутствуют и в рассказе «Сабачы лекар») — словно те же детективы, и в этом сравнении нет никакой натяжки. Лучше заранее не знать, чем все завершится, иначе не так интересно будет читать.

Рассказ «Жывая вада, або як Лёнька сухім з вады выйшаў» — из тех житейских историй, которые при всей их, скажем так, несерьезности позволяют лишний раз убедиться в том, насколько у людей богата фантазия. Как у того Леньки Мальца, который в жизни высот не покорил, но «з вясёлай і бесклапотнай школьнай пары засталася ў Лёнькі [...] непераадольная цяга да фізічных вопытаў. Выкараніць яе не маглі ні кпіны местачкоўцаў, ні бурчанне жонкі, ні гады, што сівымі птушкамі незаўважна пralяталі над галавою...» Представилась возможность на практике доказать, что его старания не напрасные: по телевизору сказали, «што разумныя людзі вунь жывую ваду здабываюць».

На это дуниловичский «изобретатель» среагировал быстро: «Такое там чудо, — хмыкнул Ленька. — Да и я могу». И доказал, что слов на ветер бросает. Его «живой водой» даже заинтересовалась директор общежития Зина Кучкина, у которой Ленька находился в подчинении. А начальнице как откажешь? Сто литров такой воды затребовала. Ленька не только пообещал, но и доставил эту воду. Правда, вскоре от своего эксперимента отказался. Мол, «апарат для вырабу жывой вады зламаўся, рамонту не падлягае». Причина, конечно, была иная, а в чем она заключается, можно узнать из рассказа.

В рассказе «Лётчык», хотя и присутствуют элементы юмора, однако не обойдены и драматические моменты современной жизни. Лютик Казелька — из тех юношей, которые привыкли жить беззаботно, жить как набежит. Любил потанцевать, с удовольствием девушек провожал. Одна из них вскоре забеременела: «Гэтага Люцік ніяк не чакаў. Ён спалохаўся. Прыгожы, франтаваты паўлін перамяніўся ў зайца. А што робіць напужаны заяц? Вядома, пускаецца наўцёкі. Люцік уміг сабраў свае няхітрыя манаткі і, не развітаўшыся нават з бацькамі, пракінуў родны вугал...» Родители Лютика, правда, не оставили в беде Яню — так звали ту девушку, да и когда родилась дочка, воспринимали ее родной внучкой. Но почему рассказ называется «Лётчык»? Лютик утверждает, что является летчиком, хотя выучился на авиацион-

ного техника. Летчик так летчик. Так и закрепилось за ним это прозвище. Но существенно другое: «Зато Люцык, Люцыян Тытусавіч Казелька, напраўду жыў адзін и думаў пра Яню не радзей, чым яна — пра яго...»

А вот в рассказе «А грэх жыве...» выявляются страсти сродни шекспировским. Главный персонаж Роман полюбил девушку, та ответила ему взаимностью. Однако вся беда в том, что Алену не принимает его мать. Причина понятная, особенно если принять во внимание время развертывания действия: задолго до Великой Отечественной войны. Альфреда Савицкая никак не может смириться с тем, что ее сын влюбился в ту, кого она воспринимает голодранкой. Но Роман — не из тех, кто в сложной ситуации готов опустить руки. Тем более, что у него давняя неприязнь к матери...

«Халерная баба Альфрэда», как говорит о ней одна из соседок, от мужа «у першую сусветную вайну збегла з нейкім рускім афіцэрам. Раману тады пайшоў восьмы гадок». Через восемь лет образумилась и вернулась, муж простил ей измену. А вот Роман, как ни уговаривал его отец, не смог ее простить. Теперь же получалось, что мать стала еще на пути и его счастья: «...у сэрцы Рамана тым часам расла чорная, атрутная злосць. Яе ўмацоўвала матчына непрымірымасць, зацятасць, варожасць. Мінаў дзень за днём, ноч за ноччу, але нічога не мянялася: маці Алену не прымала, не жадала бачыць у нявестках». И тогда Роман, не видя никакого выхода из этой ситуации, решил взять на себя грех. Однако, застрелив мать, понял, что не бывать его счастью. Не быть ему вместе с Аленой. Потому застрелил и ее. Спрятавшись на одном из деревьев на кладбище, он наблюдал за похоронами и услышал, что мать жива. Оказывается, тогда, когда он выстрелил в нее, она только упала в обморок.

Завершение рассказа такое же невеселое: «Цёмнай ноччу, калі ўсе добрыя людзі спяць, калі спачывае сама прырода, прагучаў яшчэ адзін, апошні стрэл. І, нібыта чакаючы гэтай хвіліны, заскавыталі сабакі, працяжна заскуголілі адзін за адным. На Аленінай магіле нерухома ляжаў Раман. Сырая магільная зямля хапатліва ўбірала ў сябе яшчэ адну грэшную кроў...»

Есть над чем задуматься, есть над чем поразмышлять. Как и после знакомства с рассказом «Міхаліна». Он — об отголоске бывшей любви. Правда, что это была именно любовь бывший юный партизан Степка, который взялся за оружие в шестнадцатилетнем возрасте, понял значительно позже, когда стал взрослым мужчиной. После освобождения же, когда остался один — «загінулі маці з брацікам, а пахаронка на бацьку яшчэ ў сорак першым прыйшла. Сваякоў ніякіх...», деревню фашисты сожгли, — его позвал жить в свою семью один партизан, а потом нашел ему женщину, намного старше, чем он. Михалина так любила его, так смотрела за ним, но это чрезмерное внимание ему однажды просто надоело. И он оставил ее... Теперь же об этом сожалеет. Но ничего назад не воротишь. Есть жена, есть дети, но нет Михалины. Так и хочется повторить название одной из повестей Ивана Шамякина «Эх, Міхаліна, Міхаліна». Сомневаюсь, что Ю. Зарецкая специально дала своей героине «шамякинское» имя, но одно очевидно: этот рассказ, как и некоторые другие ее произведения, достойно продолжают то реалистическое течение в белорусской литературе, которое живили своим талантом наши замечательные писатели.

Глубиной осмысления материала, психологической точностью постижения внутреннего мира героев отличаются и такие рассказы, как «Свет не без добрых людзей», «Суседзі», «Пакуль б’ецца яго сэрца», «Дзе начуе хмель» и другие. Все это добротная проза, сильная своей жизненностью и писательским мастерством. Слабых рассказов у Ю. Зарецкой, по сути, нет, ибо она всегда держит планку художественности на той высоте, которая просто не позволяет расслабляться. Все это настоящее, дуниловичское, органично вписывающееся в современный литературный процесс.

Алесь МАРТИНОВИЧ

ЖДАН (Пушкин) Олег Алексеевич. Родился в 1938 г. в Смоленске (Россия). Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института и Литературный институт им. М. Горького. Прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг прозы. Живет в Минске.

МЕТЛИЦКИЙ Микола (Николай Михайлович). Родился в 1954 г. в д. Бабчин Хойникского района Гомельской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии. Лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Беларуси. Живет в Минске.

КОШКИНА Елена Вадимовна. Родилась в 1956 г. в Орджоникидзе (Россия). Окончила физический факультет БГУ, училась в Литературном институте им. М. Горького. Печаталась в журналах «Октябрь», «Немига», «Монолог», «Нёман». Автор книги «На грани исчезновения». Живет в Минске.

КИСЕЛЕВ Георгий Иванович. Родился в 1939 г. на Вологодчине (Россия). Окончил Литературный институт им. М. Горького. Поэт, критик, переводчик. Живет в г. Волковыске Гродненской области.

КАМЕЙША Казимир Викентьевич. Родился в 1943 г. в д. Малые Новинки Столбцовского района Минской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, переводчик. Автор многих книг для детей и взрослых. Лауреат Литературной премии имени Аркадия Кулешова. Живет в Минске.

КУЗЬМИЧЕВА Анастасия Сергеевна. Родилась в 1974 г. в Минске. Автор поэтического сборника «Быть может меня приютят?» и диска со стихотворениями «Яхидна». Живет в Минске.

БАРЩЕВСКИЙ Ян. Родился в 1794 г. в д. Мураги Полоцкого уезда Витебской губернии (теперь Россонский район Витебской области). Учился в Полоцком иезуитском коллегиуме. Польский и белорусский писатель, поэт, издатель, один из основателей новой белорусской литературы. Автор многих произведений, самым известным из которых является сборник «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах» и др. Умер в 1851 г. в г. Чуднов.

Д'ОРМЕССОН Жан. Родился в 1925 г. в Париже (Франция). Окончил Высшую нормальную школу (Париж). Член Французской академии, доктор философии. Автор более 30 книг. Живет в Париже (Франция).